Сергѣй Нилусъ

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
ТОМ 3

Подготовлено по изданиям
1916 — 1917 гг.

МОСКВА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Лествица»
Северо-западный Центр православной литературы
«Диоптра»
1999


2000 ЛѢТ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

По благословению
Архиепископа Пермского и Соликамского
АФАНАСИЯ



Сергѣй Нилусъ

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

Записки православнаго

ББК 84.Р1
Н 66

ISBN 5-85325-030-2



С.А. и Е.А. Нилусы в кабинете в Оптиной Пустыни



I. От истоков Оптинских, Саровских и Дивеевских к морю вечности. Отъезд из Оптиной. Первое знакомство с Оптиной. Мой сон и о. Амвросий

Духов день — праздник Святому Духу в 1912 году пришелся на 14 мая и совпал с днем празднования коронования императора Николая Александровича. В этот день у лесных ворот ограды нашего благословенного оптинского уединения стояло два парных козельских извозчика, выносили на них последний наш ручной багаж, и сами мы в числе четырех душ выходили, со слезами прощаясь едва ли не навеки с духовной нашей родиной, бесценно-дорогой, горячо любимой, святой Оптиной пустынью.

От истоков Божьей реки Оптинской утлую ладью нашу повернуло и понесло течением временной жизни к далекому, а может быть — то в воле Божией, — и близкому беспредельному простору моря вечности.

Так изволися Богу. Буди воля Его святая благословенна вовеки.

И красен же был денек тот!.. Кто не видел Оптиной в весеннем уборе окружающих ее безмолвие фруктовых садов, могучего ее леса, вековых ее сосен, обрамленных веселой, молодой зеленью клена, осины, липы, рябины, орешника и молодого дубняка, — всей роскоши зеленого шума и звона торжественно-радостного шествия ликующей теплом и светом весны, тому не понять великой скорби нашего сердца, обливавшей слезами заветные могилки великих Оптинских старцев на прощанье с ними, со всей духовной красотой оптинских преданий и с красотой окружающей их природы.

Тако изволися Богу. Слава Богу за все.

И думалось мне тогда, следя задумчиво-печальным взором за убегающей из-под колес нашего экипажа святой землей оптинской, что прощаюсь я и с тою бездонною глубиною хрустально-чистых вод ее и моей Божьей реки, из чьей серебристо-струйной лазури так часто невод мой извлекал сокровенные в ней сокровища духа, что уже не петь мне Богу моему хвалы, дондеже есмь, что уже не бряцать перстам моим более на десятиструнной моей псалтири, ибо с последним прощальным поклоном Оптиной иссякнет для меня чистейший источник вдохновений и захлестнет ладью мою и меня зловещая волна житейской мути.

Но не изволися тако Богу: опять я с тобою, дорогой мой читатель, и опять есть у меня что из дел Божиих тебе поведать, а тебе послушать.

Послушай же...

Оптину пустынь впервые я посетил в июле 1901 года. В мае того года сын мой окончил курс Орловской гимназии, и мы с ним решили ознаменовать начало нового этапа его молодой жизни паломничеством по святым местам.

Вскоре после первого посещения Оптиной я, выбрав свободное от хозяйственных забот время (я тогда еще жил и работал в своем имении), вновь поехал в этот великий питомник монашеского духа. Стояла глубокая, глухая осень, пустынно было и в Оптиной, и в Шамордино и потому особенно хорошо для души, для сосредоточения ее в Боге и молитве, а где же было и молиться, как не в этих пустынных обителях?!

С благословения старца — отца Иосифа, я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого Оптинского старца о. Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза. Я не обратил на это внимания — авось пройдет — и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским кельям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамординой, тесно связанном с памятью о. Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон: иду я будто по прямой, широкой, мощенной круглым булыжником улице; по обеим ее сто-

ронам проведены канавы, через них перекинуты мостки, и против каждого мостка вдоль всей улицы небольшие деревянные домики под тесовыми крышами, все фасадом в три окошечка на улицу. Между домиками тесовые заборы с воротами и калитками, за заборами дворы и садики — все в одном старинном провинциальном вкусе наших захолустных провинциальных городов. Улице и конца не видно... Иду я по середине улицы и вижу, что вся ее мостовая густо устлана цветами свежевысушенного, зеленого, душистого сена. Иду я и, на каждом шагу нагибаясь, большими охапками собираю эти ароматные цветы, и так цветов этих много, что весь я с головы до ног осыпаюсь ими. Смотрю: у калитки одного из тех домиков стоит и чего-то, видимо, дожидается небольшая, душ в семь или восемь, кучка народа; среди них примечаю одного из своих старых товарищей по гимназии. Подхожу к нему, чтобы спросить, чего он ждет, и вижу, что калитка внезапно отворяется и из нее выглядывает быстрая фигурка знакомого мне скитского иеро-диакона о. Анатолия, бывшего келейника старца Амвросия. Оглядывая всех нас беглым взглядом и увидев меня, он быстро, скороговоркой кликнул меня:

— Нилуса к Батюшке.

И я понял, что "к батюшке" значило к о. Амвросию, и следом пошел за о. Анатолием в калитку, в глубь двора, где виднелся такой же, что и на улице, дом, только размером побольше. Войдя за о. Анатолием в этот дом, я увидел просторную горницу и в ней сидящего в глубо-

ком кресле старца о. Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботики коричневатого мягкого сукна; целую их, а батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково так:

— Ишь ты какой! Ишь ты какой! Ишь ты какой!

При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и началось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумении. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне:

— Вы, — говорит, — видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш Батюшка?

— Нет, и понятия не имею.

— Тогда, — говорит, — пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу.

В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келья, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни о. Амвросий. В келье этой вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкапчике за стеклом хранились все его носильные вещи. Матушка открыла шкапчик, достала с полки суконные ботики старца: они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до

мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны... В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келье стоял кувшин с рудневской[1] водой; ею игуменья предложила мне омыть глаза и отереть тут же висевшим батюшкиным полотенцем, — и болезни моей как не бывало: ее рудневская вода в полном смысле слова смыла, как грязь какую.

Можно себе представить, в каком я был тогда состоянии!..

Сон этот, как оказалось впоследствии, предзнаменовал собою и предопределил всю мою последующую деятельность по собиранию цветов с духовного луга иноческого жития на Руси святой, но, увы, уже не живых цветов и не с цветущего луга, а из сена, хотя еще душистого, но уже убранного с луга жизни и выбрасываемого на попрание на бездушный, холодный камень улицы.

О Русь моя святая! Где ты? Откликнись, отзовись!..

II. Видение о. Николая (Турки), схимонаха скита Оптиной пустыни

Кто читал мою книгу "Великое в малом", тому известен оптинский подвижник, схимонах Николай, по прозванию Турка. В статье "Небесные Обители" я рассказал, со слов одного моего духовного друга, о видении, бывшем это-

[1] Руднево — хутор Шамординского монастыря, куда иногда любил уединяться о. Амвросий. Там, по его указанию, был ископан колодезь, вода которого почитается целебной.

му подвижнику. Теперь в скитских рукописях я нашел краткое жизнеописание о. Николая и более подробный рассказ, записанный со слов его самого, о том, что увидел он, по милости Божией, в жизни будущего века, в тех небесных обителях, куда призывает Господь всех любящих Его и куда уже призван ныне Николай Турка, подвижник оптинский[1].

Схимонах Николай, — так сообщает его биография, — в миру Николай Абрулах, казанский мещанин. Из представленного им свидетельства Херсонской духовной консистории видно, что он бывший магометанин, имя его было Юсуф Оглы, бывший турецкий подданный, родом из Малой Азии. Служил в турецкой гвардии офицером. Когда он почувствовал желание креститься в православную веру и стал об этом открыто заявлять родичам своим туркам, то они так возненавидели его за это, что он дня по два, как "гяур", не мог найти себе пищи. Его мучили, вырезали куски из тела его. Ему удалось бежать в Россию. В Одессе в Карантинной церкви он был крещен в октябре 1874 г. и назван Николаем. Восприемниками его были: одесский градоначальник, тайный советник Николай Иванович Бухарин и 1-й гильдии купчиха Наталия Ивановна Гладкова. Затем он в Казани приписался в мещанское общество. 18 июля 1891 года, 63 лет от роду, он поступил в Скит Оптиной пустыни. Господь сподобил его

[1] Записано со слов о. Николая послушником Павлом Ивановичем Плеханковым, впоследствии начальником Скита Оптиной пустыни схиархимандритом Варсонофием.

духовных утешений: восхищен был в рай, где наслаждался созерцанием неизреченных райских красот. Отличался кротостью, смирением и братолюбием. Келья его была рядом с кельей монаха Мартирия (скончался иеродиаконом). Топил за него печи, и когда тот, удивляясь, спрашивал:

— За что ты это для меня делаешь?

Отвечал просто:

— Я тебя люблю.

Скончался 18 августа 1893 года, 65 лет от роду.

"В четверг 13 мая 1893 года, — сказывал Божий угодник этот, — утром, часу в третьем, я начал читать акафист Святителю Николаю Чудотворцу. Господь мне даровал такую благодать при этом, что вся книга была смочена слезами. По окончании чтения утрени я начал читать псалом 50-й — "Помилуй мя, Боже", — а после него Символ веры, и когда его окончил и произнес последние слова: "и жизни будущаго века. Аминь", в это самое мгновение невидимая рука взяла мои руки и сложила их крестообразно на груди, а голову мою со всех сторон объял огонь, похожий на цвет радуги[1]. Огонь этот, не опаляя меня, наполнил все существо мое неизглаголанною радостию, до того времени мне совершенно неизвестной и неиспытанной. Радости этой невозможно уподобить никакой земной радости. И тут я не помню, как и когда я уви-

[1] В подлиннике — желтый, похожий на цвет радуги.

дел себя перенесенным в некую дивно прекрасную местность, исполненную света. Никаких земных предметов я не видел там, видел только одно бесконечное и беспредельное море света.

В то же время я увидел около себя с левой стороны двух стоящих людей, из коих один по виду был юноша, а другой старец. И мне сердечным извещением дано было знать, что один из них св. Андрей, Христа ради юродивый, а другой ученик его — св. Епифаний. Оба они стояли молча. И тут я увидел перед собой как бы занавес темно-малинового цвета. И взглянув вверх, я над занавесом увидел Господа Иисуса Христа, восседающего на престоле и облеченного в драгоценные одежды наподобие архиерейских. На главе его была надета митра, тоже похожая на архиерейскую. С правой стороны Господа стояла Божия Матерь, а с левой — Иоанн Креститель. Одежды на них были подобны тем, которые обыкновенно пишутся на их иконах. Св. Иоанн Креститель в одной руке держал знамение Креста Господня. По сторонам Господа стояло двое светоносных юношей дивной красоты, в руках своих они держали пламенное оружие. Сердце мое преисполнено было неизреченной радости.

Я смотрел на Спасителя и несказанно наслаждался зрением Божественного Его лика. На вид Господу было лет 30. И явилось тут во мне сознание, что вот я, величайший грешник, хуже всякого пса, и вдруг удостоился от Господа такой великой милости, что стою пред Престолом Его неизреченной славы.

Господь кротко смотрел на меня и как бы ободрял меня. Так же кротко смотрели на меня Божия Матерь и св. Иоанн Креститель. Но ни от Господа, ни от Пречистой Его Матери, ни от Крестителя Господня я не сподобился слышать ни единого слова. В это время я увидел пред Господом схимонаха нашего скита о. Николая (Лопатина), скончавшегося в полдень 10 мая и еще не погребенного, так как ожидали приезда из Москвы его родного брата. О. Николай совершил земное поклонение пред Господом, но только схимы на нем не было, а одет он был, как послушник, — в руках четки и голова непокрыта. И после сего я взглянул: и вот — с правой стороны великое множество людей, приближавшихся ко мне. По мере их приближения я начал слышать пение, но слов не мог разобрать. И увидел я в их среде лиц и в архиерейских облачениях, и в иноческих мантиях; у них в руках были ветви. И между ними я видел и женщин в богатых и прекрасных одеждах. В сонме святых этих я узнал многих по их изображениям на святых иконах — пророка Моисея, державшего в деснице своей скрижали Завета; пророка и царя Давида, у которого было некое подобие гуслей, издававших прекраснейшие звуки; увидел я и Ангела своего — Святителя Николая. Среди этих великих Божиих угодников я видел и наших почивших старцев — Льва, Макария и Амвросия, а также и некоторых из отцов нашего скита, еще живых.

И все это великое собрание взирало на меня с любовию. И вдруг увидел я перед собою, меж-

ду мною и занавесом, неизмеримую великую пропасть, исполненную мрака, и во мраке этом, на страшной глубине, — самого князя тьмы в том его виде, в каком он изображен на священных картинах. На руках сатаны сидел Иуда, державший в руках подобие мешка. Возле князя тьмы стоял лжепророк Магомет в длиннополой одежде зеленого цвета и такого же цвета чалме. Вокруг сатаны, который представлял собою как бы центр пропасти, на всем ее беспредельном пространстве я видел тоже множество людей всякого состояния, пола и возраста, но между ними никого знакомого не заметил. Из пропасти доносились до меня вопли отчаяния и невыразимого ужаса, не передаваемых никакими словами. На этом видение это кончилось.

После этого я был поставлен внезапно в ином месте. Это место исполнено было такого же лучезарного света, однородного, показалось мне, с виденным мною в первом месте. Святых Андрея и Епифания со мною уже не было... Что видел я там, то трудно передать словами. И как изобразить человеческим языком земнородных небесные красоты, неизреченные, предивные, поистине неизглаголанные? Все там бесконечно прекраснее нашего. Видел там как бы великие и прекрасные деревья, обремененные плодами; деревья эти расположены были как бы аллеями, которым и конца не было видно; вершины деревьев сплетались между собою, образуя как бы свод; устланы были аллеи эти как бы чистейшим золотом необыкновенного блес-

ка. На деревьях сидело великое множество птиц, несколько напоминавших видом своим птиц наших тропических стран, но только бесконечно превосходящих их своею красотою. Красоты и гармонии их пения никакая земная музыка передать не в состоянии — так оно было сладостно.

В саду этом протекала река; прозрачность вод ее превосходит всякое описание. И между деревьями сада я увидел дивные обители, как бы дворцы, по подобию виденных мною в Константинополе, но только без всякого сравнения превосходнее и краше. Цвет их стен был как бы малиновый, похожий цветом и блеском на рубин. И я знал, что место это — рай, расположением своим напоминавший мне отчасти наш оптинский скит, где иноческие кельи также стоят отдельно друг от друга, разделенные группами фруктовых деревьев. Рай был окружен стеной, которую я видел только с южной стороны. На этой стене я прочитал имена 12 Апостолов. И увидел я в раю некоего мужа, облеченного в блестящие одежды и сидящего на престоле, как бы белоснежном. На вид мужу этому было лет шестьдесят, но лик его, несмотря на седины, был как у юноши. Кругом него стояло множество нищих, которым он что-то раздавал. И внутренний голос сказал мне: "Это Филарет Милостивый".

После него я никого из праведных обитателей рая не сподобился видеть. Посреди райского сада я увидел Животворящий Крест с распятым на нем Господом. Невидимая рука указала

мне поклониться Ему, что я и исполнил. И когда я преклонился перед Ним, в то же мгновение неизреченная и великая сладость, подобно пламени, напоила мое сердце и проникла все существо мое.

И увидел я после того великую обитель, видом подобную прочим, находящимся в раю, но неизмеримо превосходящую их своею красотою. Вершина ее, наподобие исполинского церковного купола, возносилась в бесконечную высь и как бы терялась в ней. В обители этой я заметил как бы подобие некоей террасы, и на ней на богато украшенном троне я увидел Царицу Небесную. Вокруг Нее стояло великое множество прекрасных юношей в блистающих белых одеждах, держащих в руках подобие некоего оружия, но какого, я не разглядел. Одежда на Матери Божией была такая же, как изображается она на святых иконах, но только разноцветная. На главе Ее была корона наподобие царской. Царица Небесная милостиво глядела на меня, но слов от Нее услышать я не сподобился.

После сего, как бы в воздухе, я удостоился узреть Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, в подобии, изображаемом на святых Ее иконах: Бога Отца — в виде святолепного Старца, Бога Сына — в виде Мужа, держащего в деснице Своей Честный и Животворящий Крест, и Бога Духа Святого — в виде голубя.

И казалось мне, что я долго ходил среди рая, созерцая дивные его красоты, превосходящие всякое человеческое о нем представление.

Когда же я очнулся от этого видения, то долго не мог прийти в себя от великого и неизреченного утешения этого и весь этот день был как бы вне себя от радости, наполнявшей мое сердце. Ничего подобного сей радости до этого времени я никогда не испытывал".

На этом в скитской рукописи заканчивается описание видения скитского подвижника — схимонаха Николая Турка.

"Ну что ты еще знать хочешь, чего допытываешься? — говорил он старцу схиархимандриту Варсонофию, в то время еще послушнику. — Придет время — и сам увидишь. Что тебе еще сказать? Да и как сказать тебе? Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается; ведь на земле и красок-то тех нет, которые я там видел. Как же тебе все это передать?.. Ну, вот послушай, что я тебе скажу: ты знаешь ведь, что такое хорошая музыка?.. Ну, вот я слышал ее, только что слышал, она у меня звучит в ушах, она поет в моем сердце, я все еще продолжаю ее слышать. А ты ее не слыхал. Как же, какими словами могу я тебе рассказать о ней, чтобы и ты по моим словам мог ее слышать и со мною вместе ею наслаждаться? Ведь не можешь?"

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ВОРОНОВА

I. Елена Андреевна Воронова, раба Божия. Александр Годалов. Святитель Николай

— Позвольте вас спросить: не вы ли Сергей Александрович Нилус? — Я обернулся и увидел сзади себя средних лет и роста даму, очень скромно одетую.

На этом вопросе завязалось мое знакомство с замечательным созданием Божиим, ангелом во плоти, Еленой Андреевной Вороновой. О ней стоит поговорить особо.

Было это, помнится, в октябре или ноябре 1909 года, когда после поздней обедни в Казанском храме Оптиной пустыни я впервые услыхал ласковый звук ее голоса, назвавшего меня по имени... Кто знал в Петербурге княжну Марию Михайловну Дондукову-Корсакову, тот знал и эту рабу Божию, а знали и ту и другую все, кто имел какое-либо касательство к делам благотворения в северной столице, особенно же в деле оказания любви и милосердия к тем, которых прежние русские люди называли "несчастненькими", — к заключе.нным в тюрьмах, арестантам: в их озлобленную и скорбную

душу эти два светоча подлинного христианства вносили и свет покаяния, и радость прощения — примирения с Богом, со своей просветившейся отныне совестью и с людьми, ими ненавидимыми и их отвергнувшими. Княжна Мария Михайловна стояла во главе петербургского тюремного благотворения; Елена Андреевна была ее помощница до самой ее смерти. Когда же умерла Мария Михайловна, на ее посту ее сменила Елена Андреевна... Сколько преступных душ спасено было этими двумя небожительницами и для временной, и для вечной жизни, один Сердцеведец Господь знает, а они, эти небожительницы, и счет им потеряли!

Теперь они обе у Отца светов. Царство вам Небесное, светлые, ангельские души!

Дочь генерала (штатского ли, или военного, того не знаю), Елена Андреевна по окончанию образования отдалась всей душой школьному делу, но, болезненная по природе, вскоре была вынуждена на время покинуть север и уехать в Крым лечиться теплым климатом и виноградом. Но характер ее, полный энергии, требовал деятельности, а сердце — любви, и она то и другое, несколько укрепившись в здоровье, отдала там же, в Крыму, детям школьного возраста, открыв школу особого типа в Алуште. След этой ее деятельности сохранился в ее книжке "Школа в Алуште", где со свойственным ей писательским талантом она описала, трогательно и красноречиво, жизнь этого детища ее сердца от зарождения его и до передачи в правительственные руки. И школа эта, и ее учре-

дительница обратили на себя особое внимание Константина Петровича Победоносцева, ставшего впоследствии вместе с женою своею искренним другом Елены Андреевны.

По возвращении своем из Крыма Елена Андреевна была привлечена княжной Марией Михайловной и митрополитом Петербургским Антонием (Вадковским) к тюремной благотворительной деятельности, и здесь ее великодушное сердце и явило во всей красе тихого и теплого сияния все дивные свойства ее христианской души. Сколько приговоренных к смертной казни политических преступников спасла она своим ходатайством пред митрополитом Антонием как посредником между ею, ими и государем, столь всегда щедрым на дарование не только жизни, но и всякой милости, если к тому можно было отыскать хотя бы малейший повод! Скольким ее любовь милостью монарха успела возвратить права на свободу и полноправную гражданскую жизнь, лишь только она убеждалась в искренней твердости раскаяния преступившего закон Божий и человеческий! На том свете все узнается, а здесь все это хранится в благодарной памяти воскрешенных ею к новой жизни: эти воскресшие ни счета своего, ни Елены Андреевны не забудут...

Так вот это-то сокровище христианского духа и окликнуло меня в памятный тот день, когда по окончании Литургии я направлялся домой из Казанского храма. Душа этой рабы Христовой искала духовного окормления, а тело — отдыха: то и другое она приехала ис-

кать в Оптиной, и, конечно, нашла. Старцем и духовником ее стал о. Варсонофий, наш духовник и старец, — и это нас еще более породнило друг с другом.

Я не пишу ее биографии; описывать внешнего облика не стану, не буду перечислять и всех ее добрых дел: с меня довольно будет нескольких цветков воспоминаний с ее дорогой могилы — пусть засушатся они между страницами этой книги. И засушенные, они не потеряют своего нежного аромата и будут благоухать и мне и тому, кому попадутся на глаза эти строки.

В числе спасенных Еленой Андреевной для вечности был один чахоточный вор-рецидивист. Имя его было Александр, фамилия — Годалов. Когда мне краткую повесть о его короткой жизни сообщала Елена Андреевна, его в живых уже не было: он умер в петербургской Обуховской больнице, примиренный и с Богом, и с совестью, напутствованный всеми таинствами Церкви, о предоставлении которых умирающему позаботилась глубоко верующая Елена Андреевна. После его смерти осталась маленькая тетрадка, что-то вроде автобиографических заметок, и частью из нее, частью из его слов, не без сердечного умиления, поведала она мне следующее.

“...Вы, сытые, образованные люди, — говорил мне Александр, — никогда не поймете, что творится в душе голодного, простого, темного человека, как я, особенно если голод живот ему подводит не день, не два, а дней пяток и боль-

ше, да еще не после роскошных харчей ваших, а с жизни впроголодь чуть ли не с пеленок. Вот я — вор; позорным именем я заклеймен и судом, и людьми, обличен и своею совестью; а каково мне досталось это проклятое звание, мало кто из вас и подумает... Теперь я умираю, быть может, и часы мои сочтены, так не до вранья мне теперь, и я расскажу вам, какие чудеса со мною были и каким чудом вместо тюрьмы или тюремной больницы я, вор, попал умирать в больницу к честным и, во всяком случае, не заклейменным людям.

Я с детства был мальчишка верующий и любил, бывало, бегать в церковь, когда я был свободен от работы у мастера, к которому был отдан в ученье. Потом уже, когда перемерли все мои родные и я остался на своей вольной волюшке, я, что называется, забаловался и пошел по той дорожке, которая никогда еще никого до добра не доводила. И дошел до того, что не с чего стало жить: что было, все с себя поразмотал, от дела отбился и стал голодать... О этот голод! Кто его не отведал, тому и в голову не взойдет, что это за мука...

И вот голодаю я день, голодаю другой, третий... А тут как будто кто-то в ухо нашептывает: "Поди, укради вон у того толстопузого лавочника: вишь, как он себе брюхо наел, а у тебя оно к спине от голода присохло!.." Пошепчет так-то и не раз и не два, а много раз на голодный-то желудок, ну, не выдержишь и послушаешь этого шепота. И вот как сейчас помню: шел я проходным двором, а на дворе, смотрю,

протянутая веревка и развешано сушиться хорошее господское белье. Опять слышу: "укради!" Есть хочется до того, что в глазах зелено. И вспомнил я старое, как, бывало, угоднику Николаю Чудотворцу маливался.

"Святителю отче Николае! — взмолился я. — Есть хочется, помоги!" — и был таков. Спасибо Чудотворцу: так хорошо управился, что никто и не заметил, и добычу я тогда перекупкам продал за хорошую цену.

Лиха, говорят, беда — начало: удалось раз, потянуло и в другой, и опять с голодухи. И опять перед кражей взмолился я Угоднику, и опять хорошо подкормился.

На третьей краже случилось со мною такое чудо, что впору ему не поверить, да врать-то мне, глядя в могилу, не пристало: так вы, я знаю, поверите. А было это так.

Шел я, несколько дней не евши, по одной из петербургских окраин (он мне и местность ту назвал, да я забыла), там, где уже последние дома, а за ними уже начинаются огороды и поле. Иду, а в мыслях только одно: где бы разжиться на что поесть. И как было в первую кражу, так и теперь: смотрю, развешано белье.

"Помоги, Святителю отче Николае!"

Огляделся кругом — ни души! Схватил с веревок, что под руку попало, и ну бежать! И не успел я пробежать и десятков трех-четырех шагов, как за мною, слышу, погоня:

"Держи его, лови его!"

Оглянулся — бегут за мною человека четыре, и как будто и городовой с ними. Я поддал

ходу, они тоже; я бегу что есть духу, стали будто отставать, а все же бегут.

"Святителю отче Николае, выручай! В рубль тебе, как разживусь, свечку поставлю!"

Смотрю — лесок. Я — в него. Ну, думаю, спасся! Ан нет: весь лесок переплюнуть — несколько деревьев и ни одного куста, а за леском опять чистое поле... Слышу — гонятся. Бегу дальше, уж и духу не хватает. Опять взмолился я Угоднику:

"Спасай!"

Глядь: вблизи леска туша огромной палой лошади; туша почти еще целая, только один бок выеден собаками и зияет огромной дырой... В голове мгновенно мысль: лезь в тушу!.. Росту я малого, а дыра большая: во мгновение ока нырнул я туда; и чего ж там, Господи, я натерпелся, того и высказать невозможно. Ну, одно слово — падаль и вся ее мерзость! Вспомнить тошно!.. Слышу: погоня промчалась мимо... Посидел я в туше с полчаса, думаю — не выживу, задохнусь, да и в мерзости-то я весь... Прислушался — тихо... Начал вылезать, и только это я нос высунул, так чуть было не ослеп от великого света, которым меня ударило прямо в глаза; и в свете этом кто ж, думаете вы, стоит? Сам Святитель Христов Николай в полном облачении, как его на иконах пишут. Стоит он у туши, смотрит на меня и говорит:

"Ну, говори, Александр, хорошо ли тебе в туше было?"

Трясусь от страха и едва выговорить могу:

"Ой, и смрадно же было!"

“Вот так-то смраден Богу и мне грех твой! — сказал мне Святитель. — Вылезай же теперь да смотри ж, вперед не греши!”

Промолвил он слова эти и стал невидим... Чуть не помер я тогда со страху... Опомнился, одумался... Поблизости болотце было — обмылся, как мог, и пошел обратно другой дорогой в город.

И долго я после того не воровал, а потом раз не вытерпел и попался. Меня судили и присудили в тюрьму; в тюрьме-то и вас мне Господь послал, в тюрьме и чахотка у меня объявилась. Отсидел я свой срок и вышел на свободу гол, как сокол, да еще больной, и стал голодать пуще прежнего. Попробовал просить милостыню, да просить не мастер — подают плохо: поешь кое-чего на выпрошенное, только чтобы не подохнуть, а на ночлежку не хватает. Спасибо, теплое время стояло, так я на островах под мостами заночевывал... И вот ночевал я раз под мостом на Черной Речке. Утром, чуть зорька, — есть хочется, а в кармане ни гроша ломаного. Выглянул из-под моста, а там идет какая-то модница, в руках маленький мешочек, а я уж знаю, что в нем такие-то деньги носят. Я нацелился из-под моста прямо к ней — хвать за мешок и стал вырывать; и только я его коснулся, как хлестнет тут из меня горлом кровь фонтаном, так я тут же, как сноп, на панель и свалился. И что ж вы думаете? Добрая та душа не за городовым, а за извозчиком, и на нем сама привезла и сдала в Обуховскую, где теперь и

помираю. Не велел мне Святитель воровать, не послушался, а теперь — крышка!"

Такова повесть об Александре Годалове, что довелось мне слышать из уст Елены Андреевны. Не верить ей я не могу: поверь же ей и ты, дорогой мой читатель! О Святителе же Николае, на время отложив свой сказ про Елену Андреевну, я поведаю тебе нечто еще не менее дивное.

II. "Николай-Подкопай"

В беседе как-то раз с оптинским настоятелем, архимандритом Ксенофонтом, я сообщил ему повесть Годалова.

— А вы, — спросил меня о. архимандрит, — не слыхали об одной московской церкви, что зовется в просторечье "Никола-Подкопай?"

Я отозвался незнанием.

— Ну, так послушайте же, что я вам расскажу. Было это в начале прошлого столетия, после, кажется, француза. В церкви этой, которая тогда называлась просто Никольской, в великом почитании была чудотворная икона Святителя Николая. Церковным старостой в этой церкви был богатый купец, фамилии его теперь не упомню; был он по-старинному верующим, как веровали когда-то наши деды, что строили русскую землю, а к Святителю Николаю и к Его чудотворной иконе питал особую любовь и веру. И было у него правило — читать Святителю каждый день акафист, и правило это он совершал неопустительно... Жил купец этот богато, вел обширную торговлю, и все у него шло и по торговле, и по дому хорошо, как нельзя

лучше, пока не постигло его тяжелое испытание: доверился ли он кому-то, кто его обманул, или по какой другой причине, но только дела его сразу пошатнулись и вся его торговля быстро покатилась под гору: совсем разорился купец. И стал купец тот плакать и жаловаться Святителю Николаю; читает ему акафист, а сам плачет:

— Святителю, отче Николае, помоги! Почто ж ты меня оставил? Я ль тебе не веровал? Я ль тебе не молился и не служил? А теперь должен идти по миру — почто ж ты меня оставил? — Плачет он и молится так и все взывает к Святителю о помощи.

И вот ночью, после усиленной молитвы, видит он сон. Приходит к нему Святитель Николай и говорит:

— Я пришел помочь тебе за твою ко мне любовь и веру. На иконе моей, что в вашей церкви, риза золотая и много драгоценных каменьев: сними ризу с каменьями, продай их и начинай опять торговать; а как разживешься, сделай на икону новую ризу, чтобы была точь-в-точь как старая. Это и будет тебе от меня помощь.

Смутился купец: не прелесть ли вражия?

— Как же, — говорит, — могу я это сделать? Первое — это святотатство, а второе — как снять? Днем — народ, а ночью храм заперт.

— А ты, — отвечает ему Святитель, — приди ночью да под стену, что против моей иконы, и ПОДКОПАЙ, а в подкоп пролезь, да и сними ризу.

Проснулся купец; подушка вся мокрая от слез. Дивится сну, радуется, а не знает, верить ли сну или не верить... Опять молится, опять плачет. И снова является ему в сонном видении Святитель и опять те же слова говорит.

— Не могу, — говорит купец, — в ворах я никогда не был.

— Воровства тут, — говорит Святитель, — никакого нет: икона моя, и ризе я хозяин. Делай так, как я говорю.

И в третий раз явился Святитель во сне купцу, и вновь повторил свой приказ. И по третьему уже разу решился купец поступить, как велел ему Святитель: подкопался ночью под стену, пролез в храм, снял с иконы ризу с каменьями, принес домой, каменья вынул, золото слил в слиток; продал золото и каменья, выручил большие деньги, опять завел торговлю — разжился пуще прежнего. Как встал купец опять на корень, приходит к батюшке-настоятелю и говорит:

— Пришел я к вам, батюшка, сказать, что есть у меня усердие новую ризу на Святителя соорудить. Благословите!

— Бог, — говорит, — благословит добро творить, а дело это доброе. Какую ж ты хочешь сделать ризу?

— А такую же, — отвечает, — как старую, чтобы точка в точку была и рисунками, и каменьями, чтобы и отличить было нельзя от настоящей.

— Ну, к чему ж такую же точно? Ты бы иного какого-нибудь фасона.

— Нет уж, благословите как хочу: таково мое усердие.

Пришлось благословить: человек богатый, а у богатого свои фантазии. Поделали ризу. Заказал купец по этому случаю торжественный молебен, созвал весь приход. Перед самым молебном стал мастер прилаживать новую ризу к иконе, а народ смотрит и удивляется: накладывают новую ризу на старую, а она точно такая же, как и старая, и старую не снимают; что такое — понять не могут... Приладил мастер ризу, отпели молебен с акафистом Святителю, стали подходить ко кресту, а купец встал около батюшки и около иконы, да и говорит вслух всего народа:

— Обождите, батюшка, и благословите мне добрым людям слово сказать!

— Говори.

И поведал тут купец православным чудо-чудное, что сотворил ему своею милостью Святитель Николай: как трижды являлся ему во сне, что говорил и что он, купец, по слову Святителеву сделал... И опять дивится народ и недоумевает: не сошел ли купец с ума? Старая риза цела, на старую новую одели — все это видели, — про что ж он сказывает? А купец плачет, слезами обливается, кланяется народу в ноги и говорит:

— Вижу, не верите вы мне. Ну, — говорит, — мастер, снимай с иконы твою ризу!

Тот снял, а под новой ризой-то старой и нету... Можете себе представить, что тогда в храме том было?! С тех пор храм тот в Москве и зовется — Николай-Подкопай.

Этот рассказ я слышал от архимандрита Оптиной пустыни о. Ксенофонта. Писал о нем архиепископу Никону, моему издателю; он ответил: "Прежде чем печатать, надо будет подробную о сем справку навести". Прошел с месяц, смотрю — мой рассказ уже напечатан в "Троицком Слове": по справке, значит, все, как я писал, верно оказалось... Да я, открыто признаюсь, и без всяких справок сразу этому в устах преподобного оптинского аввы всем сердцем поверил: есть ли у Бога и Святых Его что-либо невозможное?..

III. Смертник Илларион

Одним из дел тюремного благотворения, которым с такою любовию отдавалась душа Елены Андреевны, было чтение арестантам Слова Божия и всего, что могла дать духовная и светская литература полезного для души в не заглохшем еще стремлении ее к высокому при свете Христовой веры и учения Православной Церкви.

"Приехала я раз, — сказывала нам Елена Андреевна, — в тюремную больницу в Крестах[1], привезла с собою книжечки и нательные крестики, чтобы надеть их на тех арестантов, у кого их не было и кто бы от них не отказался. Меня там хорошо уже знали, и я всех знала; отношения у нас были дружелюбные, доверчивые. Трудно это с арестантами, но так уже Бог

[1] Известная пересыльная тюрьма Петербурга, на Петербургской стороне.

помог за молитвы старцев... Вхожу, поздоровались. Сажусь беседовать и читать и вижу: на больничной койке лежит новый, незнакомый мне больной арестант, больной и в кандалах, стало быть, особо важный преступник — лицо суровое, мрачное, но интеллигентное... Окинул он меня неприязненным взглядом и тотчас отвернулся лицом к стене. Лицо его и весь его вид, особенно же кандалы на больном, — все это произвело на меня сильное впечатление...

О чем вела я тогда беседу, что читала, того теперь не помню, помню только, что Бог помог и все было хорошо.

После беседы я увидела, что привлекший мое внимание арестант уже не к стене лежит, а смотрит в мою сторону, и лицо его показалось мне менее сумрачно-враждебным... Стала я раздавать крестики: просит тот, просит этот — все просят, крестов ни у кого из арестантов не оказалось. Подошла я и к этому арестанту, несмело подаю ему и хочу надеть на него крестик, а сама думаю: вот отвернется или что грубо-кощунственное скажет! А сама сердцем за него молюсь. Не отвернулся, но ничего не сказал, и я ему надела крестик на шею...

Прошло сколько-то времени. Приезжаю опять туда же. Того арестанта, смотрю, нет. Спрашиваю, где он. Отвечают, что его перевели в одиночную, что был над ним суд и его за политические преступления и за убийство пяти человек осудили на смертную казнь.

— Уходя, — говорят мне, — велел вам сказать, что крестика вашего с себя не снял, и про-

сил, не можете ли вы похлопотать, чтобы вам разрешили с ним свидание: он очень бы хотел вас перед смертью видеть!

Страшно на меня подействовало это сообщение, и я решила, с Божией помощью, как бы ни было это трудно, добиться с ним свиданья.

Разрешение это было дано, и тут я узнала, что имя ему Илларион, что его долго разыскивали и что он наконец был захвачен на квартире своей родной сестры, где, при аресте его полицией и жандармами, стрелял и, попав в живот своей беременной сестры, убил в ней ребенка. Это и было его пятым убийством. Словом, из всего было видно, что он был тяжкий преступник, что смертная казнь была для него вполне заслуженным наказанием, и тем не менее сердце мое влеклось к нему, чая и в его душе увидеть восстановление образа Божия.

Когда меня ввели в одиночную камеру, где заключен был Илларион, то вслед за мною захлопнули и заперли на замок входную дверь, оставив меня с ним с глазу на глаз. В первое мгновение мне стало страшно и я едва не раскаялась, что пошла на это свидание. Осмотрелась и вижу, что Илларион, скованный по ногам и при входе моем лежавший на койке, начал вставать и уже спускает ноги, лязгая кандалами... Жутко мне стало...

— Спасибо, что пришли! — услышала я голос. — А я боялся, что не придете. Спасибо! Я ведь креста вашего не снял: вам передавали это?

— Передали!

— Спасибо и им! Вы уже, вероятно, знаете, что я присужден к смертной казни и дни мои сочтены. Скажите, вы ведь все так хорошо тогда там, в больнице, толковали — не растолкуете ли мне, что означает сон, который здесь я видел? Вижу я, что я где-то, в каком-то чрезвычайно грязном месте — не то в болоте, не то еще где-то того хуже, и весь я измарался, ни одного не осталось у меня места на теле не грязного, только ноги мои остались белы. Что бы это значило? Не понимаю, но чувствую, что сон этот к чему-то: такое уж он сильное по себе оставил впечатление. Не растолкуете ли вы мне его?

И почувствовала я, что в разрешении этого вопроса заключено нечто чрезвычайно важное для души Иллариона и от правильности его толкования — не по своему человеческому ограниченному пониманию, а по внушению свыше, зависит, быть может, даже крупный поворот этой озлобленной и грешной души от тьмы к свету, от диавола к Богу. Так же мгновенно, как в голове у меня мелькнула эта мысль, сердце мое с молитвой о вразумлении обратилось к Богу...

— Я думаю, Илларион, — ответила ему я, — что сон этот дарован вам свыше, чтобы показать вам, что, как бы вы ни были грешны перед Богом и людьми, но и для вас есть милосердие Божие, при условии, однако, уже начавшегося вашего к Нему покаянного обращения — вы ведь не сняли с себя данного вам креста. На ногах ваших, даже во время вашей болезни, лежали железа оков, причиняя вам тяжкое

страдание, и вот ноги ваши, как очищенные страданием, и показаны вам были белыми. Не назначена ли вам свыше смертная казнь и ее муки в конечное очищение, как крест благоразумному разбойнику, чтобы и вам с ним вместе быть в раю? Скажите только, тоже с ним вместе, то, что и он, — сперва: "Я осужден справедливо, потому что достойное по делам моим приемлю", а потом: "Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!"

Говорю я ему это, а сама едва удерживаю рыдание к горлу подступившего неизъяснимого сердечного умиления, почти восторга. Взглянула на Иллариона, а у него по бледным щекам тихо скатываются две слезинки, как две крупные жемчужины... Он склонил голову и на мгновение молча задумался.

— Вы правы, — промолвил он. — Мне надо пострадать, надо искупить все зло, что я наделал. Спасибо вам: вы великое для меня дело сделали — вы новый мир для меня открыли. Жить мне теперь не для чего на земле, а что осталось в моем распоряжении от жизни, то надо отдать на крест последнего, предсмертного страдания. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем".

— Вы, конечно, поймете, — обратилась ко мне и к жене Елена Андреевна, — что тут произошло в моем сердце. Я могла бы чрез митрополита Антония ходатайствовать о помиловании Иллариона, о замене ему смертной казни другим наказанием, но у меня в то время даже и помысла о том не явилось: так сильно было действие внушения свыше о великой тайне ис-

купления души временным страданием тела ради вечного ее блаженства, что язык не повернулся бы сказать об этом Иллариону.

А он тем временем продолжал: “Я не подам теперь обычного в моем случае прошения о помиловании. Попросите ко мне тюремного священника: мне надо очистить душу покаянием и принять, если буду удостоен, Святые Тайны — только бы удостоил Господь!.. И еще к вам последние две просьбы: первая — молитесь за меня! А вторая — есть у меня невеста. Она не знает ни моего настоящего имени, ни моего преступного прошлого. Я бы хотел ее видеть перед смертью и попросить прощения за все зло, что причинил ей и своей любовью, и своими делами. Не откажите же в этих последних просьбах умирающему!”

— На этом мы обнялись оба в слезах с Илларионом и простились навеки, до встречи в вечности. Прошу и вас обоих, — обратилась к нам Елена Андреевна, — молиться за душу раба Божия, на кресте покаявшегося благоразумного разбойника Иллариона.

— Что же сталось с его невестой? — спросили мы. — Видели вы ее?

— Видела. Обыкновенная, простая девушка. Я ее нашла и передала ей последнее желание того, кто считал себя ее женихом, и вручила ей разрешение на свидание с ним. Они, я знаю, виделись, но, судя по тому впечатлению, которое она произвела на меня после свидания (я ее тогда видела), я не думаю, чтобы ее озлобленное сердце могло бы когда-либо простить

осуждение Иллариона осудившим его. Она мне показалась страшной в своей окаменелой ненависти. Спаси ее, Господи!

По слову Елены Андреевны, мы с женой поминаем на молитве о упокоении раба Божия Иллариона.

Помяни его и ты, дорогой мой читатель!

IV. Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова и прозорливость старца о. Варсонофия

Елена Андреевна, как уже было сказано выше, была помощницей княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, тоже рабы Божией, какой не часто можно встретить на этом свете. Родная сестра бывшего наместника Кавказа, она и по происхождению своему, и по связям принадлежала к высшему обществу и, несмотря на это, оставила "вся красная мира" во имя любви к Богу и ближнему. Замуж она не пошла и всю себя отдала на служение страдающему меньшому брату. В родовом дондуковском имении она устроила лечебницу для сифилитиков, в которую преимущественно принимались так называемые "жертвы общественного темперамента". Забывая себя, врожденную брезгливость, эта чистая, сострадательная душа сама обмывала им отвратительные гнойные раны, делала перевязки, не гнушалась никакой черной работы около этих несчастных страдалиц. Она же стояла и во главе Петербургского благотворительного тюремного комитета. Живя

всем существом своим только для других, она о себе настолько забывала, что одевалась чуть не в рубище и часто бывала жертвой паразитов, которыми заражалась в местах своего благотворения. К сожалению, вращаясь с молодых лет в обществе, где проповедовали свои и заморские учители, вроде Редстока, Пашкова и других, она заразилась иргвинизмом, сектой крайнего реформаторского толка, отрицающей веру в угодников Божиих и даже в Пресвятую Богородицу. Это очень огорчало православноверующую душу Елены Андреевны, но что ни предпринимала она для обращения княжны в православие, ничто успеха не имело, потому главным образом, что княжна, несмотря на чисто сектантские свои суждения о вере, сама себя считала вполне православной, ходила в церковь, говела и причащалась... Одно близкое к ней лицо, узнав, что она приступала к Святым Тайнам, и зная ее заблуждения, спросило ее:

— А исповедовали ли вы, Марья Михайловна, свое заблуждение?

— Какое?

— Да что вы — иргвинистка.

— Да я этого, — ответила княжна, — и за грех не считаю.

Конечно, при таком образе мыслей мудрено было Елене Андреевне действовать на княжну словом убеждения, и пришлось ее любви обратиться к иному способу воздействия — к помощи свыше.

Приехала она как-то в Оптину к своему старцу о. Варсонофию и к нам и рассказывает,

что, уезжая из Петербурга, она оставила княжну опасно больною, с сильнейшим воспалением легких, — а шел княжне тогда уже восьмой десяток.

— Прощалась с ней, — говорит, — и думала, что не застану ее больше в живых!

Отцу Варсонофию Елена Андреевна и раньше говорила о своей скорби, что не может вдохнуть в святую душу княжны разумения ее заблуждения и потому боится за ее участь в загробном мире. Отец Варсонофий обещал за нее молиться.

В этот свой приезд Елена Андреевна, рассказав о том, в каком ныне состоянии оставила она княжну в Петербурге, усиленно просила старца усугубить за нее молитвы.

Перед отъездом из Оптиной обратно в Петербург приходит Елена Андреевна прощаться с о. Варсонофием и принять его благословение на путь, а батюшка выносит ей в приемную из своей кельи и подает икону Божией Матери и говорит:

— Отвезите эту икону от меня в благословение княжне Марии Михайловне и скажите ей, что я сегодня, как раз перед вашим приходом, пред этой иконой помолился о даровании ей душевного и телесного здравия.

Было же это около десяти часов утра.

— Да застану ли я ее еще в живых? — возразила Елена Андреевна.

— Бог даст, — ответил о. Варсонофий, — за молитвы Царицы Небесной не только живой, но и здоровой застанете.

Вернулась Елена Андреевна в Петербург и первым долгом к княжне. Звонит. Дверь отворяется, и в ней княжна: сама и дверь отворила, веселая, бодрая и как не болевшая.

— Да вы ли это? — глазам своим не веря, восклицала Елена Андреевна. — Кто же это воскресил вас?

— Вы, — говорит, — уехали, мне было совсем плохо, а там все хуже, и вдруг третьего дня около десяти часов утра мне ни с того ни с сего стало сразу лучше, а сегодня, как видите, и совсем здорова.

— В котором часу, говорите вы, это чудо случилось?

— В десятом часу третьеводни.

Это был день и час, когда о. Варсонофий молился пред иконой Божией Матери, присланной княжне в благословение.

Со слезами восторженного умиления Елена Андреевна сообщила княжне бывшее и передала ей икону Царицы Небесной. Та молча приняла икону, перекрестилась, приложилась к ней и тут же повесила ее у самой своей постели. С того дня Елене Андреевне уже не было нужды обращать княжну в православие: с верою в Пречистую и угодников Божиих дожила княжна свой век и вскоре отошла ко Господу. Жила и умерла по-православному.

V. Елена Андреевна Воронова. Ее исцеление

У Елены Андреевны при общем слабом состоянии здоровья было очень слабое зрение: один глаз совсем не видел, и лучшие столичные

окулисты ей говорили, что не только этому глазу уже никогда не вернуть зрения, но что и другому глазу угрожает та же опасность. И бедная Елена Андреевна с ужасом стала замечать, что и здоровый ее глаз тоже начал видеть все хуже и хуже...

Стоял лютый февраль, помнится, 1911 года. Приезжает в Оптину Елена Андреевна, слабенькая, чуть живая.

— Что это с вами, дорогой друг?

— Умирать к вам приехала в Оптину, — отвечает полусерьезно-полушутя всегда и при всех случаях жизни жизнерадостный друг наш, и тут же нам рассказала, что только что перенесла жестокий плеврит (это с ее-то больными легкими).

— Но это все пустяки! А вот нелады с глазами — это будет похуже. Боюсь ослепнуть. Ну да на все воля Божия!

На дворе снежные бури, морозы градусов в пятнадцать — сретенские морозы, а приехала она в легком не то ваточном, не то "на рыбьем меху" пальтишке, даже без теплого платка; в руках старенькая, когда-то каракулевая муфточка, на голове такая же шапочка — все ветерком подбито... Мы с женой с выговором, а она улыбается:

— А Бог-то на что? Никто как Бог!

Пожила дня три-четыре в Оптиной, отговелась, причастилась, пособоровалась. Уезжает, прощается с нами и говорит:

— А наш батюшка (о. Варсонофий) благословил мне по пути заехать в Тихонову пустынь

и там искупаться в источнике преподобного Тихона Калужского[1].

Если бы не знали великого дерзновения крепкой веры Елены Андреевны, было бы с чего прийти в ужас, да к тому же и Оптина от своего духа успела нас многому научить, и потому мы без всякого протеста перекрестили друг друга, расцеловались, распрощались, прося помянуть нас у преп. Тихона.

Вскоре после отъезда Елены Андреевны получаем от нее письмо из Петербурга, пишет:

"Дивен Бог наш и велика наша православная вера! За молитвы нашего батюшки — отца Варсонофия я купалась в источнике преподобного Тихона при 10 гр. Реомюра в купальне. Когда надевала белье, оно от мороза стояло колом, как туго накрахмаленное. Двенадцать верст от источника до станции железной дороги я ехала на извозчике в той же шубке, в которой вы меня видели. Волосы мои, мокрые от купанья, превратились в ледяные сосульки. Насилу оттаяла я в теплом вокзале и в вагоне, и — даже ни насморка! От плеврита не осталось и следа. Но что воистину чудо великое милости Божией и угодника пр. Тихона, это то, что не только выздоровел мой заболевший глаз, но и другой, давно погибший, прозрел, и я теперь прекрасно вижу обоими глазами..."

Такова была наша Елена Андреевна. Такова была ее чудотворная вера.

---

[1] Тихонова пустынь Калужской епархии. Славится чудотворным источником, подобным источнику пр. Серафима Саровского.

VI. Номер Льва Толстого в Оптинской гостинице. Из записок В.М.Чихачева, товарища и сотаинника Святителя Игнатия Брянчанинова

В один из своих приездов в Оптину приходит к нам Елена Андреевна бледная, взволнованная...

— Ах, какую я сегодня ужасную ночь провела!

— Что такое, что с вами?

— Всегда я останавливалась и останавливаюсь в гостинице отца Михаила и беру маленький номерок, к которому уже привыкла, а этот раз мне дали самый большой, угловой. Он не по чину мне, и не люблю я таких, но остальные все были заняты, и мне не оставалось выбора... Помолилась я на сон грядущий, прочла все свое обычное правило, разделась, легла на диван, затушила свечку и, при свете лампадки, собиралась уже засыпать, как вдруг с чего-то мне стало страшно — почувствовала сердцем близкое присутствие нездешней злой силы. Открыла я глаза, взглянула и обомлела: весь номер наполнился бесами разной величины — и большими, и малыми, — и все эти страшилища, вид которых не поддается описанию, стали наступать на меня и лезть к моей постели. Я хочу перекреститься, хочу прочесть воскресную молитву — и не могу ни руки поднять для крестного знамения, ни вспомнить слов молитвы. А чудовища хохочут страшным смехом и, глумясь над моим беспомощным ужасом, шипят змеиным шипом:

— Не можешь, не можешь, не вспомнишь!

И все ближе и ближе продвигаются к моей постели бесы... Вот они уже совсем близко, почти касаются меня... И вдруг точно тяжесть с моей руки свалилась: я перекрестилась и громко воскликнула: "Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!" — бесы мгновенно исчезли. Нервное потрясение, однако, было так велико, что я почти до самого утра заснуть не могла.

— А знаете ли вы, — спросили мы, — что это за номер, в котором вы ночевали?

— Нет.

— Это тот номер, в котором останавливался Лев Толстой, когда перед смертью приезжал в Оптину.

— Ну, тогда все понятно!

В записках сотаинника и товарища по школьному учению и по постригу в монашество Святителя Игнатия Брянчанинова, Михаила Васильевича Чихачева, записано чудесное сновидение о епископе Игнатии, переданное С.И.-Снессаревой. К бывшему случаю с Еленой Андреевной оно может служить чрезвычайно яркой иллюстрацией.

"В последнее свидание с преосвященным Игнатием, 13 сентября 1866 года, — так передавала Чихачеву Снессарева, — он, прощаясь, сказал мне: София Ивановна, вам как другу, как себе, говорю: готовьтесь к смерти — она близка. Не заботьтесь о мирском: одно нужно — спасение души! Понуждайте себя думать о

смерти, заботьтесь о вечности!.. 1867 года 30 апреля, в воскресенье (неделю Мироносиц), скончался преосвященный Игнатий в Николо-Бабаевском монастыре; я поехала на его погребение, совершившееся 5 мая... Невыразима словом грустная радость, которую я испытала у гроба его. В субботу 12 августа 1867 года ночью худо спала, к утру заснула. Вижу — пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, но с грустью и сожалением смотрит на меня. "Думайте о смерти, — говорит он, — не заботьтесь о земном! Все это только сон, земная жизнь только сон..." На мое беспокойство о сыне владыка сказал: "Это не ваше дело: судьба его в руках Божиих! Вы же заботьтесь о переходе в вечность". Видя мое равнодушие к смерти и исполнясь состраданием к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти: "Вы слепы, ничего не видите и потому не боитесь, но я открою вам глаза и покажу смертные муки".

Я стала умирать. О, какой ужас! Мое тело стало мне чуждо и ничтожно, как бы не мое, вся жизнь перешла в лоб и глаза; мое зрение и ум увидели то, что есть действительно, а не то, что нам кажется в этой жизни. Эта жизнь сон, только сон! Все блага и лишения этой жизни не существуют, когда наступает со смертью минута пробужденья. Нет ни вещей, ни друзей — одно необъятное пространство, а все пространство это исполнено существами страшными, не по-

стигаемыми нашим земным ослеплением; они кишат вокруг нас в разных образах, окружают и держат нас. У них тоже есть тело, но тонкое, как будто слизь какая ужасная! Они лезли на меня, лепились вокруг меня, держали меня за глаза, тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевести дыхание, чтобы не допустить меня призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, осенить себя крестным знамением, хотела слезами к Богу, произношением имени Господа Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя эти страшные существа, но у меня не было ни слов, ни сил.

А эти ужасные кричали на меня, что теперь уже поздно, нет молитвы после смерти! Все тело мое деревенело, голова неподвижна, только глаза все видели и в мозгу дух все ощущал. С помощью какой-то сверхъестественной силы я немного подняла руку, но до лба не донесла — на воздухе я сделала знамение креста, — тогда страшные корчились. Я усиливалась не устами и языком, которые не принадлежали мне, а духом представить имя Господа Иисуса Христа — тогда страшные прожигались, как раскаленным железом, и кричали на меня: “Не смей произносить этого имени, теперь поздно!” Мука неописанная! Лишь бы на одну минуту перевести дыхание! Но зрение, ум и дыхание выносили невыразимую муку от того, что эти ужасные страшилища лепились вокруг них и тащили в разные стороны, чтобы не дать мне возможность произнести имя Спасителя. О, что это за стра-

дание!.. Опять голос владыки Игнатия: "Молитесь непрестанно, все истина, что написано в моих книгах. Бросьте земные попечения, только о душе заботьтесь!" И с этими словами он стал уходить от меня по воздуху как-то кругообразно, все выше и выше над землею. Вид его изменялся и переходил в свет. К нему присоединился целый сонм таких же светлых существ, и все как будто ступенями необъятной, невыразимой словами лестницы; как владыка, по мере восхождения, становился неземным, так и все присоединившиеся в нему в разных видах принимали невыразимо прекрасный солнцеобразный вид. Смотря на них и возносясь духом за этой бесконечной полосой света, я уже не обращала внимания на страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня, чтобы привлечь мое внимание на них новыми муками. Светлые сонмы тоже имели тела, похожие на дивные, лучезарные лучи, пред которыми наше солнце — ничто.

Эти сонмы были различного вида и света, и чем выше ступени, тем светлее. Преосвященный Игнатий поднимался все выше и выше, но вот его окружает сонм лучезарных святителей, он сам потерял свой земной вид и сделался таким же лучезарным. Выше этой ступени мое зрение не достигало. С этой высоты владыка Игнатий еще бросил на меня взгляд, полный сострадания. Вдруг, не помня себя, я вырвалась из власти державших меня и закричала: "Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего пре-

освященного Игнатия и святыми его молитвами спаси и помилуй меня грешную!" Мгновенно все ужасные исчезли, настали тишина и мир. Я проснулась в жестоком потрясении... Никогда ничего я не боялась и охотно оставалась одна-одинешенька в доме, но после этого сна несколько дней я чувствовала такой ужас, что не в силах была оставаться одна. Много дней я ощущала необыкновенное чувство на середине лба: не боль, а какое-то особенное напряжение, как будто вся жизнь собралась в это место. Во время этого сна я узнала, что когда мои ум сосредоточивается на мысли о Боге, на имени Господа Иисуса Христа, ужасные существа мигом удаляются, но лишь только мысль развлекается, в тот же миг они окружали меня, чтобы мешать моей мысли обратиться к Богу и молитве Иисусовой[1].

Верующей душе Елены Андреевны было понятно, почему именно в номере Льва Толстого, а не в ином месте было ей видение страшной сатанинской силы. Дай Бог, чтобы это понимание открылось и моему читателю!

VII. Блаженная кончина Е.А.Вороновой. Неизреченный Огонь

Пришла, наконец, пора умирать и нашей дорогой праведнице. Месяца за три или четы-

[1] Леонид Соколов. Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и моральные воззрения. Часть 1-я, стр. 335 — 337, Киев, 1915 г.

ре до ее праведной кончины мы с женой были в Петербурге, и, конечно, у нее на Подрезовой улице Петербургской стороны. Елена Андреевна уже была больна: к ее коренной болезни легких присоединилась грудная жаба, и наша дорогая больная по временам задыхалась и тяжко страдала. Но когда приступы болезни утихали, она была все та же любвеобильная, жизнерадостная и духом бодрая Елена Андреевна, какою ее знали и любили все ее почитатели; только от всех ее "послушаний", как она называла, между прочим, и дела своего тюремного благотворения, ей пришлось уже окончательно отступиться, передав их другим, близким ей лицам.

В Петербурге мы прожили недолго и с великой грустью распростились с дорогим нашим другом, сердцем предчувствуя, что прощание это навеки, до встречи на небесах, если удостоит Бог... Было это поздней осенью, а следующей весной она уже отошла в селения праведных, к прежде нее отошедшим старцам ее — Мефодию Псковскому и Варсонофию Оптинскому.

С начала Великого поста Елена Андреевна стала себя чувствовать очень плохо, припадки грудной жабы усилились и участились до того, что бедный друг наш, несмотря на все свое ангельское терпение, вынуждена была громко стонать и жаловаться Богу на нестерпимые муки. Стонет она в своих невыразимых страданиях и все причитывает:

— Господи, прости меня! Тяжело мне, Господи! Но я не ропщу, не ропщу я, Господи, пошли мне, нетерпеливой, терпенья!

И в таких муках она неисходно пребывала от первой недели Великого поста до Великого понедельника Страстной седмицы. В этот день, после особенно тяжелого припадка, она вся точно просветлела и говорит подруге своей зрелой жизни, с которой под одной кровлей скоротала не менее, если не более тридцати лет:

— Соня! Я умру в Великую пятницу.

— Что ты, что ты! С чего ты это взяла? Ты еще, Бог милостив, скоро поправишься, и мы с тобой в Крым поедем.

— Нет, Соня, в Великую пятницу я умру непременно.

— Откуда ты это знаешь?

— Мне это Сам Господь сказал: я Его видела. Он явился мне и сказал: "У тебя доброе сердце, так потерпи до пятницы: в день Моего распятия умрешь и ты".

Подруга Елены Андреевны, София Ивановна Разумная, спросила, не веря слуху своему:

— Как же ты видела Господа?

— Это рассказать и объяснить невозможно: это выше человеческого разумения.

Как сказала, так в Великую пятницу и умерла. В день крестных страданий Своих и смерти крестной Господь по обещанию Своему, взял нашу праведницу в Свои вечные обители, страдания ее приняв как искупительную жертву за те преступные души, которые ее доброму и ве-

ликодушному сердцу обязаны были своим покаянием и спасением.

— У тебя доброе сердце: потерпи до пятницы.

Она и претерпела... до конца... "Претерпевший до конца, той спасется". Спасая ближнего — а ближнего она умела находить даже на самом дне человеческого греха и злобы, — она спасла и его, и себя и удостоилась части в страданиях и смерти своего Спасителя и Господа и, стало быть, в Его Воскресении.

Это ли не венец мученичества? Это ли не венец правды Божией!..

И какое для нас счастье, что мы не только были знакомы с этим земным Ангелом, но и считались ею в числе ее ближайших друзей!

За венец терпения ее и любви помилуй, спаси нас, Всещедрый и Человеколюбивый Господи!..

Она страдала до 12 часов ночи Великой пятницы, когда страдания ее прекратились. Она затихла, стала ровнее дышать; попросила все свои святыни. Положили ей крест на грудь. Она сама, своей рукой, закрыла себе глаза и больше их не открывала — и тихо опочила. Была она все время в памяти, обо всем продумывала и даже извещение о своей смерти за три дня написала. Почерк был твердый и ясный... После ее кончины пришел пристав, и, кроме носильного платья, ничего не нашлось. Скончалась она 8 апреля 1916 года.

В Летописи Серафимо-Дивеевского женского монастыря есть одно чрезвычайно трогательное и важное сказание о праведной кончине Елены Васильевны Мантуровой, сестры великого мирского послушника Преподобного Серафима — Михаила Васильевича Мантурова. Вот что сообщается в этом сказании:

“Трое суток до смерти Елена Васильевна была постоянно окружена видениями, и для непонимающих людей могло казаться, что она в забытьи.

— Ксения! Гости будут у нас! — вдруг произнесла она. — Смотри же, чтобы у нас все было здесь чисто.

— Да кто же будет-то, матушка? — спросила Ксения, ее крепостная бывшая, слуга и послушница.

— Кто? Митрополиты, архиереи и весь духовный причт.

В день смерти Елена Васильевна опять говорила:

— Ксения! Не накрыт ли стол-то? Ведь скоро гости будут...

Умирающая была окружена образами. Вдруг, вся изменившись в лице, радостно воскликнула:

— Святая Игумения! Матушка! Обитель-то нашу не оставь!

Долго-долго со слезами молилась умирающая, и все об обители, много, но несвязно говорила она, а затем совершенно затихла. Немного погодя, как бы очнувшись, она позвала Ксению, говоря:

— Грядет, грядет!.. Вот и Ангелы, вот и мне венец, и сестрам венцы.

Видя и слыша все это, Ксения Васильевна в страхе воскликнула:

— Матушка! Ведь вы отходите: я пошлю за батюшкой!

— Нет, Ксенюшка, погодите еще! — сказала Елена Васильевна. — Я тогда сама скажу вам.

Много времени спустя она послала за о. Василием Садовским, особоровалась и причастилась Святых Христовых Таин...

По уходе о. Василия Ксения, видя, что Елена Васильевна вдруг вся просветилась и отходит, испуганно к ней бросилась и стала молить ее:

— Матушка!.. Тогда... нынче ночью-то, я не посмела тревожить и спросить вас, а вот вы теперь отходите... Скажите мне, матушка, Господа ради, скажите: вы видели Господа?

— Б-о-г-а ч-е-л-о-в-е-к-а-м невозможно видети: на Него же не смеют чини ангельские взирати! — тихо и сладостно запела Елена Васильевна. Но Ксения продолжала молить, настаивать и плакать. Тогда Елена Васильевна сказала:

— Видела, Ксения! — И лицо ее сделалось восторженное, чудное, ясное... — Видела — как Неизреченный Огонь, а Царицу Небесную и Ангелов видела просто"[1].

---

[1] Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Издание второе. 1903 г. С-Петербург, стр. 419 — 423.

“Видела — как Неизреченный Огонь!” Как это изъяснить человеческим языком? Недаром наш дорогой почивший друг Елена Андреевна на подобный же вопрос своей “Ксении” ответила:

— Это выше человеческого разумения!

А современное человеческое безумие вопит: “Нет Бога! Кто Его видел?..”

На то оно и безумие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БАТЮШКА О. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

2 января 1909 г.

I. Друг из Елабуги. Дар "на память" из рук почившего отца Иоанна Кронштадтского

Есть у нас в Елабуге сердечный друг, близкий нам по духу и вере человек, скромная учительница церковно-приходского училища Глафира Николаевна Лобовикова. Близка она была любовию своею и верою к великому молитвеннику земли русской, о. Иоанну Кронштадтскому. Не потому близка она была ему, что жила под одною с ним кровлею — она и виделась-то с батюшкой на всем своем веку раза два-три, не более, — а по вере своей, по которой она имела от него, наверно, больше из многих тех, кто неотступно следовал за батюшкой в его всероссийских странствованиях. С этой рабой Божией наше знакомство долгое время было заочным, по переписке, вызванной интересом ее к моим книгам. Минувшим летом она из далекой своей Елабуги приехала на богомолье в Оптину, и здесь мы с нею и познакомились. Последним ее этапом перед Оптиной был Вауловский скит недалеко от Ярославля, где в то лето на-

чинала уже угасать святая жизнь великого кронштадтского молитвенника. Из Оптиной по пути в Елабугу она хотела опять заехать в Вашлов к батюшке.

— Будете у батюшки, — сказал я ей, — кланяйтесь ему от всех нас в ножки и попросите у него мне что-нибудь из его вещей или из старой его одежды на память и благословение.

Какое имел для души моей значение кронштадтский пастырь, видно из книги моей "Великое в малом". Елабужскому другу просьба моя была понятна.

10 июля прошлого года я получил от нее письмо, в котором она пишет так:

"Здравствуйте, мои дорогие Сергей Александрович и Елена Александровна! Спешу поделиться своей радостью и вкупе вашей. 1 июля в 8 часов утра пароход подошел к конторке, я выхожу и узнаю, что батюшка о. Иоанн на Святом Ключе, в имении купцов Стахеевых, в 17 верстах от Елабуги. Я сейчас же багаж сдала конторщику, где стахеевский пароход дожидал гостей, которые были приглашены. Первым долгом увидала Филиппа Гр. Стельмаховича с семьей. Все были рады, что я подоспела и еще увижу Батюшку. К обедне мы уже не успели. Батюшка уже отслужил. Когда Батюшка меня благословил, то я ему под ухо говорю, что Сергей Александрович Нилус шлет вам земной поклон и просит вашего благословения. Батюшка говорит: "Передай ему, что я глубоко-глубоко уважаю его и люблю его любовью брата во Христе". Я говорю ему: "Батюшка, ему хочет-

ся что-нибудь получить от вас на память". — "К сожалению, у меня ничего нет здесь".

Целый день почти я была с ним. Вечером была всенощная, правило. Все исповедовались у священника. Батюшка не служил всенощную. На следующий день успели человек 30 у него приобщиться, а тут Св. Даров не хватило, — и остались. Я, слава Богу, приобщилась. В 11 ч. Батюшка сел на пароход Стахеева. Хозяйка парохода предложила мне Батюшку проводить до Казани. Ну, я думаю, вы представляете себе мою радость. Моя заветная мечта была, чтобы когда-нибудь с Батюшкой ехать, и вдруг она осуществляется. Стахеева послала свой пароход на Шексну, в Леушинский монастырь, где был Батюшка. С ним поехала игумения с шестью певчими монашками. С Батюшкой был иеромонах о. Феофан и две дамы — Вера Ив. и Екат. Ив. Те же самые поехали обратно, но только присоединились до Казани. Еще Филипп Григорьевич и я грешная удостоились ехать.

На другой день около Казани пароход остановился. Батюшка служил обедню. Батюшке позволено иметь походную церковь. Все приобщились, и я тоже. За обедней Батюшка плакал, часто слезы утирал. Господи, Господи! Такой праведник плачет, так нам-то нужно рыдать от множества прегрешений. Я все плакала, жаль было расставаться. Хоть бы пароход на мель сел, еще бы хоть минута расставания продлилась! Пароход уже подходил к самой Казани. Батюшка вышел из каюты, я встала на колени и прошу благословения. Он благословил меня.

Я ему подаю записочку, где написала, что мне нужно. Батюшка говорит: "Хорошая просьба! Хорошее желание!" Встаю и говорю: "Батюшка, что благословите написать Сергею Александровичу и Елене Александровне Нилусам?" — "Передай, что я их крепко люблю. Хорошо Нилус пишет: я с великим удовольствием прочитал его сочинения. Его сочинения чистый алмаз". — "Батюшка, ведь они оба очень хорошие, религиозные и гостеприимные". А Батюшка говорит: "От хорошего дерева хорошие и плоды". "Батюшка, — говорю, — благословите их!" Он снял шляпу, перекрестился и говорит: "Бог их благословит". Да я еще ему говорю, что Сергей Александрович еще три тетради написал и будет издавать. "Скажи, скорее бы издавал да мне прислал прочитать".

Видно, дорогой Батюшка не думает долго жить. Глядя на него, думается: как и чем живет? Такой худенький, слабенький.

Простите. Остаюсь любящая вас Глафира Лобовикова".

Сегодня — день памяти Преподобного Серафима Саровского. Мы женой вдвоем ходили и к утрени, и к обедне. В этот знаменательный и любимый наш день мы получили из Петербурга от одного близкого родственника жены письмо, и в нем небольшую веточку buxus'а с несколькими листочками: во время заупокойного бдения, накануне погребения о. Иоанна, веточка эта была вложена в руку покойного и в ней лежала все время, пока шло бдение.

При жизни своей у батюшки не нашлось под руками, что прислать мне на память, а по смерти эту “память” он прислал мне из собственных своих ручек, да еще через такое лицо, которое и знать-то ничего не могло о моем желании.

Еще замечательное совпадение: книга моя “Великое в малом”, посвященная о. Иоанну Кронштадтскому, так много говорит о Преподобном Серафиме Саровском, что повествованием о нем, можно сказать, наполнена едва ли не четвертая часть ее первого тома. И вот в день Преподобного шлется мне зеленая ветвь на память от того, кому с такою любовью и верою был посвящен мой первый опыт посильного делания на пожелтевшей уже и близкой к жатве ниве Христовой. Я не признавал никогда и не признаю случайного во внешнем, видимом мире, тем менее — в мире духовном, где для внимательного и верующего все так целесообразно и стройно. Не отнесу и этого важного для меня события к нелепой и не существующей области случайного...

Да не будет!

7 марта

II. Опять в Оптиной. Сновидение о. Варсонофия. Нечто от “клеветы человеческой”. Слова о. Егора Чекряковского. О. Варсонофий о “Троицком Слове”. О. Нектарий и помещица-пустынножительница. Не грозится ли небо?

Ходили с женой на благословение к о. Варсонофию. Е.А.Воронова слышала от него, что он в ночь с середы 17 февраля на четверг 18-го

видел сон, оставивший по себе сильное впечатление на нашего батюшку.

“Не люблю я, — говорил он Елене Андреевне, — когда кто начинает мне рассказывать свои сны, да я и сам своим снам не доверяю. Но бывают иногда и такие, которых нельзя не признать благодатными. Таких снов и забыть нельзя. Вот что мне приснилось в ночь с 17-го на 18 февраля. Видите, какой сон — числа даже помню!.. Снится мне, что я иду по какой-то прекрасной местности и знаю, что цель моего путешествия — получить благословение о. Иоанна Кронштадтского. И вот взору моему представляется величественное здание, вроде храма, красоты неизобразимой и белизны ослепительной. И я знаю, что здание это принадлежит о. Иоанну. Вхожу я в него и вижу огромную как бы залу из белого мрамора, посреди которой возвышается дивной красоты беломраморная лестница, широкая и величественная, как и вся храмина великого кронштадтского пастыря. Лестница от земли начинается площадкой, и ступени ее, перемежаясь такими же площадками, устремляются, как стрела прямая, в бесконечную высь и уходят на самое небо. На нижней площадке стоит сам о. Иоанн в белоснежных, ярким светом сияющих ризах. Я подхожу к нему и принимаю его благословение. Отец Иоанн берет меня за руку и говорит:

— Нам надобно с тобой подняться по этой лестнице!

И мы стали подниматься. И вдруг мне пришло в голову: как же это так? Ведь отец Иоанн

умер! Как же это я иду с ним, как с живым? С этою мыслью я и говорю ему:

— Батюшка! Да вы ведь умерли?

— Что ты говоришь? — воскликнул он мне в ответ. — Отец Иоанн жив, отец Иоанн жив!"

— На этом я проснулся... Не правда ли, какой удивительный сон, — спросил Елену Андреевну о. Варсонофий, — и какая это радость — услыхать из уст самого о. Иоанна свидетельство непреложной истинности нашей веры!

Елена Андреевна надумала было просить благословения у старца напечатать это благодатное видение. Старец даже за голову схватился...

— Помилуй вас Бог! Не для печати это вам рассказано, а для вашего назидания. И не думайте этого печатать[1].

Принял нас наш батюшка с обычной для него лаской, усадил меня на диван в той комнатушке своей кельи, которую он трогательно величает "зальцей", и стал мне говорить о той радости, которую испытало его сердце от прочтения первого номера "Троицкого Слова", издаваемого под редакцией епископа Никона[2].

— Вот это хорошо, мудро! — восторгался он. — Это доброе слово.

Вдруг батюшка прервал речь свою...

---

[1] Запрет этот наложен был на Е.А.Воронову, а не на меня, да к тому же теперь и Е.А., и старец о. Варсонофий — оба покойники, и таить благодатного этого сновидения нет причины.

[2] 1910 год был первым годом издания "Троицкого Слова".

— А знаете ли, — сказал он, — против вас начинается восстание, да еще какое восстание-то!

— Откуда, батюшка?

— И извне, и изнутри, со стороны одной партии...

На этом слове в келью вбежал один из скитских послушников, письмоводитель батюшки, с тревожным возгласом:

— Батюшка! Ему так плохо, что едва ли он уже не кончается!

— Ну, давай скорее епитрахиль и одеваться, — заторопился батюшка, — а с вами, С.А., уже до другого, видно, раза.

Батюшка благословил меня и поспешно вышел.

— Кто же это кончается? — спросил я письмоводителя.

— Наш отец И.[1]

. . . .

Не один уже раз с конца прошлого года начинал заводить со мною старец речь о "клевете человеческой", и всякий раз беседа наша на эту прискорбную тему прерывалась на начальном полуслове столь же неожиданным образом. Знаю, что там, где-то в пространстве, кто-то что-то замышляет против нашего оптинского уединения, но кто и почему, так и не удается мне дознаться от своего старца.

— Годочка два, ну три поживете, — говорил нам в 1907 году о. Егор Чекряковский,

[1] О. И. здравствует и поныне.

благословляя нас на поселение в Оптиной. Два года исполнилось, начинаем жить третий, и "кто-то" уже начинает подрывать наши корни в святой земле оптинской.

Тому, видно, быть — не миновать! Буди воля Божия.

Вернувшись из скита домой, застали целое общество, в том числе дорогого духовного друга, о. Нектария, и одну помещицу, духовную дочь старца о. Амвросия, поселившуюся жить, ради Оптиной и ее старцев, в лесной сторожке соседнего с Оптиной помещика, К-на.

— Мне К-на говорила, — так за беседой у самоварчика сказывала нам пустынножительница-помещица, — что по милосердию и любви Божией все, даже нераскаянные злодеи и отступники, скорбями и земными страданиями спасутся. Мне это кажется правильным. Как думаете об этом вы, отец Нектарий? — обратилась она к нашему другу.

— Два, — ответил он кратко, — разбойника висело на крестах рядом со Спасителем, а в рай вошел только один.

— Ах, какая правда! — воскликнула она. — Как же это мне-то не пришло в голову так ответить К-ной?

Оттого и не пришло, подумалось мне, что ты, матушка, не отец Нектарий...

Посидели гости наши и вскоре ушли, а мы, в свою очередь, оделись и отправились вдвоем с

женой гулять мимо заветных старческих могилок в чудный монастырский лес. Было уже довольно поздно. Солнце склонялось к закату; небо было покрыто мрачными тучами; кое-где на западе их пронизывали сверкающие, прощальные лучи заходящего солнца. Было довольно холодно и ветрено... От могилок великих старцев мы пошли по направлению к скиту. В это мгновение солнце ударило из-под туч косыми лучами по верхам архимандритского корпуса, канцелярии и братских келий и заиграло на них таким густым ярко-малиновым огненным светом, что мы остановились, как зачарованные, пред красотой волшебных красок, каких не найти ни на какой палитре. А когда мы вышли за ограду и обернулись еще раз взглянуть на монастырь, то даже ахнули от изумления: весь верх архимандритского корпуса стороною, обращенною к солнцу, горел, как пламенеющий уголь. Незабываемо-красивое и вместе почему-то жуткое было это зрелище... Но что творилось в это время в лесу, осеняющем скитскую дорожку, того ни в сказках сказать, ни пером описать невозможно. Лес горел; каждое его дерево горело и сквозило огнем, как сквозит и пламенеет полоса железа, только что вынутая из горна кузнечными клещами. Деревья не отражали кроваво-огненных лучей заката, а насквозь ими светились, своим внутренним огнем. Это был пожар леса, но без дыма, без треска и шума пожара. До чего же это было красиво и... страшно, и глаз невозможно было оторвать от этой волшебной картины!

Не грозит ли небо духовным пожаром дорогой обители? Не огонь ли небесный готовится свыше излиться на мир великого отступления? Не оттого ли так и страшно, и жутко стало моему бедному, робкому человеческому сердцу?

Как знать?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЖАТВА ЖИЗНИ. ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ

Из личных воспоминаний и свидетельств истинных

"В чем застану, в том и сужу"

К читателю

В бедах и скорбях, тесным кольцом великой тяжести сдавивших со всех сторон твое странствование по путям и распутиям жизни, столь осложнившейся в последнее время, задумывался ли ты когда-нибудь, читатель, о конечной и для всех живущих на земле единственно-общей цели всех земных трудов и усилий, всех горестей и радостей, печалей и надежд, любви и ненависти, добра и зла — всего, словом, того, из чего сплетается терновый венец твоей жизни? Да полно, знаешь ли ты даже, что это за цель такая? А если и знаешь, то помнишь ли о ней с той вдумчивостью, какой она по важности своей заслуживает?

Не думаю. Так позволь же мне, читатель мой и брат мой о Христе, напомнить тебе, кто бы ни был ты — народов ли повелитель иль нищий бездомный, — что для жизни твоей нет

иной цели, как смерть, как приготовление к смерти.

О слово и дело, великое и страшное! И как мало на свете людей, кто бы о нем думал!

“Помни час смертный — и вовек не согрешишь”, — взывает к нам святая наша мать-Церковь. “Вовек не согрешишь!” Слышишь ли, что говорит она? Забыли мы об этом для всех неизбежном часе и во что же грехами своими обратили мы теперь весь окружающий нас мир? Забыли думать о смерти; но она не забыла о нас и с силой ужасающей все больше и яростнее, день ото дня, час от часу все безжалостнее, вырывает она из рядов живых свои намеченные жертвы: война, голод, болезни, землетрясения, страшные и внезапные наводнения; общественные и семейные раздоры, доходящие до кровопролитий, в которых сыновья поднимают руку на отцов и матерей, брат на брата, мужья на жен, жены на мужей; междоусобная брань, в которой общественные отбросы и увлеченная богоборным учением обезумевшая молодежь наша в безумном ослеплении восстают на власть предержащую и на всех, кто живет по заповедям Божиим, а не по стихиям мира. Льется кровь потоками, и коса смерти пожинает такую обильную жатву, что сердце стынет от холодного ужаса. Наступают, по-видимому, времена, о которых верные христиане предупреждены грозным словом Св. Писания, что “до узд конских будет кровь тогда” и “если бы не сократились дни те ради избранных, то не было бы спасения никакой плоти”. И тем не менее —

видят все это люди, видят все ужасы смерти, и мало кто думает о смерти; как будто временно остающиеся в живых, одни они имеют какой-то, им одним известный, залог вечной жизни на земле, и только те, которые умирали, предназначены к смерти.

Нет, друг мой читатель, и тебе, и мне, и всему живущему на земле определено "единою умрети, а затем — суд". Не обманывает тебя Богом в тебя заложенное предчувствие вечной жизни: она тебе дана, но только по смерти, как семени, которое "аще не умрет, не оживет". Весь вопрос заключен в том: как умереть и как ожить? Умереть ли для вечной жизни в грехе и в муке греха или же для нескончаемой радости в блаженстве, для правды, в вечном созерцании Источника всякой правды — Отца светов, Бога Истинного?..

"В чем застану, в том и сужу..."

Люта смерть грешников... Страшно грешнику впасть в руце Бога Живаго в том вожделенном мире, идеже лица Святых и праведницы сияют, яко светила!.. Не войдет туда ничто от скверны плоти и духа.

И слышится мне в тиши моего уединения, как враг-диавол нашептывает внимающему речам моим:

— Не слушай его! Иди вслед за образованным миром, который уже давно на основании науки и разума отверг все эти басни отжившего свой век христианства. Что имело смысл для младенчествовавшего и темного человечества, то "сознательным" человеком рассеяно как дым

суеверия и невежества. Из рук своекорыстных жрецов алтаря вырвана теперь власть морочить людей угрозой вечной жизни по смерти в вечных муках, предназначенной будто бы для тех, которые рабски не следуют в этой жизни их правилам. Смотри, даже простой народ, и тот уже понял, что он был окован в своей свободе, в свободном своем достоинстве человека, путами жреческой морали, на которой столько веков строилось рабство и угнетение личности во имя какой-то вечности в блаженстве, которой не видал никто, а все видели тиранию немногих над всеми, благополучие и довольство единиц, основанное на нищете, труде и горе миллионов. Довольно сказок о Царстве Небесном; нам подай по праву принадлежащее каждому царство земное!

Знакомые, лукавые речи! Кто только не слыхивал их на своем веку, и не только извне, но и в тайниках глубинных своего сердца!.. Но не прельщайся ими, читатель, — они обманут тебя, как обманули и погубили уже многих, а последуй-ка лучше за мной в ту область, которая зовется миром своего и чужого опыта в духовной жизни, в мир наблюдений и воспоминаний как лично своих, так и тех людей, которые в той области тоже кое-что видели и наблюдали. Ведь и это тоже наука; но редко кто знает и хочет знать эту науку. Пойдем же, заглянем туда, где над нашим с тобой братом, русским человеком, таким же, как ты и я, уже пронеслось грозное дыхание смерти, где бесшумно, но таинственно и важно совершилось величай-

шее таинство перехода от жизни временной в жизнь вечную.

Пойдем же за мной туда, пока мы еще с тобою живы, пойдем хоть из простого любопытства!..

I. Праведная кончина инока

Передо мной лежит письмо, простое частное письмо от лица к лицу. Давнишнее уже письмо это, и время наложило на него печать разрушения: поблекли и пожелтели листы почтовой бумаги, повыцвели чернила; только любовь, которая его диктовала, все так же свежа, все так же благоухает, и время не имело власти над нею. Я знаю этих лиц, хотя они уже ушли из этого мира и я на его распутиях не встречался с ними; но я знаю их по рассказам о них от близких им по духу, по общности нашей с ними веры и любви, по вере и любви к тем обетованиям, в которые веровали они и в которые всем сердцем верю и я; они близки и дороги мне, эти лица, как воплощение чистейшего идеала и величия духа простых сердцем русских людей, былых строителей великой моей Родины.

Пишет духовник Киево-Печерской Лавры, иеромонах Антоний к именитому курскому купцу Феодору Ивановичу Антимонову о последних днях жизни родного брата Феодора Ивановича, екклесиарха Великой церкви архимандрита Мелетия[1]. Прочти его со мною вместе, мой дорогой читатель!

---

[1] В миру — Михаил Иванович Антимонов. Начало монашеству он положил в Предтеченском скиту Оптиной пустыни.

“Достопочтеннейший Феодор Иванович! Сообщаю вам Божие благословение как поручение вашего любезного брата и моего духовного друга, отца Мелетия, вам, и всему вашему потомству, и всем родственникам вашим. Испросил я его у брата вашего от лица всех вас за восемь часов до блаженной его кончины, последовавшей 1865 года октября 17-го, пополуночи в 5 ч. 30 м. утра.

Последняя телеграмма передала вам роковую сию весть, столь близкую вашему сердцу. Я обещал писать вам подробно, но доселе замедлил. Причины замедления заключаются в том, что мне пришлось исполнить весь долг христианский в отношении дорогого усопшего: уход за ним во все время его предсмертной болезни; напутствие его к смерти, погребение и, наконец, шестинедельное по душе его служение Божественной Литургии — все это лежало на моей обязанности. И теперь еще, до исполнения 40 дней со дня его кончины, я не свободен, так как ежедневно совершаю службу в Великой церкви за упокой души дорогого почившего. Поэтому не взыщите за недостаточную связность изложения — пишу вам урывками.

Велик и важен предмет, о котором я пишу вам и о котором я ежедневно сообщал отцу Исаакию[1], ибо что может быть важнее для христианского сердца праведнической, безболезненной кончины христианина? А этим праведником и был покойный брат ваш.

---

[1] Родной брат о. Мелетия, настоятель Оптиной пустыни.

3 октября, т.е. в воскресение, брат ваш служил в Великой церкви; служил с ним и я. Не могу вам объяснить того чувства, которое я испытывал при виде его воздвигающим во время Херувимской песни руки свои горе: он представился мне тогда, несмотря на то, что ничто не предуказывало его близкой кончины, праведнейшим мертвецом; именно мертвецом, а не живым и священнодействующим Божиим иереем. Но тогда на это впечатление моей души я не обратил должного внимания, а между тем это прозрение сердца через две недели осуществилось на самом деле.

Во вторник брат ваш служил соборную панихиду. Во время вечерни он в сухожилиях под коленями внезапно почувствовал боль. Боль эта продолжалась всю ночь по возвращении его в келью, а поутру она уже мешала ему свободно ходить; поэтому в среду у утрени он не был. Днем, в среду, он почувствовал упадок сил, особенно в руках и ногах; аппетит пропал и уже не вернулся к нему до самой его кончины.

В четверг был легкий озноб. Чтобы согреться, он, по обычаю своему, лег на печку, после чего у него сделался легкий внутренний жар. Все это время мы с ним не видались: я страдал от зубной боли, а он не придавал значения своему нездоровью, полагая его простым, не опасным недомоганием, и потому не давал мне знать. Только в пятницу вечером я узнал о его немощи.

Когда в субботу утром я увидал его лежащим на постели, то он вновь мне представился

тем же мертвецом, каким он мне показался во время богослужения. С этой минуты я уже не мог разубедить себя в том, что он не жилец уже более на этом свете.

В этот день прибегли к лекарственным средствам, чтобы вызвать в больном испарину; но он, вероятно, чувствуя, что это для него бесполезно, видимо, принуждал себя принимать лекарство только для того, чтобы снять с окружающих нарекание в недостатке заботливости. С этого времени он слег окончательно, пищи не принимал, и даже позыв к питью в нем сокращался, как и самые дни его.

В понедельник над ним совершено было таинство елеосвящения. Святых же Таин его приобщали ежедневно.

Во вторник ему предложили составить духовное завещание, на что он и согласился, чтобы заградить уста, склонные к кривотолкам. Затем ему было предложено раздать все оставляемое по завещанию имущество своими руками.

— А если я выздоровлю, — возразил он, — тогда я вновь, что ли, должен всем заводиться?

Я ему сказал:

— Тем лучше, что мы всю ветошь спустим; а что вам потребуется, то выберете в моей келье как свою собственность.

— Когда так, — сказал он, — тогда делайте распоряжение, какое вам угодно...

Со вторника истощение сил стало в нем быстро усиливаться. В среду я доложил о ходе его болезни митрополиту. Владыка посоветовал

призвать главного врача. Я сказал об этом больному.

— Когда по благословению владыки, — сказал он, — то делать нечего — приглашайте!

В четверг его тщательно осматривал врач и дал заключение, обычное докторской манере; и да, и нет — и может выздороветь, и может умереть.

В пятницу больной после причащения Святых Таин подписал духовное завещание и тогда же потребовал проститься со всеми своими сотрудниками и дать каждому из них на память и благословение какую-нибудь вещь из своих келейных пожитков. Я приказал собрать около кровати больного все вещи, предназначенные для раздачи, и сам, кроме того, принес из своей кельи сотни три финифтяных образков. И когда стали допускать к нему прощаться, то прощание это имело вид, как будто отец какого-то великого семейства прощался со своими детьми. Этот вечер вся братия лаврская, каждый, спешил и проститься с ним, и принять его благословение. Я стоял на коленях у изголовья больного и подавал ему каждую вещь в руку, а он отдавал ее приходящему. Уже более часу продолжалось это прощание, и я, было, потребовал его прекратить, чтобы не утомить больного.

— Нет, — возразил он, — пусть идут! Это пир, посланный мне милостью Бога.

Только ночь прекратила этот "пир", и он им нисколько не утомился. Глубокою ночью он обеспокоился о нашем спокойствии и настоял, чтобы мы шли отдыхать...

Возвратясь в келью, я получил от вас депешу, с которою в ту же минуту прошел к больному и сказал ему, что я об угрожающей его жизни опасности известил вас, а о. Исаакию каждый день сообщаю о ходе его болезни. Он тут много говорил со мною и благодарил меня за содействие к приготовлению его к вечности. Под конец он спросил меня:

— А знаешь ты Власову, монахиню в Борисовке?

— А что?

— Да вот эту фольгову икону перешли ей. Ее имя — Агния. Этой иконой меня благословляла ее тетка, когда я ехал в Оптину пустынь, решившись там остаться. Икону эту я всю жизнь имел как дар Божий.

— Приказывайте, батюшка, — сказал я, — все, что вам угодно. Исполню все так, как бы вы сами.

— Да, пока — только!

— А что чувствуете вы теперь? — спросил я.

— Да мне хорошо.

— Может быть, страх смерти?

— Да и того нет! Я даже удивляюсь, что я хладнокровно отношусь к смерти, тогда как я уверен, что смерть грешников люта; а я и болезни-то ровно никакой, ровно никакой не ощущаю: просто хоть бы у меня что-нибудь да болело, и того не чувствую; а только вижу, что силы и жизнь сокращаются... Впрочем, может быть, неделю еще проживу...

Я улыбнулся. Он это заметил.

— О, и того, видно, нет?.. Ну, буди воля Божия!.. А скажите мне откровенно, как вы меня видите, по вашим наблюдениям?

— Я уже сказал вам третьего дня, что вы на жизнь не рассчитывайте: ее теперь очень мало видится.

— Я вам вполне верю. Но вот досадно, что во мне рождается к сему прекословие... Впрочем, идите же, отдыхайте! Вы еще не спали.

— Хоть мне и не хочется с вами расстаться, но надо пойти готовить телеграмму Феодору Ивановичу.

— Что ж вы ему будете передавать?

— Да я все же его буду ожидать хоть к похоронам вашим: все бы он облегчил мне этот труд, если бы он застал вас еще в живых и принял бы ваше благословение.

И много, много мы еще говорили, особенно же о том, чтобы расходы на похороны были умеренны.

— Да вы знаете, — сказал я, — что я и сам не охотник до излишеств; а уж что необходимо, того из порядка не выкинешь.

— Да, — ответил он, — и то правда!.. Ну, идите же, отдохните!

Я поправил ему постель и его самого, почти уже недвижимого, и отправился отдыхать.

Отец Гервасий пришел за мною в 7 часов, чтобы я его приготовил к причащению Св. Таин. Он его уже исповедовал в последний раз. Когда я стал его поднимать, он уже был почти недвижим; но когда я его поднял, он на своих ногах перешел в другую комнату и в первый

раз мог сидя причаститься. После причастия он прилег и около часа пролежал покойно, даже, как будто, уснул. С этого часа дыхание его начало быть все более и более затруднительным; но он все же говорил, хотя и с трудом. В это время к нему заходил отец наместник. Надо было видеть, с каким сердечным сокрушением он прощался с умирающим! Со слезами на глазах он изъявил готовность умереть вместо него... Потом я ходил просить митрополита, чтобы он посетил умирающего, к которому он всегда относился с уважением. Не прошло и пяти минут после этого, как митрополит уже прибыл к изголовью больного, который при его входе хотел сделать попытку приподняться на постели, но не мог.

— Ах, как мне стыдно, владыка, — сказал он в изнеможении, — что я лежу пред вами! Вот ведь какой я невежа!

Архипастырь преподал ему свое благословение.

В продолжение дня многие из старших и младших приходили с ним проститься и принять его благословение, а мы старались, чтобы он своими руками дал каждому какую-либо вещь на память. Умирающему это, видимо, доставляло удовольствие, и он всякого встречал приветливой улыбкой, называя по имени. Заходило много и мирских; и тех он встречал с такою же приветливостью, а мы помогали ему раздавать своими руками, что было каждому назначено... Начался благовест к вечерне; он перекрестился. Я говорю:

— Батюшка! Что, вам трудно?

— Нет, ничего-с!

— А как память у вас?

— Слава Богу, ничего-с!.. А что, приходящих теперь никого нету?

— Нет, все к вечерне пошли... Хороша лаврская вечерня!

— Ох, как хороша! — сказал он со вздохом.

— Вам бы пойти!..

— Нет, я не пойду: у меня есть к вам прошение.

— Извольте-с!

— Теперь, — так стал говорить я, — уже ваши последние минуты: скоро душа ваша, может быть, будет иметь дерзновение ко Господу; прошу вас, друг мой, попросите у Господа мне милости, чтобы мне более не прогневлять Его благости!

— О, если по вере вашей, — ответил он, — сподоблен я буду дерзновения — это долг мой; а вы за меня молите Господа, чтобы Он простил все мои грехи.

— Вы знаете, какой я молитвенник; но при всей моей молитвенной скудости я всю жизнь надеюсь за вас молить Господа. Вы помните, какие степени проходила наша дружба? Но последние три года у нас все было хорошо.

— Да и прежде плохого не было!

— Позвольте же и благословите мне шесть недель служить Божественную Литургию о упокоении души вашей в Царстве Небесном!

— О Господи! Достоин ли я такой великой милости?.. Слава Тебе, Господи! Как я этому

рад! Спаси ж вас, Господи!.. Да вот чудо: до сего времени нет у меня никакого страха!

— Да на что вам страх? Довлеет вам любовь, которая не имеет страха.

— Да! Правда это!

— Вы, батюшка, скоро увидите наших приснопамятных отцов, наставников наших и руководителей к духовной жизни: батюшку отца Леонида, Макария, Филарета, Серафима Саровского[1]...

— Да, да!..

— Отца Парфения[2], — продолжал я перебирать имена святых наших современников... И он как будто уже переносился восторженным духом в их небесную семью...

— Да! — промолвил он с радостным вздохом. — Эти все — нашего века. Бог милостив — всех увижу!

— Вот, — говорю я, — ваше время уже прошло; были и в вашей жизни потрясения, но они теперь для вас мелки и ничтожны; но мне чашу их придется испивать до дна, а настоящее время ими щедро дарит.

— Да — время тяжелое! Да и самая жизнь ваша, и обязанности очень тяжелы. Я всегда смотрел на вас с удивлением. Помоги вам, Господи, совершить дело ваше до конца! Вы созрели.

---

[1] Все это современники о. Мелетия. Отец Леонид и Макарий — великие старцы Оптиной пустыни, почившие о Господе, первый 11 октября 1841 года, второй — 7 сентября 1860 года. Филарет — известнейший подвижник и схиигумен Глинской пустыни, скончавшийся в 40-х годах прошлого столетия. Преподобного же Серафима ныне знает и чтит вся Православная Церковь.

[2] Иеросхимонах и подвижник Киево-Печерской Лавры.

— Вашей любви свойственно так говорить, но я не приемлю, стоя на таком скользком поприще деятельности, столь близком к пороку, к которому более всего склонна человеческая природа[1].

— А что, вы не забыли отца Исаакия? — спросил он меня.

— Нет!

— Вот, бедный, попался в ярмо![2] Ах, бедный, как попался-то! Бедный, бедный Исаакий — тяжело ему! Прекрасная у него душа, но ему тяжело... Особенно это время!.. Да и дальняя современность чем запасается? Страшно подумать!

— Вы устали! Не утомил ли я вас?

— Нет, ничего-с!.. Дайте мне воды; да скажите мне, каков мой язык?

Я подал ему воды и сказал, что он говорит еще внятно, хотя и не без некоторого уже затруднения.

— Вот, — прибавил я, — пока вы хоть с трудом, но говорите, то благословите, кого можете припомнить; а то и я вам напомню.

— Извольте-с!

Я подал ему икону и говорю:

— Благословите ею отца Исаакия!

Он взял икону в руки и осенил ею со словами:

— Бог его благословит. Со всею обителью Бог его да благословит!

---

[1] Духовничество. О. Антоний был духовником Лавры.

[2] Отец Исаакий, младший родной брат о. Мелетия, был избран и назначен настоятелем Оптиной пустыни в 1862 году. Об этом-то "ярме" и соболезнует умирающий.

Подал другую.

— Этой благословите Федора Ивановича, все его семейство и все их потомство!

— Бог его благословит! — и тоже своими руками осенил вас.

Я ему назвал, таким образом, всех, кого мог припомнить; и он каждого благословлял рукою.

— Благословите, — сказал я, — Ганешинский дом!

— А! Это благочестивое семейство, благословенное семейство! Я много обязан вам, что мог видеть такое чудное семейство. Бог их благословит!

Итак, я перебрал ему поименно всех; и он всех благословлял, осеняя каждого крестным знамением. Потом я позвал отца Иоакима; он и его благословил иконою. Братия стала подходить от вечерни; и всех он встречал радостной и приветливой улыбкой, благословляя каждого. С иеромонахами он целовался в руку. Было уже около десяти часов вечера. Он посмотрел на нас.

— Вам бы пора отдохнуть! — сказал он.

— Да разве мы стесняем вас?

— Нет, но мне вас жаль!

— Благословите: мы пойдем пить чай!

— Это хорошо, а то я, было, забыл вам напомнить.

Когда мы возвратились, я стал дремать и лег на диван, а отец Гервасий остался около о. Мелетия и сел подле него. Скоро, однако, о. Гервасий позвал меня: умирающему стало как буд-

то хуже, и мы предложили ему приобщиться запасными Дарами.

— Да, кажется, — возразил он, — я доживу до ранней обедни. Впрочем, если вы усматриваете, что не доживу, то потрудитесь!

О. Гервасий пошел за Св. Тайнами, а о. Иоаким стал читать причастные молитвы. Я опять прилег на диване.

В половине третьего утра его приобщили. Он уже не владел ни одним членом, но память и сознание сохранились в такой полноте, что, заметив наше сомнение — проглотил ли он Св. Таины, — он собрал все свои силы и произнес последнее слово:

— Проглотил!

С этого мгновения началась его кончина. Может быть, с час, пока сокращалось его дыхание, он казался, как будто, без памяти: но я, по некоторым признакам, заметил, что сознание его не оставляло. Наконец остановился пульс, и он тихо, кротко, спокойно точно заснул самым спокойным сном. Так мирно и безболезненно предал он дух свой Господу.

Я все время стоял пред ним, как пред избранником Божиим.

Многое я пропустил за поспешностью... Один послушник просил на благословение какую-нибудь вещь, которую он носил.

— Да какую? — спрашиваю.

— Рубашку!

— Рубашки он вчера все раздал.

— Да я ту прошу, которая на нем. Когда он скончается, тогда вы мне ее дайте: я буду ее беречь всю жизнь для того, чтобы и мне в ней умереть.

Я передал об этом желании умирающему:

— Батюшка! Вот, брат Иван просит с вас рубашки на благословение.

— А что ж, отдайте! Бог благословит!

— Да это будет не теперь, а когда будем вас переодевать.

— Да, конечно, тогда!

— Ну, теперь, — говорю, — батюшка, и последняя рубашка, в которой вы умираете, и та уже вам не принадлежит. Вы можете сказать: наг из чрева матери изыдох, наг и из мира сего отхожду, ничего в мире сем не стяжав. Смотрите: рубашка вам не принадлежит; постель взята у других; одеяло — не ваше; даже иконы и книжечки у вас своей нету!..

Он воздел руки к небу и, ограждая себя крестным знамением, со слезами промолвил несколько раз:

— О, благодарю Тебя, Господи, за такую незаслуженную милость!

Потом обратился к нам и сказал:

— Благодарю, благодарю вас за такое великое содействие к получению этой великой Божией милости!

Во всю его предсмертную болезнь, — ее нельзя назвать болезнью, а ослаблением союза души с телом, — ни на простыне его, ни на белье, ни даже на теле не было ни малейшего следа какой бы то ни было нечистоты: он был — сама

святыня, недоступная тлению. Три дня, что он лежал в гробу, лицо его принимало все лучший и лучший вид.

Когда уже все имущество его было роздано, я вспомнил: да в чем же будем мы его хоронить?.. Об этом я сказал умирающему.

— Ничего-с, ничего-с! — успокоил он меня. — Есть в чулане 60 аршин мухояру[1]. Прикажите сшить из него подрясник, рясу и мантию. Кажется, достаточно? Они ведь скоро сошьют!

Утром принесли все сшитым. Он посмотрел...

— Ну, — сказал он, — теперь вы будете покойны... Да, вот еще: вы бы уж и гроб заказали, кстати; только попроще!

— Гроб у нас заказан.

— Ну, стало быть, и это хорошо!

Теперь я изложу вам о том, что происходило по блаженной кончине вашего праведного брата, т.е. о погребении его честного тела.

Тридцать с лишним лет были мы с ним в теснейшем дружеском общении, а последние три года у нас было так, что мы стали как бы тело едино и душа едина. Часто он мне говаривал, чтобы погребение его тела происходило как можно проще.

— Какая польза, — говорил он, — для души быть может от пышного погребения?..

И при этом он высказывал желание, чтобы погребение его тела было совершено самым

[1] Грубая ткань ручной работы из черных шерстяных сученых ниток; ее работают обычно в женских монастырях, а носят только в строгих по жизни мужских и женских обителях.

скромным образом. Я дружески ему прекословил в этом, говоря, что для тела, конечно, все равно, но для души тех, которые усердствуют отдать последний долг своему ближнему, — великая в том польза; потому и св. Церковь усвоила благочестивый обычай воздавать усопшему поминовение в зависимости от средств и усердия его близких, а священнослужители, близкие покойному по родству или по духу, — совершением Божественной Литургии по степени своего священства. Отцу Мелетию и самому такое проявление дружбы к почившим было приятно видеть в других, но для себя он уклонялся от этого как от почести незаслуженной по глубокому, конечно, внутреннему своему смирению.

Живой он удалялся от почестей, но, мертвый, он не ушел от них: они его догнали во гробе!

Когда отец Мелетий заснул навеки, мы одели его в новые одежды, им самим назначенные на случай его погребения, а я распорядился послать телеграммы вам и в Москву. Отец Иоаким все это исполнил и еще мог написать отцу Исаакию и отцу Леонтию, а отец Гервасий — в Петербург. Когда принесли гроб, мы тотчас положили в него тело почившего, и я начал панихиду; затем — другую и третью с разными предстоящими и певчими разных церквей. Когда стали отходить ранние обедни, то все иеромонахи наперерыв начали служить панихиды, которые непрерывно продолжались до самого выноса, последовавшего в половине третьего. В 10 часов я с о. Гервасием ездил в Китаев выб-

рать место для могилы, которое митрополит благословил выбрать "где угодно". Мы назначили при входе в церковь, по левую сторону от передней двери, аршинах в шести, не более.

В три часа наместник с соборными иеромонахами и с нами начал вынос, что очень редко бывает. Несли его в облачениях предстоящие монахи. Гроб с останками почившего поставили в Предтеченский придел[1], где я в понедельник служил соборне Литургию. Во вторник, в день погребения, по особенному изволению митрополита тело было перенесено в Великую церковь. Такого примера в наше время ни одного не было; только преосвященного Иоасафа, митрополита Филарета и князя Васильчикова отпевали в Великой церкви, да вот еще и нашего о. Мелетия, семнадцать лет и семь месяцев бывшего неусыпным блюстителем Великой церкви.

При переносе тела один иеромонах произнес краткую речь. На Литургии, после малого входа, труженик был поставлен посреди церкви. Божественную Литургию служил митрополит. На погребении был еще преосвященный Александр. Литургию пели митрополичьи певчие. Погребение начинали певчие, а антифоны пели лаврские клирошане, что придавало чину погребения необыкновенное величие. День был будний, но народу было — как в двунадесятый праздник. Два иерарха со всем собором прово-

---

[1] Замечальное и знаменательное совпадение: отец Мелетий положил начало своему иночеству в Предтеченском скиту Оптиной пустыни, а начало вечной своей жизни — в храме, посвященном тому же святому имени. Таковы судьбы Божии! *(Прим. составителя)*.

жали гроб за Святые врата. Против моей кельи, в память нашей дружеской любви, гроб был поставлен и была совершена соборная лития. В проходе крепости встретились две команды солдат, которые пред погребальным шествием выстроились во фронт и отдали честь усопшему воину Христову барабанным боем, а трубачи проиграли на своих трубах. Всех удивило это: точно нарочно войска были поставлены для отдания почестей усопшему... Нашлось много усердствующих нести тело до места погребения, но так как от Лавры до него будет 10 верст, то я на это не согласился, потому что уже было два часа пополудни; скоро должны были наступить сумерки и ночь, да к тому же на двух мостах по пути стояла страшная грязь. Поставили гроб на монастырскую катафалку, а сами сели в экипаж и со многими усердствующими поехали в Китаев. В Китаеве гроб был встречен преосвященным Александром с литией. Отслужили в церкви соборную панихиду и так предали земле вашего достойного брата, память которого не умрет: он послужил достойным и святым украшением вашего рода.

Просил я его пред самой его кончиной молиться за вас и за весь род ваш пред Престолом Божиим, если он будет иметь дерзновение у Господа. Он сказал:

— Надеюсь, надеюсь на благость Божию!

Это были его предсмертные слова...

Сколько мог, между делом, набросал я вам это для вашего утешения; но когда кончу сорокадневное служение, постараюсь дополнить и

исправить. Я бы желал и биографию его составить, но это дело будет не мое, а содействие Бога, дивного во святых Своих.

Да будет и преизбудет на вас и на всем вашем роде благодать, мир и благословение Божии, чего я, недостойный, всеискренне вам желаю. Многогрешный иеросхимонах Антоний. 1865 года, ноября 7-го дня. Киево-Печерская Лавра".

II. Праведная кончина мирянина

Так умирают православные монахи — из тех, конечно, кто не отступил от обетов своего иночества, — вот о чем поведало мне и тебе, мой читатель, старое, забытое, завалявшееся в ветхом рукописном хламе письмо. Дополнять ли мне своими рассуждениями его содержание? Нет — оно само за себя говорит нашему с тобой сердцу, если только сердце это открыто для принятия в себя слова правды. Перейдем-ка лучше мы с тобой в область моих личных воспоминаний, и в ней, с помощью Божией, найдется кое-что нам на пользу.

В записках моих, куда я заношу все, что в моей или чужой, но знакомой мне жизни встречается как явное или хотя бы прикровенное, но сердцу внятное свидетельство Божьего смотрения о нас, грешных людях, смерть архимандрита Мелетия не стоит одиноко: на их страницах запечатлелся не один переход христианской души в блаженную вечность. И все те смерти праведников, о которых свидетельствуют мои записки, сопровождаются ли они небесными

утешениями дивных видений и откровений или нет, все они носят на себе один неизменный отпечаток — "безболезненности, непостыдности (оправдания веры), мирности" и надежды на добрый ответ пред Судией нелицеприятным. И среди скатившихся с земного неба звезд христианских жизней, проложивших свой лучистый след на этих страницах, сияют в моей личной памяти звезды падучие разных величин и блеска, и умиленное сердце требует от меня отразить в слове своем свет их кроткий и чистый и благоговейной памятью воскресить их светлый облик в той красоте, которой не ведали в них люди, но на которую с нежной любовью светили Божьи очи...

Одна из первых близких мне смертей была смерть единственного сына моего духовника, протоиерея одной из церквей того губернского города, около которого было мое поместье. Это был еще совсем молодой, даже юный человек, служивший некоторое время кандидатом на судебные должности в местном окружном суде и только года за два, за три до своей кончины окончивший курс юридического факультета Московского университета. Посещая довольно часто своего духовника в его доме, принятый в нем как родной библейской четой отца и матери молодого кандидата, я долго не встречался с ним: он точно притаивался от меня и как будто избегал знакомства со мною. В первый раз, помнится, мне указали на него в храме, в котором настоятельствовал его родитель. Вид он имел тщедушный: некрасивый, небольшого ро-

ста, со впалой грудью, с большой головой на тонкой шее, жиденькой бородкой — словом, он показался мне настолько малопримечательным, что я после впечатления этой встречи и в своем сердце положил не добиваться с ним знакомства. А тут еще от кого-то из судейских я случайно услыхал отзыв о нем как о человеке, совершенно ни к чему не способном; и этот отзыв еще более укрепил во мне первое впечатление. Пожалел я тут бедных родителей и только был рад тому, что нелюдимость молодого кандидата отвела меня от лишнего скучного знакомства.

Одна только черта в этом молодом человеке запала мне в сердце: кандидат прав старейшего университета, сын священника, а от Божьего храма не только не отбивается, но, видимо, даже любит его. Когда бы я ни зашел в его приходскую церковь в его свободные часы от судейских занятий, он стоит, смотрю, в каком-нибудь укромном местечке и смиренно молится. Не таковы по большей части бывают отпрыски семени служителей алтаря, когда они сходят со святого пути отцов и вкусят от плодов "высшей" человеческой мудрости: между отступниками веры нет злейших, как эти хамы, раскрывающие наготу отчую!.. И запала мне в душу мысль: нет, видно, оттого и плох для судейского мира молодой кандидат, что он не от мира... Спустя некоторое время и сам он перестал избегать встреч со мною. Пришел я как-то раз к его старикам к вечернему чаю. Подали самовар; гляжу — и он является к чаю.

— А вот и наш Митроша-затворник! — воскликнула с любовью старушка протоиерейша. Так мы и познакомились.

Со дня, или вернее, с того вечера Митроша перестал меня дичиться, и всякий раз, как я его заставал дома, он выходил ко мне здороваться и стал принимать со мною вместе участие в вечернем чаепитии, на которое я довольно-таки часто хаживал к отцу протоиерею. В простой, патриархальной обстановке старосвященнической семьи, не зараженной новшествами, отдыхал я душой от волнений и суеты своей мирской жизни: оттого-то и манил меня к себе вечерний самоварчик старика протоиерея и матушки, Надежды Николаевны, его верного подружия.

Но хоть и выходил Митроша, а все же участия в общей беседе не принимал, изредка только кратко отзываясь на предлагаемые ему в упор вопросы; а затем, попивши чаю, опять скрывался в свою комнату.

— Наш Митроша совсем затворник, — не без некоторой горечи в голосе говаривала мне иногда старушка протоиерейша. — Трудно ему с таким характером будет жить на свете!

Отец протоиерей помалкивает, но и ему, видно было, нерадостно глядело в сердце Митрошино будущее.

— Батюшка, — сказал я как-то о. протоиерею, — у вашего сына, сколько я замечаю, склад души совсем монашеский: нет ли у него желания уйти в монастырь, посвятить себя на служение Богу?

— Он мне ничего об этом не говорит. Да он и вообще-то с нами мало говорит. Как придет из суда, наскоро закусит и бежит в библиотеку нашего братства. Только к вечернему чаю он возвращается. А если сидит дома, то тоже больше духовные книги читает, когда нет работы на дом из окружного суда... Отдавал я его из семинарии в университет, думал, что это будет для него лучше, а выходит, как бы не было хуже!

С полгода, не больше, встречались мы с затворником-Митрошей, но сближения не последовало между нами, несмотря на то, что в душе своей я уже успел полюбить его одинокое сердце. По приветливой улыбке Митроши, когда он здоровался со мной при встречах, я видел, что и я ему стал не чужд; но внутренние тайники его духовного мира так мне и не открылись за эти полгода. Открылись они мне после, и как открылись-то!

Пришлось Митроше уйти из состава окружного суда: убеждение в неспособности его к службе среди вершителей судеб судейского муравейника укрепилось в такой степени, что волей-неволей, а надо было уходить и приискивать какое-либо другое занятие.

Тайный гонитель Митрошиной души, искавшей удовлетворения своим стремлениям в светлом мире духовной, созерцательной жизни, приискал ему это занятие... в акцизе, и Митроша был отправлен младшим контролером акцизного округа на Б. винокуренный завод, в имение одного весьма высокопоставленного лица. Это был последний удар заветным стрем-

лениям Митрошиного духа. Догадались-то об этом уже потом, когда было поздно и когда бренной оболочке его души все стало безразлично; но в то время, когда состоялось это блестящее назначение, казалось, что лучше этого положения для Митроши нельзя было и выдумать.

Не прошло и четырех месяцев со дня Митрошиного определения на службу в акциз, как он заболел на своем винокуренном заводе настолько серьезно, что за ним спешно, по телеграмме, должен был выехать отец, чтобы привезти его спасать от смерти усердием светил губернской медицины. Но медицине делать уже было нечего с Митрошей: на него достаточно было раз взглянуть, чтобы ясно разглядеть все признаки злейшей скоротечной чахотки, против которой лекарство одно — могила.

Тяжело было видеть горе стариков-родителей, пока на их глазах таяла догорающая свеча драгоценной для них жизни единственного сына. И моему сердцу близко было это безутешное горе, хотя я чувствовал, что для одинокой, затворнической души Митроши нет лучшего будущего, как приблизившаяся к нему так неожиданно вечность.

Скоро отступились от одра больного светила губернского медицинского неба и уступили место врачевству другого, истинного неба — Христовой вере и Таинствам Церкви, приготовлению к переходу туда, откуда нет возврата. Вот тут-то и открылись мне и близким все величие, вся красота Митрошиной христианской

души, вся полнота ее могучей, беспредельной веры. Угадав сердцем, что наука бессильна остановить недуг, Митроша весь углубился в приготовление себя к вечности. Тяжелые страдания, мучительная одышка не давали ему возможности лежать в постели, и его пришлось перенести с кровати на кресло, на котором он, обложенный подушками, проводил свои страдальческие дни и бесконечные томительные ночи. Его ежедневно приобщали Св. Таин, и это таинство, видимо, давало ему силы без ропота, без малейшей тени уныния переносить самые тяжелые приступы разъедавшего его злого недуга. Всегда в молитве, с иконочкой Царицы Небесной на столике перед своим креслом, Митроша как будто еще на земле всем остатком своей угасающей молодой жизни улетел на небо. Молитва и любовь ко Христу, которые он таил в себе, пока был здоров, сказались вдруг во время его двухмесячных страданий с такой силой, что даже родительское, верующее сердце вострепетало: даже оно не могло предугадать того пламени веры, которым горело все существо их любимого сына.

— Отец, — говорил он, когда ослабевали приступы одышки и кашля, — отец! Как мы молимся, как веруем, как любим своего Бога? Разве так надо молиться, любить и веровать?.. Если тебя не жжет молитва, если сердце твое не тает, как воск от огня, от пламени слов молитвы, исходящих из самой глубины сердечной и жгущих все внутреннее существо твое с такою силой, что вот-вот оно обратится в пепел, то ты

не молишься, отец!.. Отец! Если и любовь твоя — не пламень, поядающий всякую скорбь ближнего твоего и самое естество твое, саму душу твою не вплавляющий в душу твоего ближнего, — ты не любишь тогда, отец!..

И много, много говорил в такие минуты Митроша такого, от чего трепетало и билось в рыданиях родительское сердце...

— И кто же мог прозревать, какую силу таил в себе наш Митроша? — говорил мне, от слез едва переводя дыхание, старец-протоиерей. — Любя, губили мы эту силу. Да, Господи Боже мой, кто бы мог это подумать? Ведь он все молчал, с детства молчал; ни с кем ни слова, ни с кем не общался, ни с кем не был откровенен в том, что было святыней его души. Только в семинарии, с одним стариком преподавателем, Гавриилом Михайловичем П., он как-то сошелся близко. Это был глубоко верующий человек характера чисто исповеднического; с ним он был в постоянном общении и даже в университете находился с ним в непрерывной переписке. Но и Гавриил Михайлович был из таких людей, из кого лишнего слова не выжмешь; да и тот теперь скоро два года как умер, с ним умерла и тайна Митрошиного сердца, которое ему одному и было открыто... Боже мой, Боже Великий! Кто ж догадаться мог, что не в суде и не в акцизе место нашему Митроше?

И плакал бедный отец у Божьего престола, в алтаре, с воздетыми к небу небес руками, прося и вымаливая у Бога жизнь своему Митроше, своему любимому, непонятому, неоцененному сыну...

4 Зак. 494

А как мать-то убивалась и плакала — про то знать могут только одни матери, терявшие навеки дитя свое любимое...

И вот наступили роковые предсмертные дни Митроши. Непрерывно, изо дня в день продолжалось его общение со Христом в Таинстве Святой Евхаристии: каждый день от обедни духовник его, второй приходской священник, приносил Св. Дары, которыми умирающий и приобщался с пламенной верой. Страдания его как будто стали ослабевать: легче становилась одышка и кашель. Убийственный, зловещий кашель чахоточного временами меньше терзал избитую, иссохшую, измученную грудь.

— Митроша! — радостно воскликнула мать. — Тебе лучше, солнышко наше?

— Да, маменька, лучше!

— Вымолим мы тебя у Господа, вымолим!

Вдруг больной как-то весь съежился, сжался; глаза беспокойно и испуганно уставились в одну, ему одному видимую точку за плечом у матери.

— Митроша, что ты? Иль ты что видишь?

— Вижу! — прошептал больной, и ужас послышался в этом жутком шепоте.

— Что же ты видишь? — переспросила испуганная мать, чувствуя, что и ее сердце забилось от какой-то неопределенной тревоги, смутного страха, предчувствия незримой, но грозной опасности... Но Митроша молчал и только упорно продолжал смотреть все в ту же

невидимую точку и с тем же выражением безграничного, холодного ужаса, с трудом осеняя себя крестным знамением.

— Митроша, Митроша! — тормошила его испуганная мать. — Да скажи же ты, что ты такое видишь?

— Их! — был ответ, и с этим ответом лицо его прояснилось. — Теперь их нет, — со вздохом спокойной радости промолвил умирающий.

— Да как же это быть может? — допытывалась мать. — Ведь ты же каждый день причащаешься: разве "они" могут иметь к тебе доступ?

— Доступа "они" не имеют, а... дерзают!

Это произошло за несколько дней до кончины Митроши. Кто были "они" его видения — умирающий сын видел, а скорбная мать-христианка не могла не догадаться. Продолжали ли "они" "дерзать" тревожить больного, я не знаю, но и одного раза "их" появления было довольно, чтобы исполнить сердце неописуемого ужаса и отогнать всякое нехристианское сомнение в неизбежности встречи души, готовящейся к вечности, с этой темной, зловещей, до времени от смертных глаз скрытой силой.

Дня за два до своей смерти больной чувствовал себя довольно хорошо. Опять после обедни его причастили. Неотлучная сиделка-мать сидела у кресла своего сына. Вдруг лицо больного сразу озарилось светом какой-то неожиданной радости и из груди его вырвалось восклицание:

— Ах!.. Гавриил Михайлович, это вы?

Пораженная этой внезапной радостью, этим восклицанием, не видя никого постороннего в комнате, мать замерла в ожидании...

— Так это вы, Гавриил Михайлович! Боже мой, как же я рад!.. Да, да!.. Говорите, говорите! Ах, как это интересно!..

И больной весь обратился в слух. По лицу играла блаженная улыбка... Мать боялась пошевельнуться, изумленная и тоже обрадованная...

Несколько секунд продолжалось это напряженное молчание. Оно нарушилось восклицанием больного:

— Уж вы уходите?.. Ну, хорошо! Так, стало быть, до свидания!

— Кого это ты видел, Митроша? С кем ты сейчас разговаривал?

— С П., Гавриилом Михайловичем!

— Да ведь он умер, Митроша! Что ты, что ты, деточка, Господь с тобою!

— Нет, мамаша, он жив: он был сейчас у меня и говорил со мною.

— Что же он говорил тебе?

Но что говорил Митроше старый его друг и наставник, осталось навсегда тайной того мира: больной закашлялся, с ним вновь начался приступ страшной одышки; и с этого часа наступил последний натиск болезни, от которого он едва приходил в сознание, и то на короткие промежутки между припадками тяжелых страданий. Смерть властно вступала в свои права.

Часа за два или за три до кончины больной пришел в себя. Дыхание стало легче, сознание в полной ясности: как будто грозный призрак смерти отступил пред чьей-то великой властью.

— Прощайте, родные! — сказал он. — До свидания — там, где больше не будет разлуки.

— Митроша, неужели ты умираешь? — застонала мать.

— Да, мама, умираю!.. Смотри, смотри, кто пришел! Святый Архистратиже Михаиле!.. Господи, приими душу мою в мире!

Так умер Митроша-затворник, сын губернского протоиерея.

Говорят, да и самому мне приходилось видеть — смерть, накладывая печать тления, обезображивает человека. Какая смерть! Какого человека!..

Митроша в гробу лежал как живой, и как же он был прекрасен, этот тщедушный, некрасивый человек! Глаз не хотелось оторвать от этого лица, одухотворенного молчаливой, торжественной, созерцающей радостью полного, совершенного покоя и удовлетворения. Не смерть, а жизнь, жизнь вечная, небесная, высшая, уму непостижимая, но сердцу внятная, жизнь сияла на бледном прекрасном лике праведника. Красотой чистой, непорочной девственности светилось это дивное, незабвенное для меня лицо: Митроша умер девственником — это для меня было вне сомнения. Три дня стояло его тело в теплой комнате, и тление его не

коснулось. На второй день его смерти я читал у его изголовья псалтирь, с полчаса читал и не ощутил ни малейшего запаха.

Так и скрыла могила "затворника-Митрошу" до всеобщего воскресения...

III. Кончина кающегося грешника

Как душе, совлекшейся своей земной оболочки, нет границ ни во времени, ни в пространстве, так нет их и для мысли: из пределов родного края, где я провел свое детство и юность свою, исполненную сладких мечтаний, где холод рассудочного опыта разбил в черепки и прахом развеял хрупкий сосуд грез детства, юношеского задора, энергии молодости, летит она оттуда, неудержимая, в иные края, под иное небо — из степей юга к лесам и озерам хмурого севера. Если не скучно, последуй и ты за нею, мой дорогой читатель!..

На твоих глазах поднялись и улетели к "третьему небу" два праведника, две чистые христианские души, из которых одна волею Божиею познала свое место на земле, свое земное назначение и отошла к своему Господу, совершив течение подвига доброго, достигнув полноты времени жизни, назначенного для земнородных[1]. Другой не было дано этого удовлетворения; но зато и сокращен был срок ее приготовления к вечности, и скорее призвана была она в небесные обители Отца света незаходимого, света всякой истины, всяческой радости.

---

[1] Архимандрит Мелетий скончался на 72-м году жизни.

Кто познает пути Господни к вечному спасению и кто был Ему советником!..

Когда угодно было Богу с места моей родины и моей почти двадцатилетней деятельности переселить меня сперва в Петербург, а затем в благословенный уголок Новгородской губернии, в тихий и богобоязненный городок Валдай, где еще недавно "уныло" звенел "колокольчик, дар Валдая" под дугой ямщицких троек, теперь — увы! — раздавленных новой железной дорогой, нам с женой пришлось встретиться и сблизиться там по вере христианской с одним из местных священников, который и стал нашим духовным отцом. Как-то на исповеди он по какому-то случаю сказал моей жене:

— А ведь знаете, что и в наше даже время некоторые люди удостаиваются видеть своего Ангела!

Подробностей батюшка не сообщил жене, и я решил при первой с ним встрече расспросить его об этом как следует. Вот что по этому поводу записано в моих заметках.

"Сегодня (25 апреля 1907 года) я напомнил батюшке об исповеди жены и спросил его:

— Батюшка! Что вы сказали жене на исповеди о явлении кому-то из ваших духовных детей Ангела?

— Да, — ответил он мне, — это дело было, но я знаю о нем из исповеди моего прихожанина, а исповедь — тайна.

Я не унялся и стал настаивать.

— А жив, — спросил я, — этот ваш прихожанин?

— Нет, умер!

— А если так, — сказал я, — то отчего же вам не рассказать, особенно если рассказ ваш может послужить и нам грешным на пользу?

Подумал-подумал мой батюшка, да и рассказал следующее:

— Был у меня в деревне один прихожанин по имени Димитрий; был он крестьянин и человек жизни плохой: и на руку нечист, и сквернослов, и пьяница, и блудник — словом, последний, казалось, из последних. Долго он жил так-то, и не было никакой надежды на его исправление. Только как-то раз собрался он ехать в поле на пахоту; вышел из избы в сенцы и вдруг почувствовал, что кто-то с большой силой ударил его по затылку, да так ударил, что он как стоял, так и свалился лицом вниз, прямо на пол, и разбил себе лицо до крови. Никого на ту пору в сенцах не было, и сам Димитрий был совершенно трезв. Шибко его это поразило и испугало.

— Приехал я в поле, — рассказывал мне после на исповеди Димитрий, — лицо мое все в крови. Обмыл я лицо в ручейке, а за работу приняться не могу — все думаю: за что же это такое со мною было?.. Сел я на меже и все думаю да думаю — жизнь свою окаянную поминаю. Долго я так-то думал и надумал порешить со старой своей грешной жизнью и начать жизнь новую, по-Божьему, по-христианскому. Стал я посреди своего поля на коленки, заплакал, перекрестился, да и сказал громко Богу: клянусь Тебе именем Твоим, что уже грешить

теперь впредь не стану!.. И стал я с тех пор иной человек — все старое бросил: не воровал, перестал пить, сквернословить, блудничать...

— И что же, — спросил я Димитрия, — неужели тебе после твоей клятвы и искушений не было?

— Как не быть? Были, батюшка: очень тянуло опять на старое, но Бог помогал — удерживался. Раз вот только, было, не удержался. Был в соседнем селе престольный праздник и ярмарка — я туда и отправился. Иду я по шоссе и вижу: лежит на дороге чей-то кошелек, да такой туго набитый деньгами, что я первым долгом схватил его да себе в карман; не успел даже и денег сосчитать — боялся, как бы кто не увидел. Только одно я успел разглядеть — что и бумажек, и серебра в кошельке было много. Иду я, поднявши кошелек, да и думаю: ну, уж этого-то кошелька я не отдам, если бы и встретился его хозяин, — экое богатство-то мне привалило! Вдруг — хлоп! — и растянулся я на шоссе лицом о шоссейный щебень, и опять, как тогда, разбил я в кровь все свое лицо, хоть и пьян не был. Поднялся я с земли и вижу: откуда-то посреди шоссе, где быть не должно, лежит четверти в полторы вышиною камень — об него-то я, значит, и споткнулся. Выругался я тут самым скверным, черным словом, и в ту же минуту надо мною, над самой моей головой, что-то вдруг как зашумит, точно птица какая-то огромная. Я вскинул глаза вверх, да так и замер: надо мною лицом к лицу дрожал на воздухе крыльями Ангел. "Димитрий, — грозно сказал

он мне, — где ж твои клятвы Богу? Я ведь слышал, как ты дал их на твоем поле, во время молитвы, я и на меже тебя видел. А теперь ты опять за старое?.." Я затрясся всем телом и вдруг, осмелевши, крикнул ему:

— Да ты кто? Из ада ли дьявол или Ангел с неба?

— Я — от верхних, а не от нижних! — ответил Ангел и стал невидим.

Не сразу я опомнился, а как опомнился, взял из кармана кошелек и далеко отшвырнул его от себя в сторону... На праздник я уже не пошел, а вернулся домой, все размышляя о виденном.

— Это, — сказал мне батюшка, — рассказано было мне Димитрием на исповеди. А далее вот что было: стали ходить о Димитрии слухи добрые и для всех его знавших удивительные — в корень переменился мужик к доброму... Прошло лет десять с явления Ангела; Димитрий оставался верен своей клятве. Только на одиннадцатом году приезжают за мной из Димитриевой деревни...

— Батюшка! Димитрий заболел: просит вас его напутствовать.

Я немедленно поехал. Вошел к Димитрию в избу. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. Я его окликнул... Как вскочит вдруг Димитрий на своем ложе да как вскинет руками!.. Я перепугался и отшатнулся: в руках у меня были Св. Дары.

— Что ты, что ты? — говорю. — Ведь у меня Св. Дары! Я и то их чуть из рук не выронил!

— Батюшка! — воскликнул, захлебываясь от волнения, Димитрий. — Я сейчас, перед вами, опять видел Ангела. Он мне сказал, чтобы я готовился, что я умру сегодня ночью.

— Да какой он из себя? — спросил я Димитрия.

— Я, было, совсем ослеп от его света! — ответил мне Димитрий в духовном восторге.

— А спросил ли ты его: простит ли Бог твои грехи? — опять спросил я Димитрия.

— Бог простит, что духовник разрешит, — ответил мне Димитрий отрывисто, — что ты здесь отпустишь, будет отпущено и там!

Я приступил к исповеди.

Причастил я Димитрия, и, грешен, на вид он мне показался даже и мало больным. Мужик он был еще не старый и крепкий. Уехал я от него в полной уверенности, что он выздоровеет; а об Ангеле не знал что и думать.

В эту же ночь Димитрий скончался.

Вот что рассказал мне по священству иерей добрый, настоятель одной из церквей тихого Валдая".

IV. Смерть грешника люта

Прочитывая сам свой помянник, когда за проскомидией иерей Божий вынимает частички за живых и умерших, я каждый раз с особенным молитвенным чувством поминаю записанные в нем с 20 июля 1902 года два имени: Андрея и сына его, отрока, его же имя Бог весть. И всякий раз при этом поминовении в памяти моей мгновенно восстает страшное событие явной

кары Божией, разразившейся над этими двумя несчастными. Да простит их Господь за смерть их мученическую, за молитвы Церкви, а может быть — кто это знать может? — и за то, что их горестный и всякой жалости достойный пример послужит чьей-нибудь душе, близкой к падению, в назидание и спасение.

Господи, всех нас прости и помилуй!

В те времена, когда совершилось это событие, я был еще довольно богатым помещиком и сам занимался своим хозяйством в селе Золотареве Орловской губернии Мценского уезда. В числе моих рабочих служил у меня крестьянин того села по имени Андрей Марин. На работу, когда, бывало, захочет, золото был этот человек; ну, а не захочет, что с ним приключалось нередко, то хоть кол у него на голове теши, ничего с ним не поделаешь. Жалко мне было малого, тем более что и парень-то он был молодой, лет 25 — 28 — не старше, и все думал я: авось выправится, человеком станет, а уж я буду с ним биться, пока не переработаю. И сам-то я тогда еще был молод и много на свои силы надеялся...

Прожил у меня кое-как, с грехом пополам, Андрей Марин год; отслужил свой срок, нанимается на второй и прибавки еще просит, а староста мой и говорит мне:

— Не берите вы Андрея, барин: не выйдет из него толку. Ну, какой прок будет в том человеке, который родную свою мать бьет под пьяную руку? Сколько уж она на него и в волость, и земскому жаловалась; да, вишь, какие ныне

пошли порядки — вдове да сироте негде теперь найти суда. Не берите вы Марина!

Но я не послушался своего старосты и оставил Марина на новый срок все в той же надежде, что сумею повлиять на него и исправить.

Вскоре, однако, мне на опыте пришлось убедиться, что природа современного рабочего из набаловавшихся по шахтам и отхожим промыслам моему старосте известна больше, чем мне. С Мариным расстался — пришлось его рассчитать за какую-то провинность едва ли даже не в самый разгар рабочей поры, когда хозяину каждый рабочий дороже золота. Какая это была провинность, я уже теперь не помню, но надо думать, что она была не из маленьких...

Прошел год. Я Марина совсем потерял из виду. В родном селе его не было. Как-то раз я спросил старосту:

— Куда девался Андрей Марин?

— Подался, говорят, опять на шахты, — был ответ.

Ну, подумал я, вконец теперь доканают малого шахты!..

Кто жил, как я, жизнью нашей черноземной деревни, тому известно, какой переворот в народной душе совершили отхожие промыслы, особенно же работы в горнозаводской промышленности. Железные рудники, каменноугольные копи, отсутствие влияния семьи и Церкви, общение со всяким уже развращенным сбродом — все это так изломало и исковеркало эту душу, что от человека, особенно молодого,

уже почти ничего человеческого не осталось: как будто близость и ядовитое дыхание самой преисподней коснулись народного сердца и сожгли в нем все добро, всю правду, которыми оно столько лет жило и строило величие и славу своей Родины...

За год этот и в моей душе совершился перелом великий. В скорбях и бедах, которые тогда, по великой милости Божией, налетели на меня гневным и бурным вихрем, я отправился искать помощи и утешения в паломничестве по святым местам, и тут впервые Господь удостоил меня побывать в Саровской пустыни, прославленной подвигами и чудесами великого старца Серафима. Это было в 1900 году, за три года до прославления св. мощей угодника Божия. Уже и тогда живая народная вера прибегала к его молитвенной помощи и, по вере своей, получала великое и дивное.

Получил и я тогда от Преподобного Серафима все, чего искало мое испуганное и наболевшее сердце. Из этой поездки в Саров и Дивеев я привез с собою память об одном добром и благочестивом обычае крестьян нижегородских и тамбовских, который меня глубоко тронул: на всех дорожных перекрестках и деревенских околицах, где только я ни проезжал, я встречал маленькие деревянные часовенки простой, бесхитростной работы, и в них за стеклом — образа Спасителя, Божией Матери и Божиих угодников. Незатейливо устройство этих часовен: столб, на столбу — четырехугольный деревянный ящик с крышкой, как у домика, увенчан-

ной подобием церковных головок, и на каждой стороне ящика по иконе за стеклом, а где и вовсе без стекла. Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на двух пустынных перекрестках, вдали от жилья, воздвиглись две часовенки с иконами на четыре стороны Божьего света, и пред каждой иконой под большие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота была, особенно в темные летние ночи!..

Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду.

— Дай же тебе Господь здоровья доброго, — так стали мне кое-кто сказывать. — Вишь ведь, что надумал! Едешь иной раз из города под хмельком, в голове бес буровит; едешь, переругиваешься со спутниками или, там, со своей бабой... Смотришь: иконы да еще лампадки — опомнишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь — глядь, ругаться-то и забудешь!

Пришла зима. Стали поговаривать, а там и до моего слуха дошло, что мои часовенки великую пользу принесли народу православному и в осенние темные ночи, и зимние метели; сказывали даже, что и от смерти кое-кого спасли эти Божьи домики: заблудится человек в зим-

нюю вьюгу, набредет на часовенку, стоящую на распутье, и выйдет на свою дорогу. Радостны были для сердца моего эти слухи добрые... И стал народ носить к часовенкам свои трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые; положат копеечки на земле, отойдут; а кто положил — Бог знает. Приедут старосты с объезда и привезут когда копеек 7 — 8, а то и больше. Что делать с ними? И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий, и ставили их за здравие и спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвователей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое дело христианской любви и веры... Как-то раз пришел ко мне вечером за обычными распоряжениями мой староста и между прочими событиями дня сообщил мне, что в народе говорят, будто у одной из моих часовенок стало твориться дело недоброе: стал какой-то тать поворовывать доброхотные приношения.

Очень огорчило меня это известие: страшно мне стало за христианскую душу, так глубоко павшую, что решилась она покуситься на такое святотатство.

— А не слышно, — спрашиваю, — на кого народ думает?

— Слух есть на деревенского пастуха и на его сынишку-подпаска, — ответил мне староста. — Замечали, будто они — то вместе, то порознь — до выгона стада куда-то бегают раным-ранехонько в поле, по направлению к часовне.

— А кто пастух?

— Да Марин Андрей, что у нас жил когда-то.

— Быть не может!.. Да разве он вернулся с шахт?

— Вернулся. Пошел ни про что, вернулся ни с чем; теперь у мужиков нанялся стеречь стадо. Он им напасет того, что и жизни рады не будут. Самоидолом он был, самоидолом и остался: какого толку ждать от человека, который и родной матери не жалеет? Вы вот все верить мне не изволили, что не будет добра из этого человека!..

Это была колкость по моему направлению за то, что, вопреки совету старосты, я попробовал, было, удержать у себя на службе "самоидола". Характерное это было словцо — "самоидол" и в устах старосты должно было означать человека, который ради удовлетворения своих желаний готов на все, даже на преступление: сам, мол, для себя идол и что, значит, захочет, то и принесет самому себе в жертву...

Пробовали мы изловить вора на месте преступления — не тут-то было...

— Ты его сторожишь, а он тебя сторожит. Где его поймать, когда ему сам "тот-то" помогает? — объяснил мне мой староста и махнул рукой.

Махнул рукой и я на все это скверное дело, предоставив его суду Божию.

И суд этот наступил...

Приходилось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь деревенское стадо захудалой нашей

черноземной деревни? Горе одно, а не стадо! Тощие коровенки, по одной на два-три двора, зануженные зимними голодовками, тощими летними пастбищами на "пару", выжженном солнцем, заросшем полынью и воробьятником, вытоптанном, как ток, с ранней весны овцами; коровенки, надорванные преждевременным отелом, сыростью и холодом зимних помещений, нуждой своих хозяев, всем горем, всей мукой современной заброшенной черноземной деревни; и таких-то коров — штук двадцать — тридцать на сотню дворов густо населенной деревни! Десятка полтора — два свиней с подсвинками; сотни с три овец да бык-полутеленок, малорослый, полуголодный, — вот и все деревенское стадо. Все это едва живо, едва бродит, полусонное, полуживое, обессилевшее...

Над таким-то стадом и был пастухом Андрей Марин со своим десятилетним сынишкой.

Через родное мое село, деля его на две половины, протекала речка, извилистая, красивая, но мелководная до того, что ее местами вброд могли переходить куры. Запруженная версты три ниже села, она в самом селе еще была похожа на речку и в летнее время оглашалась целыми днями радостным криком и визгом деревенской белоголовой детворы, полоскавшейся от зари до зари в ее мутновато-бурой полустоячей воде; ну, а выше села, где по лугам после покоса паслось больше на прогулке, чем на пастбище, деревенское стадо, там наша речка текла таким мелким и узеньким ручейком, что все ее каменистое дно глядело наружу. Только

в одном месте, где речка под невысоким отвесным берегом делала крутой поворот, она в своем дне течением и вешним половодьем вымыла под самой кручей яму сажени в полторы глубиною и не больше сажени шириною. Это было единственное глубокое место на всем протяжении речки, что было выше села, да и то такое, что взрослому человеку его можно было без особого труда перепрыгнуть.

Подходил Ильин день. Приток копеечек к моей часовенке совершенно прекратился: кувшин все еще, видно, ходил по воду; вор не ломал еще своей головы и только нагло посмеивался да зло огрызался, когда ему делали намеки на то, что плохим, мол, делом, Андрей, ты занялся, к плохому и сына поваживаешь.

— Врете вы все, — говорил он. — Да какое вам до всего этого дело? Деньги не ваши, если бы я их и брал, не перед вами я в ответе. Чего лезете, куда вас не спрашивают? Куда ходил, что делал? Больно много тут вас, учителей, развелось!..

Перед утреней на Илью-пророка кто-то из Андреевых соседок видел, как Андреев сынишка тайком, как звереныш, бегал в поле по направлению к часовне.

— Ох, Андрей, Андрей! — не вытерпела баба. — Не сносить вам с мальчишкой головы вашей! Ты только подумай, какой нынче день! А вы на Илью, да еще такими делами занимаетесь!

Обругал Андрей бабу черным словом и прибавил:

— Ступай, доноси! Я тебе покажу такое, что ты у меня не одного Илью, а и всех святых вспомнишь. Велики для меня дела — твой Илья!

Все это я, конечно, узнал после: не любит русский человек доносить на своего брата, да и судов боятся, особенно теперешних...

По усвоенному обычаю, с разрешения своего приходского священника, я стоял в тот день утреню и обедню в алтаре нашего сельского храма. Полным-полнешенька была церковь, вся залитая жарким июльским солнышком и огоньками свечечек, принесенных в жертву Богу и великому чудотворцу, Пророку Божию, от трудов и потов православного народушка. Совершилось великое таинство Евхаристии, принесена была бескровная Жертва за грехи мира Агнца, присно закалаемого, николиже иждиваемого; священник у жертвенника потреблял Св. Дары, а наш благоговейный дьячок читал благодарственные молитвы. Народ после молебна стал уже расходиться по домам. Я что-то замедлил в алтаре, дожидаясь выхода священника... Вдруг в алтарь вбегает мальчик и прерывающимся от волнения голосом, забыв святость места, кричит:

— Батюшка, Андрей с сыном утопли!

— Какой Андрей? Что ты говоришь?

— Да пастух Андрей! На нашем на лугу, под кручей!.. Оба как есть утопли! Их качали-качали, да не откачали. Мальчишка наш там с ними был на лугу и все видел: и как бык брухнул, и как утопли.

— Какой бык? Да расскажи ж ты толком!

Но от взволнованного и перепуганного мальчишки большого толку добиться было трудно. Вот что потом узнали.

Рано поутру, после набега Андреева мальчишки на часовенку, выгнал Андрей со своим сынишкой деревенское стадо и погнал его на луг, на то место, где под кручей было в речке единственное глубокое место. Когда солнышко поднялось уже высоко и стало пригревать по-настоящему, по-июльскому, мальчишка Андрея прилег отдохнуть на бережку, над самой кручей, да, видно, как рано бегал за неправедной добычей, не выспался и заснул. Андрей в это время один пас стадо. Коровы поулеглись, разморившись от зноя; только овцы да свиньи лениво еще бродили вокруг улегшегося стада, да похаживал бык, переходя от одной коровы к другой и схватывая по дороге тощую траву отавы. В это-то время и пришел к стаду тот мальчик, которому суждено было стать единственным очевидцем кары Божией над святотатцами. И вот на его глазах бык ни с того ни с сего подошел к обрыву, где спал Андреев сынишка, обнюхал его да как подмахнет ему под бок рогами! Глазом не успел мигнуть, как мальчишка с визгом уже барахтался в воде под кручей. Увидал это Андрей и бросился за сыном в воду — да попал на то же самое глубокое место, а плавать не умел. Так оба и захлебнулись в яме шириною в сажень, как в кадушке...

Так и умерли Андрей с сыном под острою секирой праведного Божьего гнева...

Много развелось теперь на Руси святой святотатцев: только и слышишь, что там ограбили церковь, там убили церковного сторожа, а то и нескольких вместе; осквернили место святое не только кражей и убийством, а еще и невероятным по сатанинской злобе кощунством... Волос становится дыбом, как послушаешь или прочтешь, что творят теперь злые люди, озверевшие, утратившие в себе образ и подобие Божие!.. И пишут в газетах, и передают из уст в уста, что стынет след злодейский, и нет над ними кары человеческой: ловко помогают злодеям бесы укрываться от суда человеческого!..

Пусть так. Не всегда тяготеющая десница Всевидящего падает с такой быстротой и явной силой, как в рассказанном мною событии: Бог все видит, да иногда не скоро скажет. Терпит Господь: злодей пусть злодействует, тать пусть приходит, крадет и убивает... Но, чем дольше терпит Господь, тем сильнее бьет, тем страшнее наказывает: до седьмого колена воровского семени тяготеет над ним карающая рука Божия. И если бы можно было проследить жизнь тех отверженных, кто, по-видимому, оставлен без наказания за свое преступление, то — ей! Увидали бы мы, что еще и при жизни их до них достигла десница Вышнего. И только тех разве, кто в злодеяниях своих достиг меры злобы сатанинской, кто уготован огню вечному, тот только оставляется без видимого наказания до страшного часа смертного, до Страшного Суда Божьего.

Господи, помилуй!..

V. Еще о том же

Рассказать ли тебе еще, дорогой мой читатель, что вслед за горьким примером смерти Андрея Марина с сыном просится под перо мое и что тоже произошло некогда на моих глазах, на глазах сотни свидетелей, больших и малых, в виду и в памяти того же родного моего села Золотарева? Боюсь утомить внимание твое, но еще больше боюсь скрыть дело Божие, совершившееся, чувствуется мне, не без участия великого заступника вдов и сирот, Святителя и Чудотворца Николая. Потрудись же, выслушай!

В том же, стало быть, родном моем селе и в то же приблизительно время, когда произошло рассказанное событие с пастухом Мариным и его сыном, в двух крестьянских семьях — Павлочевых и Стефановых — совершилось нечто не менее знаменательное, а пожалуй, и еще более грозное.

Село Золотарево Орловской губернии Мценского уезда, в котором я жил и работал в течение восемнадцати лет и где я провел наездами свое раннее детство, юность и безвыездно часть зрелого возраста, — село это делится на две половины — на 1-е и 2-е Золотаревские общества. Так стали называться эти половины со времени эмансипации, а прежде, по-старинному, они звались по фамилиям помещиков, одна — Нилусовской, а другая — Пурьевской. В деревенском обиходе, по-уличному, эти названия сохранялись еще до самого последнего времени, когда Богу было угодно вызвать меня на иное делание: крепко еще держалась в русском крес-

тьянине привычка к старому патриархальному быту, и плохо мирилась она с казенной безжизненной нумерацией.

Теперь все стало не то: ко всему, видно, привыкать нужно...

Так вот, в Нилусовской половине, в 1893-м или в 1894 году, точно не упомню, дошел черед умирать одному домохозяину. Звали этого раба Божия Максимом Косткиным. Был он еще человек не старый, годам так к 43, был полон сил и здоровья, но страдал одной слабостью — любил не ко времени выпить. И вот, опоздившись раз в кабаке, шел он ночью домой да вместо того, чтобы попасть ко двору, попал в какую-то лужу, в ней заночевал, а домой приплелся только под самое утро. С этого утра захворал Максим; стал болеть, чахнуть да, проболевши так с полгода, и помер. За болезнь Максима и без того неисправное его хозяйство дошло до окончательного упадка, так что его семейным пришлось пойти под окошко побираться. Горя великого и муки мученической хлебнула тогда семья Максима, что называется, полной чашей; а была та семья ко дню смерти Максима немаленькая: сам больной хозяин, да баба-хозяйка, да семь девок мал-мала меньше; старшей, Таньке, шел в то время пятнадцатый год, по ней второй, Аксютке, — двенадцатый, а за ними шли все погодки — кому 9, кому 8, а младшей только два года. Максимова баба, звали ее Ульяной, с больным мужем да со старшей дочерью и тремя малолетками останется, бывало, дома, а Аксютка с двумя сестренками, что постарше, и пой-

дут себе “в кусочки” стучать под окошки христолюбцев:

— Подайте, милостивцы, Христа ради!

И зиму-зимскую ходили побираться, бедняжки. Что горя-то приняли они, разутые, раздетые, голодные, в эту памятную для них зиму! Ангелы их Хранители, видно, сберегли их, оттого и живы остались...

Наступал конец Великого поста того года, когда умер Максим Косткин (он скончался летом, во время самой рабочей поры); приблизилась Седмица Страстей Господних. И говорит мне мой староста, Данила Матвеевич:

— Дозвольте доложить вам, сударь! Вы ведь изволите знать Ульяну Косткину, что к нам на поденную ходит? Так не прикажете ли нам помочь ей чем да нибудь? Совсем извелась баба.

И он мне рассказал всю историю горемычной семьи Косткиных. Вошла она мне и моим домашним в сердце, и в утро Светлого дня Пасхи, возвращаясь домой от обедни, я зашел проведать горемык, навестить больного и, кстати, убедиться, так ли велика их нужда, как о том мне сказывал мой Данила Матвеевич... И с этого великого дня порешили мои домашние дать помощь этой несчастной семье и если не поднять ее на ноги, то по крайней мере не дать ей умереть с голоду!..

Так-то вот печется Господь о людях!

Когда умер Максим, а через два месяца после его смерти вдова его, Ульяна, родила сына, восьмого ребенка, вся косткинская семья была

принята под покровительство моих домашних и поступила на иждивение экономии, на месчину[1]. И надо отдать справедливость Ульяне: недаром она с семьей своей ела харчи и, чем могла, тем и работала, отрабатывая экономии за великую милость Господню, явленную ее сиротской доле. Глядя на это, мои семейные полюбили Ульяну, а полюбив, взяли ее с семьей на полное свое попечение: завалится двор — двор поправят; там печка не исправна — печку прикажут новую сделать; то с подельной землей распорядятся отдать ее под обработку надежному человеку — дома у Ульяны работать-то мужиковскую работу было некому; там, глядишь, подати спрашивают — оплатят и подати: взялись, словом, за Ульяну, как за дочь родную.

И позавидовал враг человеческого рода Ульяне, и пошли по селу суды да пересуды кто во что горазд: совсем, было, извели несчастную бабу, так что хоть вовсе отказывайся от помощи и опять ступай побираться по миру, если бы не была так велика нужда с такой-то семейкой — сама девятая. Пришлось смиряться да отмалчиваться, а когда тайком и горько поплакать. Этим-то путем смирения и победила Ульяна все вражьи наветы: унялась сплетня, порешив на том, что Ульяна — колдунья и "слово такое знает". Порешила сплетня, да на том и успокоилась.

---

[1] В старинных, или живших по старине, дворянских поместьях "месчиной" называлась ежемесячная помощь продовольствием отдельному лицу или целому семейству, впавшему в бедность.

Но не унялась бесовская сила и всю свою злобу и зависть перенесла в сердца ближайших к Ульяне соседей — двух родных братьев, Ильи и Сидора Павлочевых. Эти уже просто, что называется, остервенились на Ульяну. И почтительна она к ним была, даже заискивала — так нет же, видеть ее равнодушно не могли и, кажется, разорвать были бы ее готовы, если бы не знали, что за ее сиротством стоят ее покровители и не дадут ее в обиду. Но чем более им приходилось сдерживать свою злобу, тем сильнее и яростнее жгла она их сердца, прорываясь на каждом шагу соседских отношений. Чего-чего только там не было!.. Кто знает, как и в чем может проявляться мелочная злоба в деревне между соседями, тот и без слов поймет, какую муку терпела Ульяна от братьев Павлочевых. Доходило иногда до того, что в припадках бессильной ярости, истощив над Ульяной весь запас ругательств, отколотив ни за что ни про что то ту, то другую из девочек, переломив спину дворовой собаке, искалечив поросенка, курицу — словом, понатворив то или другое неистовство, они за глаза грозились мне, грозились меня поджечь, убить... Мало ли еще чего сулили мне, чтобы запугать и без того наполусмерть перепуганную Ульяну.

— Ты, такая-сякая, на своих благодетелей надеешься! — кричали они Ульяне. — Так мы и им, и тебе покажем: мы вам зададим! Мы потрохи-то из вас выпустим!

И ярилась, и плевалась, и злобствовала бессильная ярость осатаневшего сердца, но даль-

ше угроз переступить не могла: свои пути у Господа, и грань их не нарушить всей силе бесовского ополчения!..

С год или немногим больше продолжалась эта ненависть, горевшая в сердцах братьев Павлочевых, не потухая, а все более разгораясь; и кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не грянул над ними гром кары Божьего суда и гнева. В год с небольшим и следа не осталось от обоих человеконенавистников. Началось с Сидора. Шел он из кабака домой, а дело было поздней ночью. Было темно; путь ему лежал через речку, а в то время через речку перестраивали мост и перестилали мостовую настилку. Был устроен рядом временный мост, по которому и ходили все трезвые люди; ну, а у пьяного человека всякая бывает фантазия, и отправься сильно подвыпивший Сидор по тому мосту, который перестилался. На мосту с одной стороны доски были уже положены, но еще не были пришиты гвоздями, а с другой только и было положено, что нужно было для перехода плотникам; в промежутке же зияла четырехсаженная пропасть в самую речку. Как уж это вышло, одному Богу известно, но только рано поутру, когда вышли плотники на работу, то, к великому своему ужасу, увидели Сидора уже мертвым: висит, несчастный, вниз головою над пропастью, а ноги застряли между двумя досками мостовой настилки. Так и кончил жизнь Сидор — медленной, мучительной, страшной смертью.

Не прошло, кажется, и году со дня несчастной смерти Сидора Павлочева, как грозный суд

Божий постиг и другого брата, Илью. К этому времени Илья остался жить бобылем: была у него жена — умерла; сын ушел на шахты и не давал о себе известий; была еще дочь-вековуша, девушка хорошей, благочестивой жизни, — та с отцом не жила, а может быть, тоже умерла — этого я не упомню; но знаю только, что Илья в то время жил одиноким, старым, сердито-хмурым стариком, не входившим в общение ни с кем, кроме Ульяны Косткиной, своей ближайшей соседки, которую он продолжал ненавидеть по-прежнему. И вот накануне вешнего Николы нашли Илью Павлочева в его избе с раскроенным надвое черепом...

В местности нашей, когда произошло это событие, преступления, подобные тому, которое совершено было над Ильей Павлочевым, были крайне редки: все наше село было потрясено событием, а становой, так тот заклялся, кажется, ни пить, ни есть, пока не разыщет убийцы. Но дело это оказалось не под силу нашему становому: убийца как сквозь землю провалился, не оставив по себе и следа, хотя много перетаскали народу и в становую квартиру, и к следователю, да все понапрасну — на убийцу так-таки и не напали.

И решено было властями предать это дело воле Божией...

Убили Илью Павлочева 5-го или 6 мая. Труп его был найден накануне Николиного дня, а убит-то Илья был двумя-тремя днями раньше, как определил доктор, производивший вскрытие. Шел Рождественский пост. В начале декаб-

ря или в самом конце ноября, тоже, стало быть, близ Николы, то, что было не по плечу властям земным, легче легкого разрешилось властью небесной; и разрешилось так, что мы все, бывшие очевидцами, только руками развели да ахнули. А было с чего ахнуть!

В тот год сильно затянулась у нас осень: в начале декабря о снеге не было и помину. Выпадал, правда, снежок, да тут же и таял; затем землю схватило морозцем, разъяснилось небо, морозы усилились и комками сковали дорожную грязь. Много боялись тогда, что повымерзнут озими, не прикрытые от стужи зимним покровом... На нашу железнодорожную станцию, к дорожному мастеру, в такую-то погоду и дорогу, заехал повидаться старичок-приказчик из соседнего с моим имения. Не успел он по приезде задать своей лошади корму, как она зашаталась в оглоблях, рухнула на землю и вмиг издохла. Старичок-приказчик, человек бывалый и опытный, сразу распознал, что лошадь пала от сибирской язвы, и тотчас послал на село привести кого-нибудь из мужиков, чтобы закопать ее вместе со шкурой. Пришли два брата Стефановых, договорились за работу получить целковый, привели в хомуте свою лошадь, связали падаль за ноги, закрепили ее веревкой за гужи и сволокли в овраг, в укромное местечко, а свою лошадь — поскорее домой, чтобы не заразилась от издохшей. Вернулись Стефановы в овраг, чтобы закопать падаль, и тут вспомнили, ведь шкура-то тоже денег стоит: рубль-то рублем, а от шкуры-то и четырьмя можно

попользоваться; кто там узнает, что она с падали? Вздумано — сделано: содрали они шкуру, падаль кое-как закопали в мерзлую глину оврага, а шкуру потащили к себе домой. Дело было уже поздно вечером, и уже настолько стемнело, что можно было смело тащить добычу — никто не увидит... Вот тут-то и совершилась над Стефановыми тайна воздаяния за грех их нераскаянный, от людей скрытый, а Богу ведомый. Несли они шкуру вдвоем да в темноте наступивших сумерек, не разглядев под ногами обледеневшего комка грязи, наткнулись на него и слетели с ног. Один из них лоб себе до крови рассек, а другой тоже до крови поцарапал руку. Поначалу-то дело было небольшое; обтерли себе кто — руку, кто — лоб и пошли себе дальше, волоча шкуру с дохлой скотины; ну, а потом дело-то вышло великим. Не успели они дойти до дому да припрятать шкуру, как оба стали кончаться: проникла в их кровь зараза с падали от рук, которыми они сдирали шкуру, а потом свою кровь обтирали, и, как громом, поразила их сибирская язва. Пока сбегали за священником, один брат уже успел кончиться, а другой хоть и был еще жив, но находился в таком исступлении, что священнику со Св. Дарами к нему нельзя было и подступиться. Так и этот брат умер без покаяния. И так была страшна смерть его, такими она сопровождалась проявлениями нечеловеческой злобы и ненависти ко всему святому, что трепетало от ужаса сердце всех, начиная со священника, кто лицом к лицу стоял перед этой леде-

нящей душу смертью явно Богом отверженного человека.

И не успели остыть эти два трупа, как голос народный указал на покойников как на убийц Ильи Павлочева. Все это знали, но все молчали из страха пред убийцами: это были люди, способные на всякое зло, чтобы отомстить каждому, кто бы осмелился их выдать человеческому правосудию. Ну, а против правосудия Божьего кто станет? Под “вешнего Николу” убили Стефановы Павлочева, а под “зимнего” сами лежали в гробу, сраженные гневом Божиим, отверженные, страшные в своей нераскаянной злобе, бессильные принести достойные плоды покаяния...

Дописываю эти строки и слышу: в открытые окна, прорезывая сгустившийся сумрак тихой летней ночи, из монастырской больницы Оптиной пустыни несутся в мою комнату отчаянные вопли, крики и стоны нечеловеческих страданий. И так не день, не два, а скоро уже третья неделя, как, то затихая, то с новой, удвоенной силой возрастая, вырываются из человеческой груди эти нечеловеческие вопли... Это терзается и мучается умирающее тело человека, лакея соседнего с Оптиной помещика. Что за страдания, что за мука!.. И эта мука, и эти страдания сопровождаются еще такими страшными видениями, что этот несчастный, полусгоревший человек находит в себе от ужаса силы подняться и бежать от своего страдальческого ложа...

Что-то вдруг тихо стало.. Не смерть ли освободительница пришла и вырвала страдальца из ада, из огненной геенны его мучений?.. Должно быть, так! Упокой, Господи милосердый, его истерзанную душу.

Сегодня я узнал, за что постигла его такая кара: он бросил свою мать, которой он был единственным кормильцем и последней опорой беспомощной старости, и бросил из-за женщины. Много раз приходила она к нему, больная, слабая, дряхлая, и всякий раз он отгонял ее, мать свою, с бесчеловечной жестокостью. В последний раз она пришла к нему недели три тому назад и из уст своего единородного сына услыхала страшное, безумное слово:

— Уйти!.. Хоть бы ты сгорела!

А на другой день он сам сгорел от вспыхнувшей спиртовой лампочки кофейника, на котором он готовил кофе своему господину... Опять кричит!... Он все еще жив, несчастный!.. Помилуй его, Господи! Спаси, Господи, его душу: она раскаялась, отстрадала и прощена той, которая его породила и которая теперь его же муками страдает, терзается и плачет!.. Господи, помилуй!

Оптина Пустынь — 1 августа 1908 г.

VI. "Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного"...

Мф. XVIII, 10.

Только чистые сердцем Бога узрят. Эти чистые сердцем могут видеть и Ангелов, им открываются и тайны Царства Небесного. Кто же,

5 Зак. 494

кроме детей и достигших бесстрастия великих подвижников, может быть чист сердцем в той мере, какая потребна для зрения лица Божия и Святых Ангелов Его?..

Я знал одну женщину, которая в детстве своем удостоилась видеть своего Ангела Хранителя. По ее словам, она видела его во сне. Но сон ребенка и явь в его жизни — не один ли и тот же сон? Где кончается и начинается то и другое? Да и вся наша жизнь, пред обетованной и грядущею для нас вечностью, не тот же ли сон?

— Было мне 7 лет, — так сказывала мне эта женщина. — Ребенком я все любила смотреть на небо, на звезды, представлять себе Ангелов, беседовать с ними — росла я, словом, ребенком мечтательным, живущим в мире заоблачных желаний и видений. Часто во сне я видела Ангелов, но сны эти позабыла. Один только сон мне так врезался в память, что я не могу с уверенностью сказать, сон ли то был или действительность...

Вижу я, что бегу по саду, мимо нашего войновского дома, со стороны девичьего крыльца. Балкон дома с колоннами выходил в сад, и против него разбиты были три клумбы с цветами — одна из них как раз против балкона. На клумбе росли кусты белых роз. Я бегу будто по дорожке мимо балкона и вижу: из клумбы белых роз выходит Ангел; рост его высокий, стройный; крылья и одеяние белоснежные — Ангел, словом, такой, как пишут Ангелов на иконах. Я остановилась, преисполненная изумленной радости...

Ангел подошел ко мне, взял меня за руку и повел назад, к девичьему крыльцу. Я держусь за руку Ангела и вижу, что на его пальце надето обручальное кольцо моей матери, которое мать, не снимая, всегда носила на руке[1].

Указывая на кольцо, я говорю Ангелу:

— Это кольцо моей мамы?

— Да, — ответил Ангел, — это ее кольцо. Я ее Ангел Хранитель и иду за нею, чтобы ее увести с собою.

Я почувствовала, что это значит — навсегда, и стала умолять его, плача:

— Не бери моей мамы! Не бери моей мамы! Оставь мне мою маму!

На мой плач Ангел приостановился и взглянул на небо, как бы обращаясь молитвенно к Богу, но потом опять повел меня к крыльцу. А я, заливаясь слезами, все твержу:

— Не бери, не бери, оставь мне мою маму!

Так мы взошли на ступени девичьего крыльца и вошли в девичью.

В девичьей стоял длинный стол; за ним обычно работали наши крепостные девушки[2] с вышиванием и другими рукоделиями. За девичьей была другая комната, а за ней — спальня моих родителей. И я сердцем почувствовала, что если Ангел переступит порог девичьей и

---

[1] Наши деды и бабки в браке носили два кольца: одно — обручальное, надеваемое по молитве иереем при обручении, другое — венчальное, при совершении таинства брака. Первое было плоское золотое, второе — тоже золотое, закругленное.

[2] Это происходило в 1855 году.

войдет в спальню, то все будет кончено и я лишусь своей матери навеки... С воплем отчаяния я ухватилась за одежду Ангела и стала его еще усиленнее умолять не отнимать у меня мамы...

На столе девичьей лежал белый покров, обшитый серебряным галуном, — таким покровом покрывают покойников.

На мой детский вопль Ангел опять остановился, обратил взор свой к небу, постоял в молчании некоторое время, потом взял со стола в руки покров и сказал мне:

— Я умолил Господа: Он оставляет тебе твою маму. А это, — он указал на покров, — это тебе Покров Царицы Небесной!

На этом я проснулась и тут же рассказала сон этот своей няне.

Мать моя в это время была тяжко больна. Родив, как я потом узнала, двойню без докторской помощи и с плохой акушеркой, она истекала кровью и была при смерти. Когда из ближайшего города привезли доктора, то он объявил, что она безнадежна. В ночь моего видения с ней был кризис, ей внезапно стало лучше, и она вскоре выздоровела.

Когда я вышла уже замуж и родила свою первую дочку, не прошло после того и трех месяцев, как мать моя умерла и, умирая, говорила мне:

— Зачем ты тогда вымолила меня у Бога? Я чище тогда была.

Но кто был советником Богу?..

Так видят Ангелов чистые детские души.

14 марта 1909 г.

VII. Кончина монаха Феодосия. Его тетрадка. Знамение у нас в крещенской воде

На днях скончался мантейный монах о. Феодосий. Он был регентом за ранней обедней. За неделю пред кончиной был пострижен в схиму. Доброй и внимательной жизни был монах и, по нашим мирским понятиям, интеллигентный. Рода он был купеческого и годами не старый — годам к пятидесяти пяти, не старше. Умер от какой-то хронической болезни сердца. Много терпел скорбей и даже раз выходил из Оптиной, но вновь вернулся и дожил свой век благополучно в родном монашеском гнезде. Пред кончиной ежедневно причащался Святых Христовых Таин.

Один из близких к покойному отцу Феодосию монахов принес мне сегодня оставшуюся после него небольшую тетрадку, и в ней я нашел следующую его собственноручную запись:

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Я, многогрешный Феодор (до мантии его имя), недостойный раб Господа и Бога моего Иисуса Христа, рясофорный послушник святой Оптиной пустыни, пишу эти строки не из какого-либо вымысла или лжи, но сущую и неложную правду. Да будет вам, отцы и братия мои, моя эта повесть не на соблазн, а для душевной пользы.

1893 года декабря 16-го дня Господь посетил меня болезнию, и я сделался жестоко болен инфлюэнциею. Лечил меня врач Оптиной пус-

тыни о. Димитрий. 18 декабря вечером я сделался очень слаб. В это время меня посетить зашел иеромонах о. Варлаам; пришел и врач, о. Димитрий, который стал меня спрашивать о здоровье и начал мне примачивать голову эфиром. Тут я почувствовал во всех членах онемение, и в мгновение кровь моя совершенно застыла, и я сделался недвижим. И вот, слышу, кто-то говорит:

— Не бойся, ничего не страшись!

В это время сделался страшный и непонятный шум и стук, как от множества едущих по каменной мостовой экипажей, и кто-то тут же ударил меня по голове каким-то орудием так сильно, что душа моя в один миг вылетела из тела и увидела, что и покров моей кельи тоже слетел. И увидел я свое тело, как какое-то брошенное платье. Тут под руки меня взяли двое монахов, один — о. Варлаам, а другой неизвестный; оба в мантиях. Они подняли меня на воздух, и долго мы неслись в высоту. По всему воздушному пространству и на всем нашем пути мне ничего не было видно, но со всех сторон был слышен страшный шум. Определить его или применить к чему-либо земному никак нельзя, но только в это время душа моя трепетала. И когда донеслись мы, казалось, до самого предела неба, тут нас внезапно облистал необыкновенно яркий свет, как бы луч какого-то ярчайшего солнца, бесконечно светлейшего нашего, земного солнца. Это продолжалось только мгновение. И мы стали спускаться вниз. Но чудесное то осияние с такою силой запечатле-

лось в моей душе, что я от восторга во весь обратный путь книзу только и мог что твердить:

— Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Ничего я плохого для себя не вижу.

И мы по воздуху опять спустились к моей келье. И вижу я, что над моей кельей, на воздухе, стоят некий муж и некая жена, но лиц их я не вижу. Когда же мы спустились в келью, то я увидал, что посреди ее на полу стоит гроб и в гробу мое тело. По сторонам гроба сидят два монаха. Один из них говорит:

— Что ж нам нужно теперь делать?

Жена, виденная мною, отвечает:

— Возвратите его, а болезнь оставьте ему: пусть прославляет Бога, как прославлял Его.

В это время я взглянул на северо-западную сторону и увидел провал земли, и из него вылетает пламя и страшный дым. От страха я очнулся и увидел себя лежащим на койке, и около меня не было никого.

Богу одному известно, была ли в это время душа моя в грешном теле или это представлено было мне во сне, но как было от начала и до конца, говорю, что видел, и это сущая правда.

Прошу вас, отцы и братия, помолитесь о мне, многогрешном, ко Господу Богу, да помилует меня. Грешный ваш собрат Феодор Ширнин".

Отец Феодосий скончался 9-го или 10 марта. Видение его прообразовало последующую жизнь его и кончину: болезнь его была с ним неразлучной спутницей все дни его жизни, а

жизнью своею он действительно славил Бога. Знаменательным показался мне конец его видения — провал, виденный им на северо-западе, и исходящие из провала дым и пламя. Не пришел ли конец земной жизни о. Феодосия к тем дням, которые в книге жизни предназначены стать днями пятого апокалипсического Ангела, когда "отворится кладезь бездны, и выйдет дым из кладезя бездны, как дым из большой печи: и помрачится солнце и воздух от дыма из кладезя" (Апок. IX, 1 — 2)? Современность на то похожа...

В той же тетрадке о. Феодосия было записано его рукою следующее.

Пристав 2-го стана Горбатовского уезда Нижегородской губернии получил от урядника донесение и письмо, написанное к уряднику церковным старостой села Епифанова Горбатовского уезда. В письме дословно написано было следующее:

"Сим имею честь просить вас, чтобы вы приехали к нам в село Епифаново сего 21 мая, т.е. в воскресенье, к литургии, так что у нас будет освящение источника, который находится при часовне, где и чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. Вот у нас в источнике сотворились чудеса, каких никто не слыхивал и не видывал. Сначала этот источник замерз в конце месяца марта. 15 мая стали лед пробивать, но не могли пробить. Потом пришлось его разрыть. Разрыли и лед пробили. В этом льде оказались чудеса, такие чудеса! Было изображение

нашего храма, паникадила, изображение Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, колокола и креста над ним. Прошу приехать без всякого отлагания. Церковный староста Иван Савин".

24 мая пристав 2-го стана составил в селе Епифанове протокол следующего содержания:

"Близ села Епифанова, приблизительно в полуверсте от него, находится деревянная часовня, в которой устроен колодец над родником. Родник этот издавна привлекал к себе не только жителей окрестных селений, но и дальний народ. Из него брали воду, которую считали целебной. Никто из жителей не помнит, чтобы родник этот когда-нибудь замерзал, и когда он замерз, то это крайне удивило прихожан, и они обратились к местному священнику, о. Михаилу Студенецкому, с просьбой о молебствии, которое и совершено было 8 мая. Однако вода не появилась. 16 мая стали рубить землю в часовне, чтобы вынуть чан, помещавшийся в колодце. Земля была настолько замерзшая, что с трудом поддавалась топору. 17 мая чан вынули с частью льда, и тотчас показалась вода. Затем из чана стали выламывать лед и выбрасывать его в сторону.

Находившийся тут же крестьянин села Епифанова Савин обратил внимание на лед, который был необыкновенно светлый, поднял одну льдину величиною с пол-аршина и заметил в ней изображение паникадила, нескольких подсвечников и лампад; вещи эти казались в середине льда, как будто сделанные из серебра. Са-

вин тотчас предъявил льдину и другим, и все видели те же самые изображения. Другие льдины после этого также стали поднимать, и в них оказались разные изображения. Так, в одних ясно замечались присутствовавшими колокольня и, отдельно, колокол с крестом сверху; в других льдинах были изображения Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, пред которою на коленях стоит молящийся.

Все эти изображения представлялись сделанными из серебра. Изображения пропадали по мере таяния льда, но их можно было наблюдать в течение трех дней, пока лед окончательно не растаял.

Слух об этом сверхъестественном явлении так быстро распространился, что за три дня приходили и видели изображения в льдинах тысячи народа. Упомянутые льдины с изображениями находились затем в течение трех дней, пока не растаяли, у священника Студенецкого, который и подтверждает изложенное в настоящем акте, написанном при дознании с показания очевидцев. Подписано священником Михаилом Студенецким; сельским старостой Андреем Лисиным; церковным старостой Иваном Савиным и многими крестьянами. Народ тысячами продолжает стекаться к роднику, и 21 мая было свыше 5 тысяч человек".

Таков акт дознания станового пристава, копия с которого найдена мною в тетрадке почившего о. Феодосия.

Сбоку приписка о. Феодосия: "Было это в мае 1900 года".

Читал я это вечером моим домочадцам, а Ляля[1] и говорит:

— А помните, как в моей бутылке нынче зимой замерзла крещенская вода?

Я вспомнил: вода замерзла только внутри, а у стенок бутылки она оставалась талой. Замерзши же внутри, она своей льдиной представила точное подобие дерева, по виду елки.

— Она потом у меня оттаяла, — продолжала Ляля, — и вновь замерзла, как и прежде, но уже не в форме дерева, а рыбы хвостом вверх. И так это было похоже на настоящую рыбу, что даже видна на ней была каждая отдельная чешуйка. Наши на кухне все это видели и дивились.

Я объяснил Ляле, что образом рыбы первые христиане изображали самого Спасителя, ибо греческое слово пятью своими буквами дает начертание пяти начальных букв имени Господа.

Ляля так и ахнула, когда я это ей разъяснил.

Вот какие чудеса заключены бывают в тайниках нашей веры.

О дивная вера наша!

---

[1] О ней см. "На берегу Божьей реки", часть 1.

II

ГЛАВА ПЯТАЯ
ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ БЛАЖЕННАЯ ПАРАСКЕВА ИВАНОВНА

I

Было это в 1900 году. В тот год один близкий мне по духу священник видел во сне великого старца Саровской пустыни иеромонаха о. Серафима, молящегося в моем доме перед родовой моей иконой Спаса Нерукотворенного. Сон этот показался настолько знаменательным, что по нем я в том же году летом впервые съездил в Саров, где в источнике о. Серафима получил исцеление от многолетней моей хронической болезни и откуда посетил и Серафимо-Дивеевский женский монастырь, любимое создание великого Саровского старца. Поездка эта мною описана была в книге моей “Великое в малом”, к этой книге я и отсылаю интересующихся, а теперь поведу речь и о той, кого на пути собирания цветов с духовного луга поставил Господь предо мною еще живым и жизнетворным цветом современного иноческого подвижничества. Цветок этот была великая дивеевская блаженная,

Христа ради юродивая Параскева Ивановна — Паша Саровская, она же "маменька" сестер Дивеевской обители.

Вот что пишется о ней в "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря".

"Блаженная Параскева Ивановна, всем известная по данному ей прозвищу Паша Саровская и почитаемая в обители за "маменьку", родилась в Тамбовской губернии Спасского уезда в селе Никольском, в поместье господ Булыгиных, от крестьянина Ивана и жены его Дарьи, которые имели трех сыновей и двух дочерей. Одну из дочерей звали Ириной — нынешнюю Пашу. Господа отдали ее 17 лет против желания и воли за крестьянина Феодора. Ирина жила с мужем хорошо и согласно, любя друг друга, и мужнина семья очень уважала ее, потому что Ирина хорошо работала, ходила на барщину, любила церковные службы, усердно молилась, избегала гостей, общества и не выходила на деревенские игры.

Так прожила она с мужем 15 лет, и Господь благословил ее детьми. По прошествии этих годов господа Булыгины продали их другим помещикам — немцам, господам Шмидт, в село Суркот. Через 5 лет после этого переселения муж Ирины заболел чахоткой и умер. Тогда господа взяли ее в кухарки и экономки. Несколько раз они вторично пробовали выдать ее замуж, но Ирина решительно сказала: "Хоть убейте меня, а замуж больше не пойду". Так ее и оставили. Но через полтора года стряслась беда в усадьбе Шмидта — обнаружилась покража

двух холстов. Прислуга показала, что их украла Ирина. Приехал становой со своими солдатами, и помещики упросили его наказать виновную. Солдаты зверски ее избили, истязали, пробили ей голову, порвали уши... Ирина продолжала говорить, что она не брала холстов. Тогда господа призвали местную гадалку, которая сказала, что холсты украла действительно Ирина, да не эта, и опустила их в воду, т.е. в реку. На основании слов гадалки начали искать холсты в реке и нашли их.

После перенесенного истязания Ирина не была в силах жить у господ-"нехристей" и в один прекрасный день ушла. Помещик подал заявление о ее пропаже. Через полтора года ее нашли в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Схватили несчастную Ирину, посадили в острог и затем препроводили по принадлежности, к помещику. Помещик, чувствуя свою вину, обошелся хорошо с Ириной, желая опять воспользоваться ее услугами, и сделал ее огородницей.

Более года прослужила она ему верою и правдой, но ее возвратили из Киева уже не той, какой она была: в ней произошла внутренняя перемена, которая явилась вследствие испытанных страданий, несправедливости и получения сердечной теплоты и света у старцев в Киеве. Теперь в сердце ее жил один Бог, единый любящий, нелицеприятный и милосердный Христос, и она поняла в Киеве, к чему должны стремиться люди и единственно чем могут усладить свое сердце на земле. Ирина жила, услуживала гос-

подам, но сердце ее укреплялось одними воспоминаниями о Киеве, о пещерах, угодниках Божиих и о своем духовном отце-старце. Видно было, что горело и билось в ней сердце любовию ко Христу и духовной жизни, если она, несмотря на все ужасы ареста в остроге и шествия по этапу, не выдержала и убежала вторично от своих господ.

Через год, по объявлению, ее опять нашли в Киеве и арестовали, и пришлось претерпеть страдания острога, этапного препровождения к помещикам. Когда же она возвращена была господам, то господа не приняли ее и выгнали раздетою, без куска хлеба, на деревню. Тогда и решилась ее участь, и она вступила на путь юродства Христа ради, на который ее несомненно благословили духовные ее отцы, киевские старцы.

Пять лет она бродила по селу, как помешанная, служа посмешищем не только для детей, но и для взрослых. Тут она выработала привычку жить все четыре времени года на воздухе, голодать и терпеть стужу и... затем исчезла.

За неимением сведений лично от блаженной Паши мы не можем сказать, где она жила до переселения в Саровский лес, или она прямо туда удалилась из господской деревни. Несомненно одно — что в Киеве она приняла тайный постриг с именем Параскевы и оттого называет себя Пашей. В Саровском лесу она пребывала, по свидетельству монашествующих в пустыни, около 30 лет, жила в пещере, которую сама вырыла. Говорят, что у нее было несколько пещер

в разных местах непроходимого, обширного Саровского леса, переполненного хищными зверями и медведями. Ходила она по временам в Саров и Дивеев, но чаще ее видали на Саровской мельнице, куда она являлась работать на живущих там монахов.

В то время она обладала удивительно приятной наружностью. Во время своего жития в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества Паша имела вид Марии Египетской: худая, высокая, совсем обожженная солнцем, она на некоторых наводила страх. Несмотря на привлекательность своей внешности, — босая, в мужской монашеской рубахе, свитке, расстегнутой на груди, с обнаженными руками, с серьезным и даже строгим выражением лица приходя в монастырь, казалась некоторым страшной.

За четыре года до перехода своего в Дивеевскую обитель она проживала временно в одной из окрестных деревень. Ее уже и тогда считали блаженной, и прозорливостью своею она заслужила всеобщее уважение и любовь. Крестьяне и обращавшиеся к ней давали ей деньги, прося ее молитв, но исконный враг всего доброго в человечестве, диавол, внушил разбойникам злую мысль напасть на нее и ограбить. Негодяи избили ее до полусмерти, и блаженную Пашу нашли всю в крови. Она болела целый год и уже никогда после этого совершенно оправиться не могла: боль проломленной головы и опухоль под ложечкой мучили ее постоянно, хотя она на это, по-видимому, не обращала никакого внимания.

После побоев и под старость Параскева Ивановна начала полнеть. Типичная ее наружность по временам бывала очень изменчива, смотря по настроению ее духа: то чрезвычайно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то грустная. Но от доброго ее взгляда каждый человек приходил в невыразимый восторг. Детски добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражали настолько, что исчезало всякое сомнение в чистоте и праведности высокого ее подвига. Облекаясь в сарафаны, она, как дитя, любила яркие, красные цвета, а иногда надевала на себя несколько сарафанов сразу... Вид блаженной Паши, с вьющимися седыми кудрями и чудесными голубыми глазами, привлекал внимание каждого человека...

Случаев прозорливости Параскевы Ивановны невозможно собрать и описать!.."

Вот эту-то блаженную дивеевскую "маменьку" и привел Господь меня видеть, и не только видеть, но и получить от ее великих духовных даров немалую пользу для многогрешной души моей.

Когда в первое мое посещение Дивеева, в конце июля 1900 года, меня привела к блаженной наша орловская помещица, гостившая в то лето в Дивееве, я застал блаженную лежащей на кровати и до головы укрытой одеялом. Лицо ее было обращено к стене, и я его не видел. При входе нашем она как бы в полусне прошептала:

— Божечке свечечка, Божечке свечечка, Божечке свечечка!

Очень хотелось мне тогда отнести эти слова к себе, ибо великой в то время любовью пламенело мое сердце к Богу, но как было дерзать моим грехам позволить себе такое сравнение? Недаром же тогда моя спутница и путеводительница по дивеевским святыням говорила мне:

— Не ожидала я, признаться, видеть кого-либо из нашего рода в таком месте, как далекая от мира обитель Дивеевская.

Мне ли, представителю "мира", относить было к себе великие слова блаженной, да еще на первых моих, таких неуверенных и робких шагах уклонения от пути служения миру и диаволу.

II

В январе 1902 года посетил меня Господь тяжелою болезнью...

"Одно чудо могло вас спасти", — так говорили мне впоследствии врачи, делавшие мне в то время операцию. Чудо это, по вере моей, было вновь чудом еще не прославленного тогда во святых великого старца Серафима, в 1900 году исцелившего меня силою чудотворного своего источника... Операцию мне делали в январе, в марте выпустили меня, полуживого, из больницы, но до самого июня я все никак поправиться не мог и был так слаб, что едва двигал ноги. И подумалось мне тогда: чудом не дал мне Угодник Божий умереть, ему же, видно, дать мне и окончательное выздоровление, и я решил ехать к нему вновь в Саров и Дивеев.

В ту пору Господь послал мне и спутника в лице одного хорошей души человека из интеллигентов, потянувшихся сердцем к простоте христианского ведения, пренебрегаемой сынами и премудростью века сего. По тогдашней моей слабости мне без него ехать и думать было нечего...

12 июня мы с ним выехали из Орла, вблизи которого было мое имение, а 15-го, с остановкой на ночлег в Арзамасе, были в Дивееве.

В Дивееве мы были встречены как старые друзья. Там еще была свежа память о первом моем появлении в обители с первой вестью о близости прославления великого ее основателя и старца, а потому Дивеевская обитель встретила меня и моего спутника как желанных и дорогих гостей. О моей радости увидеть, да еще после болезни, угрожавшей смертью, великое и святое это место, освященное “стопочками Царицы Небесной”, и говорить нечего. На мое счастье, радость моя передалась и моему спутнику. Да как было тогда не радоваться и не гореть духом, когда во главе Дивеева еще стояла великая старица, игуменья Мария, живая летопись дивеевских преданий, восходящих до Серафима, а от Серафима до самой Царицы неба и земли.

— На двенадцатой начальнице, — предсказывал сиротам своим великий угодник Божий, — у вас и монастырь устроится. И будет та начальница Мария, Ушакова родом.

Эта-то игумения Мария в то время и пестовала и окрыляла духом своим и чисто-сера-

фимовскою любовью всех, кто и с верою и с любовью припадал к святыням дивеевским. В их числе оказались и мы с моим спутником: как же было не гореть нашим сердцам ответной любовью? И видит Бог, они пламенели...

Накануне исповеди, было это 17 июня, я зашел к матушке игумении. За беседой она неожиданно обратилась ко мне с вопросом:

— А были вы у блаженной Парасковьи Ивановны?

— Нет, матушка, не был.

— А почему же?

— Боюсь.

— А чего же вы боитесь?

— Того боюсь, дорогая матушка, что вывернет она мою душу наизнанку, да еще при послушницах ваших, и тогда — конец вашему ко мне расположению. Снаружи-то как будто я и ничего себе человек, ну, а внутреннее мое, быть может, полно такой мерзости и хищения, что и самому мне невдомек, а вам и подавно, а ей, как прозорливице, все это открыто. Бежать ведь от вас мне со стыдом придется, а душе моей так хорошо здесь у вас. Пожалейте меня, матушка!

— Ну, это вы, конечно, шутите.

— Нисколько не шучу, а скорблю о своем окаянстве и боюсь обличения.

— А если я вас о том попрошу, неужели вы откажете мне в моей просьбе? Я вас очень прошу: сходите к ней. Уверяю вас, бояться вам нечего.

Что было тут делать! Пришлось согласиться:

— Благословите, матушка.

Решили на том, что я на следующий день пойду к блаженной перед исповедью. Этот день был 18 июня, день празднования Боголюбской Божией Матери, икону которой я особо чтил по следующему случаю.

В 1888 году, оставив службу по министерству юстиции, я сел на хозяйство в своем имении. Несмотря на свое воспитание в духе равнодушия к вере, даже безверия, которым отличались шестидесятые годы прошлого столетия, годы моего детства и ранней юности, я пожелал начать новую для меня и давно желанную деятельность с молитвою. Во флигеле, только что отстроенном, в котором я поселился, не было ни одной иконы, а я уже успел пригласить местного священника отслужить молебен в моем помещении и ждал его приезда с минуты на минуту. Спросил у экономки, не знает ли она, где достать мне поскорее икону, чтобы ее повесить во флигеле...

— Да, — отвечает она, — нет ли ее на чердаке в старом доме: там сундук старой барыни (моей матери), там, помнится, есть и икона.

Сходили и принесли: оказалась старинного письма Боголюбская Божия Матерь. Нашлась там, где и думали, — в сундуке, под коврами и разными домашними вещами... Повесили икону, отслужили перед ней молебен, и началась, и потекла с него моя деревенская жизнь на родной, такой дорогой моему сердцу ниве.

Прошел с молебна месяц. Получаю от матери письмо из Москвы, пишет: "От Лидии Ва-

сильевны (старая приятельница) из Риги я получила письмо, и в нем она сообщает мне, что с месяц тому назад видела во сне покойную сестру мою, которая, являясь ей, говорила: "Напишите Наташе (моей матери), чтобы она достала с чердака золотаревского дома (в имении моем) из сундука, под коврами, икону. Напишите, чтобы достала непременно".

На это письмо я ответил матери, что это уже сделано, приблизительно в те дни, когда Лидия Васильевна видела во сне мою покойную тетку. После этого я снял икону Боголюбской Божией Матери с угла, в котором повесил, чтобы к ней приложиться. Прикладываясь, посмотрел, нет ли чего на обратной стороне ее, и там увидел сделанную рукой моей бабушки, матери моей матери, надпись:

"Дочери моей Наталии".

Такова сила материнского благословения, таково значение святых икон. А ни мать моя, ни тетка, обе давно уже покойные, в силу и значение святых икон при жизни не веровали.

Икона эта сопутствует мне повсюду, куда бы стопы мои ни направляла Божия воля.

Участь наша горько-неизвестная:
В жизни скорби, а по смерти — страх.
Но у нас есть Мать на небесах.
Радуйся, Невеста Неневестная.

И в этот-то для меня великий день мне предстояло впервые лицом к лицу встретиться с великой дивеевской блаженной.

Утром 18 июня мы пошли с моим спутником к обедне. В будни в Дивееве обедня бывала одна, в 7 часов утра. Перед тем как идти в церковь, я сказал послушнице при гостинице:

— Сестрица, сходите в келью к блаженной и узнайте, в духе ли она сегодня, тогда придите мне сказать: я хочу ее видеть. А я слышал.. что когда блаженная не в духе, то лучше к ней и на глаза не показываться: побьет и самого губернатора — не посмотрит.

Кончилась литургия. Я попросил священника отслужить панихиду на могилах благодетелей, первоначальников и первоначальниц дивеевских, на чьих трудах и подвигах основалась эта святая обитель. Пока служилась панихида, ко мне подошла послушница из гостиницы:

— Блаженная сегодня в духе, пожалуйте.

— Хорошо, — говорю я, — я к ней пойду, но только не сейчас. Поставьте мне самовар: промочу горло чайком, а тогда и пойду.

Я в то время курил, и по утрам, до чаю, меня мучил так называемый "курительный кашель" и сильно пересыхало в горле. Как окончилась панихида, вернулись мы в гостиницу, напились с моим спутником чаю, вдосталь накурились. Пора было идти к блаженной. А на сердце непокойно, жутко...

— Пойдемте, — говорю спутнику, — вместе: все не так страшно будет.

— Ну уж, увольте. Я сейчас нахожусь под таким светлым и святым впечатлением от всего переживаемого в Дивееве, что нарушать его и

портить от соприкосновения, простите меня, с юродивой грязью, а может быть, бранью, если не того хуже, у меня ни охоты нет, ни терпенья: не моей это меры, простите...

Отказался начисто и даже на меня как будто вознегодовал. Пришлось идти одному.

Иду я к блаженной и думаю: надо будет там дать что-нибудь — дам золотой. Тут же я вынул из кармана кошелек и переложил из него один пятирублевый золотой в жилетный карман, чтобы поближе было... Вхожу на крыльцо. В сенцах меня встречает келейная блаженной, монахиня Серафима.

— Пожалуйте!

Направо от входа комнатка, вся увешанная иконами. Кто-то читает акафист, молящиеся поют припев: "Радуйся, Невеста Неневестная". Сильно пахнет ладаном, тающим от горящих свечей воском... Прямо от выхода — коридорчик, и в конце его — открытая дверь во что-то вроде зальца. Туда и повела меня мать Серафима:

— Маменька там.

Не успел я переступить порог, как слева от меня из-за двери, с полу, что-то седое, косматое и, показалось мне, страшное как вскочит, да как помчится мимо меня бурею к выходу со словами:

— Меня за пятак не купишь. Ты бы лучше пошел да чаем горло промочил.

То была блаженная.

Я был уничтожен.

Не успел я оглянуться, как ее уже и след простыл... С полу, где она сидела, тяжело подни-

мались две какие-то с ней сидевшие женщины из простонародья...

Как я боялся, так оно и вышло: дело для меня без скандала не обошлось. Приходилось с позором ретироваться. Я направился было к выходу, но меня с живостью удержала за рукав м. Серафима:

— Куда это вы, не уходите, останьтесь, отец Сергий.

— Какой я отец Сергий? — отдернул я руку с неудовольствием. — Разве вы не видели, как меня приняла блаженная, не захотела даже и минуты оставаться со мной под одной кровлей... Чего же мне еще ждать у вас!

Признаюсь, нехорошее тогда зашевелилось в моем сердце чувство и против Серафимы, и против всего уклада монашеского, сразу мне представившегося в том свете, в каком его видят современные недоброжелатели. Я приостановился в нерешительности...

— Нет, не уходите... — вновь воскликнула м. Серафима с такой сердечной искренностью и горячностью в голосе, что из сердца моего сразу вылетел и рассеялся весь туман закравшейся в него недоверчивости. А м. Серафима продолжала:

— Не уходите же, говорю вам, отец архимандрит Сергий. Не так вы думаете, не в обличенье сказала вам это и ушла от вас маменька: она повела вас в храм Божий — чем-то вам в нем быть, чем-то вам служить Церкви Божией. Сколько ведь уже времени не была она в церкви, а как вас увидела, так прямо туда и побе-

жала, да и весь народ с собой туда повела. Неспроста это, и вам это в знамение служения вашего Церкви Христовой. Не уходите же, дождитесь ее, а покамест почитайте-ка нам акафист Боголюбской Царице Небесной.

Сердце мое растворилось, и я согласился читать акафист. Между богомольцами, что были в келье блаженной, нашлись и певцы, и мы с чувством сердечного умиления пропели славу Царице Небесной. Кончили акафист, а блаженной все нет. Хочу уходить, а м. Серафима не пускает.

— Прочли, — говорит, — Матери Божией, почитайте теперь Спасителю.

Прочел акафист и Спасителю, а блаженной все нет.

— Ну уж, — говорю, — матушка, простите: больше ждать не буду.

Перекрестился на иконы, поклонился и вышел. И только успел я выйти за калитку палисадника блаженной, как в то же мгновение из бора, смотрю, вышла и блаженная, окруженная толпою богомольцев, и стала сходить по ступеням высокого соборного входа, направляясь к своей келье. Я едва успел избежать новой с ней встречи.

III

Перед всенощной того дня (служили полиелей св. апостолу Иуде, брату Господню) я зашел к матушке игуменье и рассказал по порядку все, что произошло со мною у блаженной.

Матушка задумалась, а потом, помолчав немного, и говорит:

— Серафима права: неспроста все это и не так, как вам сначала показалось. Сегодня вы будете исповедоваться, а завтра причащаться. Сегодня, стало быть, вам будет не до того, а завтра — я вас попрошу не простой просьбой, а за святое послушание, — завтра вновь сходите к блаженной, и тогда, Бог даст, все будет хорошо. Помните же — за святое послушание, а вы ведь уже знаете теперь силу и значение послушания.

Делать было нечего, пришлось, как ни трудно было, сказать:

— Благословите, матушка.

За всенощной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия: как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей мне исповеди, — сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко: с чем же предстану я завтра пред Святой Чашей, за Трапезой Господней.

Вдруг сзади меня, слышу, кто-то с тихими заглушенными вздохами стал всхлипывать, да так жалобно, что сердце мое насторожилось — я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал к Царице Небесной:

— Помоги, Матушка, помоги, Царица Небесная!

Смиренно, но настойчиво — твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной прось-

бы, пресекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся и невдалеке от себя, в темном углу храма увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божией Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху:

— Помоги ей.

Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было золота и серебра, — рублей на пятнадцать, и все это, не считая, высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия и великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной: ведь там все на счету у Отца Небесного...

Не успела изумленная женщина поблагодарить меня, как я уже был от нее далеко — в алтаре правого соборного придела, откуда манил меня мой духовник, призывая к таинству покаяния. И как же оно было сладко тогда по милости Божией Матери! Наутро следующего дня, после Литургии, за которой мы с моим спутником причащались, пригласили мы нашего духовника пить с нами чай в гостиницу. За беседой, слушая рассказы батюшки о преисполненном чудес Дивееве и о великом его будущем, предвозвещенном Преподобным Серафимом, вдруг вспомнил об обещании идти к блаженной. Благодушно-радостное настроение сразу

меня покинуло: надо же было случиться такому искушению. Опять стало мне жутко. Я сказал об этом своим собеседникам.

— Чего же вам бояться идти к блаженной? — сказал мне батюшка. — Ведь вы сегодня со Христом: вы причастник Святых Христовых Таин — чего же вам бояться? А пойти вам к ней сегодня следует, не только ради послушания матушке, но и для своей душевной пользы: блаженная, истинно вам говорю, великая раба Божия. Было время, что я не доверял ей и не хотел видеть в ней подлинного подвига юродства Христа ради. Я, недостойный иерей, имел счастье быть очевидцем святого жития и подвигов предшественницы ее, блаженной Пелагии Ивановны Серебренниковой, получившей благословение на подвиг юродства от самого великого саровского старца, отца Серафима: та была истинная юродивая, обладавшая высшими дарами Духа Святого, — прозорливица и чудотворица. И когда по кончине ее явилась к нам в Дивеев на смену ей Параскева Ивановна, то я, попросту говоря, невзлюбил ее, считая недостойной занять место ее великой предшественницы. Но вскоре случилось нечто, что в корне изменило мое к ней отношение, а было дело это так: в то время дома монастырского духовенства были построены из соснового леса, бревенчатые, тесом не обшитые. От времени бревна наружных стен обветрились и дали продольные трещины — ветряницы. Был жаркий летний день. В то время у меня в комнатах цвели и уже отцветали кактусы. Я выбрасывал за

окно на двор ярко-красные, как огонь, отпадавшие цветы.

Сижу я, помню, у открытого окна и читаю книгу. Слышу, кто-то вошел на двор и бродит под окнами. Взглянул: Параскева Ивановна, в одной рубахе, подпоясанная каким-то обрывком, со всклокоченными волосами, ходит, наклоняясь к земле, и подбирает. Смотрю: это она подбирает цветки кактусов и втыкает их в ветряницы бревен нашего дома, а цветки оттуда выглядывают огненными языками, как во время пожара. Чувство неудовольствия на блаженную — чего-де она здесь шатается — сменилось страхом: а ну как она пожар пророчит! Жутко мне стало. Блаженная вскоре ушла, бормоча что-то себе под нос и даже не взглянув на меня, но чувство страха, предчувствие бедствия, нам угрожающего от пожара, у меня осталось.

Наступил вечер, мы поужинали, семейные мои стали укладываться спать, а мне все не спится, боюсь и раздеваться: все мерещатся мне цветы кактуса, огнем выбивающиеся из бревен. Семейные мои все позаснули, а я все спать не могу. Взялся, чтобы забыться, за книгу, было за полночь. Вдруг двор наш осветился ярким пламенем: это внезапно вспыхнули сухие, как порох, соседние постройки, и огонь мгновенно перекинулся на наши священнические дома. Засни я вместе с прочими, сгореть бы нам всем заживо, и то едва-едва успели выскочить в одном нижнем белье, а имущество наше сгорело дотла вместе с домом — ничего не успели вытащить. И вот с памятной той ночи я понял, что

такое Параскева Ивановна, и стал на нее смотреть уже как на законную и достойную преемницу Пелагеи Ивановны. Советую и вам отнестись к ней так же, тем более таково желание и матушки игумении, которую вы вместе с нами так почитаете. А бояться вам совершенно нечего — вы со Христом. А то, хотите, я с вами вместе пойду к блаженной, чтобы вам не так страшно было? Пойдемте.

И мы пошли с батюшкой. Не отстал от нас, несмотря на свой скептицизм и брезгливость, и мой спутник и тоже решился следовать за нами.

Пока жив, не забуду я того взгляда, которым окинула меня блаженная, когда мы втроем с батюшкой вошли к ней в келью: истинно, небо со всей его небесой красотой и лаской отразилось в этом взгляде чудных голубых очей дивеевской прозорливицы. Взглянула она на меня как-то снизу вверх, слегка назад откинув свою седую, непокрытую голову, да и говорит с улыбкой (и что это была за улыбка!..)

— А рубашка-то у тебя ноне чистенька!

— Это значит, — шепнул мне в пояснение батюшка, — что душа ваша очищена таинствами покаяния и причащения.

Я и сам это так же понял.

Поприветив меня этими словами, блаженная что-то, чего я не слышал, сказала и моему спутнику, и слова ее, видимо, поразили его скептицизм — мне показалось даже, что он побледнел немного.

— Это удивительно, — сказал он вполголоса.

Тем временем, забыв, что “меня за пятак не купишь”, я достал из кармана кошелек и говорю блаженной:

— Помолись за меня, маменька: очень я был болен и до сих пор не поправился, да и жизнь моя тяжела — грехов много.

Блаженная ничего не ответила. Подаю ей золотой пятирублевый. Взяла.

— Давай, — говорит, — еще.

Я дал. Она взяла кошелек из моих рук и вынула из него сколько хотела, почти все, что в нем было серебра и золота — рублей с тридцать или сорок, — кошелек с оставшейся мелочью отдала мне обратно, взяла деньги, завязала узелком в углу своего шейного платка, открыла шкафчик под угловым киотом с образами, спрятала в него платок с деньгами, шкафчик заперла на ключ и ключ положила к себе за пазуху. Все это она делала быстро, все время бормоча что-то, чего ни я, ни мои спутники разобрать не могли. Спрятав мои деньги в божницу, блаженная пошла за перегородку, где виднелась ее кровать. Пошел за нею и я. На кровати лежали куклы. Одну из них блаженная взяла, как ребенка, на левую руку и стала садиться на пол, а правой рукой потащила меня за борт верхней моей одежды, усаживая рядом с собою на пол.

— Ты что же, — говорит, — богатое-то на себе носишь?

— Я и сам богатого, — отвечаю, — не люблю.

— Ну, — продолжает она, — ничего: через годок все равно зипун переменишь.

И подумалось мне: и деньги из кошелька повыбрала в жертву Богу, и перемену “зипуна” предсказывает, и на пол с собою сажает — смиряет: не миновать, видимо, мне перемены в моей жизни с богатой на бедную. Что ж, на все воля Божия, а как бы хотелось, чтобы не так это было.

Рядом с нами на полу оказался желтый венский стул. Ободок его под сиденьем был покрыт тонким слоем пыли. Блаженная стала смахивать пыль рукою и говорит мне, глядя пристально в глаза:

— А касимовскую пыльцу-то стереть надобе.

И что ж тут со слов этих с моим сердцем сотворилось! Ведь как раз под городом Касимовом, лет без малого двадцать перед тем назад, я совершил великий грех: нанес кровную обиду близкому мне человеку, грех, не омытый покаянием, не покрытый нравственным удовлетворением обиженного, не заглаженной его прощением. За давностью я и сам-то стал о нем забывать, а знали о нем только наши ангелы-хранители да мы двое. И вдруг грех этот восстал передо мною во всей его удручающей совесть неприглядной яркости. Сердце испуганно заколотилось... А блаженная, качая, как ребенка, куклу, продолжала, глядя на меня, говорить:

— У кого один венец, а у тебя восемь. Ведь ты повар. Повар ведь ты? Так паси ж людей, коли ты повар.

С этими словам она встала с пола, положила куклу на постель, а я, потрясенный до глу-

бины души “касимовской пыльцой”, вне себя вышел от блаженной и пошел на гостиницу, дивясь бывшему. Спутники мои вышли раньше меня и куда делись, я не спросил — не до того было: только и думки у меня было, что о совершившейся великой для меня Божией тайне, требовавшей со властью восстановления правды, любви к ближнему, столь тяжко некогда мною нарушенной. Теперь уж не помню, говорил ли я после того с матушкой игуменией, и если говорил, то что говорил, — все это вылетело из памяти: великое таинство совершившегося все остальное стушевало и изгладило. Я даже не очень тогда размышлял об остальных словах блаженной: о “зипуне”, о восьми венцах, о том, что я “повар”, которому надо не кушанье готовить, а “пасти людей”. Пред “касимовской пыльцой” все остальное утрачивало интерес и значительность — “пыльцой” этой, когда я оскорбленного мною человека не только упустил из виду, но даже не знал, существует ли еще он на свете.

Прошло после того шесть лет. Осенью 1908 года я от одного старого своего приятеля получил письмо, и в нем следующие строки:

“Я только что вернулся из касимовских краев домой. Там встретился с Н. (с оскорбленным мною человеком). Зашла речь о тебе. Н. с большой живостью отозвался о перемене, сотворившейся в твоей душе, и отнесся с большим сочувствием к новому роду твоей деятельности (я уже стал тогда много писать в духе Православной Церкви), но в то же время высказался в том смыс-

ле, что лично твоей-то душе эта деятельность вряд ли принесет пользу, ибо на ней лежит тяжкий грех, не заглаженный покаянием и прощением".

В великом волнении я вслед за получением этого письма, в котором мне был дан адрес Н., сел и написал ему покаянное письмо. Не прошло и месяца — я получил ответ, исполненный благожелательной любви и прощения: все забыто теперь, все прощено, было написано в том ответе, — как же я, Сергей, тому рад!..

Так за молитвы прозорливицы дивеевской стерта была "касимовская пыльца". И как же радовалось сердце грешного Сергея!..

А с "зипуном" вышло так: шестнадцать лет на моих руках было большое сельское хозяйство, дело, которому я отдавал всю свою душу, борясь всеми силами с кризисами, которыми так чревата была жизнь и работа сельского хозяина средней полосы России. Но трудно было прать против рожна финансово-экономической политики знаменитого разорителя России Витте, направленной к разрушению крупных сельскохозяйственных предприятий, и я, один в поле не воин, ясно видел, что мне не удержать в моих руках хозяйства. Последняя надежда возложена была на урожай большого посева пшеницы, который в том же 1902 году обещал быть чрезвычайно обильным.

Из поездки моей в Саров и Дивеев, после описанного свидания с блаженной, я вернулся совершенно исцеленным от своей болезни и, забыв о перемене "зипуна", преисполненным ра-

дужных надежд на близкий уже, блестящий урожай (оставалось недели две до уборки). И вдруг — страшная туча с юга, с ураганом, ливнем и градом, и — конец всем надеждам. Через год с небольшим я созвал на совещание всех, с кем вел дела и кому был должен, кто верил моей честности и моему делу, и объявил, что продолжать своего дела далее не могу, не рискуя запутать и их, и запутаться окончательно самому.

Так "через годок" и пришлось мне переменить "зипун" по вещему слову дивеевской блаженной. Сказано оно было мне 19 июня 1902 года, а в ноябре 1903 года "зипун" был с богатого переменен на бедный, не ровно через год, а именно "через годок" — год с месяцами.

Стал ли я "поваром" по своей писательской деятельности, готовит ли она здоровую пищу душе православной, упасла ли она на лугу духовном хотя бы одну из овец малого стада Христова, судить о том не мне, а Богу да моему читателю. Об одном молю и прошу Отца моего Небесного — чтобы "Божечке свечка" любви моей и веры стояла прямо в Православии пред Господом, и не потухала до последнего моего вздоха, и оправдала меня на близ грядущем Страшном и нелицеприятном Суде Господнем.

IV

В Дивеев вновь Господь привел меня в дни прославления великого Божия угодника, Преподобного Серафима Саровского.

Приехал я туда — еще не успел остыть след царского посещения в первых числах августа 1903 года. Прямо из тарантаса, едва успев помыться с дороги, я бросился бежать к блаженной. У крыльца ее стояло душ с десяток женщин, поджидавших, видимо, ее выхода из кельи. Не успел я взойти на крыльцо, как дверь отворилась, и из нее вышла блаженная.

— Вишь он какой: не успел прийти, как она к нему вышла. Мы-то тут все утро толчемся, а ее все никак не дождемся, а он... ну и счастье же людям... — послышался шепот, не то негодования, не то сочувствия. Но мне не до того было, чтобы в этом разбираться, — я весь был поглощен радостью давно желанной встречи.

— Маменька, — кинулся я к ней, — как же рад я вновь тебя видеть!

Блаженная взглянула на меня и, тихо отстраняя от себя рукою, в ответ на мою радость промолвила:

— Не тот, не тот: тот с крестом.

— Как, — говорю, — не тот, все тот же, любящий и тебя, и Дивеево, я все тот же.

— А я тебе говорю — не тот: тот с крестом.

И с этими словами блаженная повернулась и пошла в келью, даже и не взглянула на стоявшую у крыльца толпу.

До сих пор я не могу понять этих слов блаженной. Что значило “не тот — тот с крестом”? Проникла ли она тогда своим прозорливым оком в намерение мое посвятить себя Богу в священном сане (намерение это тогда у меня было) и в то, что намерению этому не суждено было

осуществиться, или что снят с меня некий крест моей жизни, — до сих пор, повторяю, не уяснил я этого себе. Я понял одно — что того креста, который она на мне прозревала духовным оком, его уже на мне нет, и что потому я "не тот", каким она меня видела раньше.

Пока я недоумевал о словах блаженной, она вслед вновь вышла из кельи и подала мне из-за пазухи два сырых яйца и, вынув оттуда же пригоршню колотого сахару, отдала его женщине, стоявшей в толпе у крыльца и протягивавшей к ней младенца.

— Вишь, счастливый какой, — заговорили в толпе, указывая на ребенка. — Это она ему сладкую жизнь предсказала.

А блаженная тем временем уже опять направилась в келью. Я пошел за нею. В келье она села у стола, боком к божнице и большой иконе Преподобного Серафима, взяла в руки чулок и стала его вязать. Я сел у того же стола, рядом с ней.

— Маменька, тяжело мне живется: помолись за меня.

— Я вяжу, вяжу, а мне все петли спускают, — ответила она мне с неудовольствием.

Значит: я молюсь, молюсь, а мне мешают молиться грехи ваши.

— Разве я тебе петли спускаю? — спросил я блаженную. В ответ на мой вопрос она выбранилась и плюнула. Но потом переменила гнев на милость и что-то ласковое стала шептать, быстро шевеля спицами. Я протянул к ней два серебряных рубля.

— Брать или не брать? — обратилась она с вопросом к иконе Преподобного Серафима. — Брать, говоришь? Ну ладно, возьму. Ах, Серафим, Серафим! Велик у Бога Серафим, всюду Серафим!

Мне даже жутко стало: так близко ко мне был здесь великий угодник, что с ним могла говорить блаженная. Так это было величественно-просто — общение мира живых на земле и отшедших к Господу. Блаженная взяла и положила мои деньги под икону Преподобного, а затем встала из-за стола, перекрестилась и ушла опять на крыльцо к народу. Я остался один за столом. Взошла старшая келейница блаженной, схимонахиня Серафима. Обнялись, расцеловались в "плечики". Пошли расспросы, изъявления радости свидания — ведь все мне здесь родное, дорогое, близкое, да и сам я не чужой дорогой обители, — все интересно, обо всем и всех знаемых хочется расспросить. Шутка ведь сказать: больше году не видались, а тут такое великое событие, как прославление Преподобного покровителя Дивеева и приезд царя с царицей и царской фамилии.

— И к нам с маменькой, — сказывала мать Серафима, — пожаловали государь с государыней. Наша блаженная-то встретила их по-умному: нарядилась во все чистое, и когда они вошли к нам вдвоем — они только двое у нас и были, — она встала, низенько им поклонилась, а затем взглянула на царицу да и говорит ей:

— Я знаю, зачем ты пришла: мальчишка тебе нужен — будет!

Я затем вышла, а они втроем остались с блаженной и часа два беседовали. О чем беседовали, то и для всех осталось навсегда тайной.

Это мне сама мать Серафима рассказала дней десять спустя после отъезда царской фамилии из Дивеева. Ровно через год после этого молитвами Преподобного Серафима даровал Господь им первенца-сына, а русскому народу — наследника царскому престолу. Государыне же, как мне было известно, целый ареопаг светил медицинского мира после бывшей у нее ложной беременности предсказал, что у нее детей уже больше не будет.

— Матушка, — спросил я м. Серафиму, — что означить должны собою два яйца, что мне дала блаженная?

— А какие яйца-то — печеные или сырые?

— Сырые.

— Ну, это к добру: вам, значит, предстоит с кем-то вдвоем новая жизнь, и ваша жизнь тогда пойдет по-новому, по-хорошему. Вот когда она даст кому печеное яйцо, так это плохо: смерть тому человеку и всякие скорби перед смертью. А сырое яйцо — это залог новой жизни, два яйца сырых — новая жизнь вдвоем. Уж не свадьбу ли она вам напророчила? Похоже ведь, что так.

А у меня и помысла не было о женитьбе: в сорок ли с лишним лет, как мне тогда было, думать было о свадьбе!

Прошло три года, и 3 февраля 1906 года я женился. И какую же радость послал мне Господь в лице моей жены и всей последующей за-

тем совместной с ней новой жизни! Истинно богодарованная и, как Божий дар, чудная, благословенная жизнь!..

В том же 1906 году летом жил я с женой на Волге, в Николо-Бабаевском монастыре, писал в Дивеев Елене Ивановне Мотовиловой, вдове сотаинника Преподобного Серафима Николая Александровича Мотовилова, и просил ее сходить к блаженной и спросить, как жить дальше. Блаженная ответила:

— Пусть Бога благодарит да молебны служит.

И по слову ее мне, как показала впоследствии моя жизнь, другого нечего было и делать, как Бога благодарить да служить Ему благодарственные молебны: не жизнь пошла, а одно великое чудо безмерного милосердия Божия.

V

Начав еще с 1900 года проповедовать — сперва устно, а затем и печатно — о близости явления в мире антихриста и Страшного Суда Господня, я неоднократно смущался тем, что не имел помазания от святого, что, будучи рядовым мирянином, я беру на себя дерзновение возглашать миру о таком высоком предмете, о котором за исключением уже умолкнувшего навеки о. Иоанна Кронштадтского молчит вся русская церковная кафедра. Кто я? Да имею ли я право? — такими и подобными им вопросами задавался я и все просил и молил Господа, чтобы на пути моей проповеди встретить мне такого человека, устами которого, по вере моей, гла-

голал бы мне Бог. Простой авторитет, даже пастырский, архипастырский и старческий, не утверждаемый на лично и мне достоверно известной святости и обладании высшими дарами Духа Святого — прозорливостью и подобными, — для меня был бы недостаточен, ибо "тайна беззакония", деющаяся в мире, и степень ее развития мне, по изучению этого вопроса трудом всей моей жизни, была известна ближе и изучена тщательнее, чем кем-либо из них. Удостоверение мне требовалось свыше — по Бозе, а не от премудрости человеческой, как бы высока она ни была. И Господь внял убогой просьбе моей и послал мне этот высший авторитет в лице все той же великой дивеевской блаженной, Христа ради юродивой Параскевы Ивановны, святости и истинно благодатной прозорливости которой я веровал так же, как некогда Преподобному Серафиму Саровскому веровал исцеленный им симбирский совестный судья Николай Александрович Мотовилов. Мне нужно было знать и утвердиться в том: переживаем ли мы или нет действительно последние дни земного видимого мира? Кончается ли его "седьмое лето", о чем еще в 60-х годах прошлого столетия писал в Оптину пустынь бывший обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой[1], или еще долго стоять миру долготерпением Божиим? У Господа ведь тысяча лет яко день вчерашний...

[1] См. книгу "Близ есть при дверех".

На все эти вопросы Господь мне, верую, Сам дал ответ 30 июня 1915 года устами Параскевы Ивановны, в день памяти Собора Св. Апостолов, в святой Дивеевской обители, за два месяца до праведной кончины великой прозорливицы. А было это так.

На Петров день 1915 года мы с женой, отговевши в Саровской пустыни, были причастниками Св. Христовых Таин и в тот же день со старой приятельницей моей жены, графинею Е.П.К., в имении которой по соседству с Саровом и Дивеевом гостили, отправились на лошадях графини в Дивеев.

Не доезжая верст шесть до Дивеева, на перекрестке дорог в Дивеево и в свое имение, старушка-графиня, почувствовав себя утомленной, решила отпустить нас в Дивеево одних, а самой вернуться домой. Прощаясь, она передала моей жене гостинец, который везла было для блаженной Параскевы Ивановны, — сколько-то в мешочке свежих огурцов и молодого картофелю. Еще в мае графиня была в Дивееве, и тогда ей дала блаженная заказ на этот гостинец.

“Привези мне, — сказала она графине, — свежих огурчиков и молодой картошки”.

В мае для этих овощей было слишком рано, а к концу июня на паровых грядах и то, и другое подрасти уже успело.

Взяли мы этот гостинец и одни поехали в Дивеев.

Последний раз я там был в 1904 году. Одиннадцать долгих лет прошло с тех пор, и сердце

мое трепетало и радовалось близости долго желанного и жданного свидания, в смутном ожидании от него чего-то для меня значительного и важного. Особенно этого я ожидал от великой блаженной, чудесную прозорливость которой я неоднократно уже успел испытать на себе.

В Дивееве, к великой моей радости, кто знал меня раньше, не успел забыть, и хозяйка гостиницы, матушка Анфия, встретила нас как самых дорогих, любимых родных. Сейчас же с дороги закипел самоварчик, подали закусить. Пришла сама матушка-хозяйка.

— А у нас горе, — сказала она, — блаженная наша почти при смерти. Вчера ее причащали, а сегодня соборовали.

— Значит, — испуганно спросил я, — ее и видеть будет нельзя?

— Пожалуй, что и так. Вот чайку откушаете, сходите ко всенощной, а там видно будет: может быть, к ней и зайти будет можно, — успокоила мою скорбь матушка.

Отстояв всенощное бдение, которое правилось Собору Святых Апостолов, мы с женой в сопровождении послушницы прошли в домик блаженной.

Был душный, жаркий вечер. Несмотря на близость заката, жара не сдавала, а в келии блаженной Параскевы Ивановны было натоплено так, как зимой, и сама она, когда мы вошли к ней, лежала спиной ко входной двери и под целой горой одеял и теплой одежды. Ни лица ее, ни даже облика человеческого под этой грудой ваточников разглядеть было нельзя, а в тем-

пературе кельи и дышать было невозможно. Мы все-таки минут пять постояли у двери и были утешены келейницей блаженной, сказавшей нам, что "маменьке" много лучше после соборования и что завтра, Бог даст, она, быть может, даже и встанет.

На следующий день в конце обедни прибежал в церковь, узнав о нашем приезде, прежний мой дивеевский духовник, отец Иоанн Дормидонтович Смирнов, родной племянник сотаинника Преподобного Серафима протоиерея о. Василия Садовского. И что же это была за радостная встреча!..

Кончилась Литургия. После заветных дивеевских могилок мы втроем с о. Иоанном пошли к блаженной. Увидим ли мы ее? Познает ли она своим прозорливым оком то, чего ждет от нее душа моя, и что она ей откроет? Не без трепета переступил я порог ее кельи. Еще нестарая келейница, которой я раньше не знал (м. Серафима уже давно скончалась), встретила нас и обрадовала словами, что "маменька" встала и что ее нам видеть можно.

Когда мы вошли в комнату блаженной и я увидал ее, то прежде всего был поражен происшедшей во всей ее внешности переменой. Это уже не была прежняя Параскева Ивановна, это была ее тень, выходец с того света. Совершенно осунувшееся, когда-то полное, а теперь худое лицо, впалые щеки, огромные, широко раскрытые, нездешние глаза, вылитые глаза св. равноапостольного князя Владимира в васнецовском изображении Киева-Владимирского

собора: тот же его взгляд, устремленный как бы поверх мира в премирное пространство, к престолу Божию, в зрение великих тайн Господних. Жутко было смотреть на нее и вместе радостно.

На нас она даже не взглянула, устремив свой взор — показалось мне, грозный, — мимо нас, далеко, за пределами стен ее кельи. Сидела она в конце стола, в святом углу, одетая так, что я ее не видывал никогда одетой, — торжественно и важно-празднично, в розовый капот и с чепцом на голове. И поза ее, и одежда, и весь ее вид, сосредоточенно-серьезный, — все это как бы говорило моему сердцу, что этот прием ее и что произойдет на нем будет последнее и наиболее значительное, что когда-либо я получал от духа великой дивеевской блаженной.

По левую руку, под локтем блаженной, стоял конец довольно длинного стола, и на нем, у самой ее руки, была поставлена круглая фаянсовая миска с молоком. К ней блаженная сидела боком. Прямо перед ней, под прямым углом со столом — рукой достать, — стоял диван, вчерашнее ее ложе. У ручки дивана приставлены были две тоненькие ореховые палочки. Над головой блаженной висели иконы. Помолившись на иконы и поклонившись блаженной, мы сели за одним с ней столом в таком порядке: у угла стола, рядом с блаженной, села моя жена, вторым, рядом с нею, о. Иоанн, а за ним, на противоположном конце стола, третьим — я.

Не глядя на нас и как бы не обращая на нас никакого внимания, блаженная, едва-едва мы

переступили порог ее кельи, быстрым движением руки отодвинула от себя миску с молоком и что-то почти беззвучно прошептала губами. Стоявшая тут же келейница так же быстро из соседней комнаты принесла и рядом с миской с молоком поставила такую же круглую, белую фаянсовую миску с теми огурцами, которые накануне, по приезде, мы послали блаженной. Огурцы, как я заметил, были в миске разложены в порядке, а не как зря, и поверх их лежал очищенный и продольно разрезанный огурец.

— Посолить! — опять едва слышно прошептала блаженная. Келейница подала и рядом с миской поставила солонку.

— Ложку!

Подана была круглая деревянная ложка.

— Отчего не серебряная?

Деревянную переменили на серебряную. И тут вслед началось нечто для меня совершенно непостижимое: сняв верхнюю половину очищенного и разрезанного огурца, блаженная испод ложки опустила в солонку и, сделав вид, что исподом этим солит, посолила огурец, стала от него откусывать беззубыми деснами по кусочку, быстро пережевывать и пережеванное бросать то в миску с молоком, то в стоявшую у ее ног плевательницу. Все это она делала попеременно и как-то необычайно быстро, точно торопясь, пока не дожевала и не доплевала и последнего кусочка обеих половинок огурца.

Я смотрел, старался уразуметь приточность действий блаженной, сердцем чувствовал, что весь их символизм относится ко мне, что это для

меня крайне важно, чувствовал, но совершенно ничего понять не мог.

— Маменька, — решился я тут возвысить свой голос, — можно мне взять огурчика?

Тут блаженная впервые обратилась к нам лицом (раньше сидела в профиль), взглянула на меня и довольно громко сказала:

— Можно.

— А мне, — спросила жена, — тоже можно?

— Можно, — и прибавила, глядя на нас обоих: — Вместе.

Мы поняли, что это значило, чтобы мы оба взяли один огурец и съели бы его вместе. Так мы и сделали, съев его вдвоем, как он был — неочищенным и непосоленным.

Следом за нами и о. Иоанн спросил:

— А мне можно?

— Можно, — ответила блаженная.

Ближе всех к миске с огурцами сидевшая, моя жена протянула было руку, чтобы подвинуть миску ближе к о. Иоанну, но блаженная быстро схватила одну из стоявших перед ней палочек и коснулась ею головы моей жены, делая вид, что хочет ее ударить, и как бы показывая этим: не твое, мол, это дело! Жена покорно склонила под палку свою голову, и блаженная тотчас ее поставила на прежнее место. О. Иоанн так огурца и не получил.

Вдруг блаженная, устремив грозный взор в сторону изголовья своего ложа, как бы увидев там кого-то, для нас невидимого, схватила другую палку, подлиннее, и уткнула ею в том на-

правлении, точно отгоняя или поражая этого невидимого. Затем, ставя палку на место, она обратилась к жене и сказала:

— Что ж ты не вяжешь?

— Это значит, — объяснил шепотом о. Иоанн, — что ты не молишься.

Потом, выйдя из кельи блаженной, жена мне сказала, что она до этого втайне творила молитву Иисусову, но, заинтересовавшись последним действием блаженной, внезапно ее оставила. Не утаилось это от прозорливого ока блаженной: тут же заметила и обличила.

Вслед за словами "что ты не вяжешь?" блаженная вдруг обернулась ко мне и жестом, и выражением лица сказала что-то, для нас непонятное. Жене представилось, что она этим хотела показать, что я, в своих исканиях правды Божией и ее разумения, хочу все знать — жажду познания, а я понял этот жест так, что мне угрожает или будет угрожать какая-то страшная опасность, но что она эту опасность устранила, отогнав "врага" своей палкой, а жене наказав не оставлять молитвы о муже[1].

После этого блаженная взяла в руки миску с огурцами и оставшиеся в ней огурцы разложила на дне ее, образовав из них полный круг, и стала их считать, отсчитывая справа налево неимоверно отросшим ногтем указательного пальца правой руки. Медленно их отсчитывая

---

[1] Последующая наша жизнь, особенно во время революции, показала, что мое предположение было ближе к истине и что только молитвами блаженной и моей жены мне и удалось сохранить свою жизнь от угрожавших ей опасностей.

по одному, она насчитала их семь, отставила миску и тем же пальцем, указывая пред собой, с какою-то торжественной таинственностью промолвила:

— Семь!

Потом вновь с тою же серьезностью и в том же порядке пересчитала огурцы в миске и опять так же и с тем жестом, указывая вперед, произнесла:

— Семь!

И, обратившись к нам и наклонив голову, развела руками в обе стороны жестом, показавшим нам, что или она нам все открыла, или что всему пришел конец.

На этом мы стали прощаться, прося молитв блаженной, она в ответ:

— Простите, что плохо поприветила! Стара, больна стала. Не я звала — сами пришли!

Тут келейница поднесла, было, коробку с колотым сахаром, полагая, вероятно, что блаженная раздаст нам по кусочку “для сладкой жизни”, но она на нее не обратила никакого внимания, да и мы с этого мгновения, видимо, перестали для нее существовать: духом она уже успела уйти туда, куда нам еще доступа не было.

Когда мы уходили от блаженной, келейница успела нам сказать, что как раз перед нашим приходом блаженная потребовала к себе наши огурцы, собственноручно отсчитала девять штук, расположила их по порядку в миске, очистила один из них, разрезала продольно и положила сверху. Ясно было, что это было

сделано неспроста и должно было иметь некое символическое значение для всех нас, для меня же в особенности, как по моему деланию на ниве Христовой, так и по вере моей к блаженной. Символику эту мы видели, но ключа к ней не находили, а ум оказывался несостоятельным и отказывал в разумении без озарения свыше.

— Ну что ж! — услышал я позади себя голос о. Иоанна. — Ну что ж! Все это хорошо: ведь вот, Сергей Александрович, блаженная вам дала вкусить от своей трапезы — это хорошо!

— Хорошо-то оно, может быть, и хорошо, — ответил я, — да вот беда-то в чем, что символику-то ее я вижу, а разуметь не разумею, хотя чувствую, что в ней для меня заключен какой-то таинственный и важный смысл. То-то мне и горе, что хочу понять, надо понять — и не понимаю. Вот только дважды ею повторенное слово СЕМЬ как будто дает какой-то ключ к загадке, и все же я как в темном лесу и выбраться из него не умею.

— Семь, — сказал мне на это о. Иоанн, — число священное и собою означает "ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕН".

Это слово о. Иоанна, духовника моего, и блаженной и было для меня тем озарением свыше, которого так ждала душа моя. Как только произнес батюшка слова "исполнение времен" — все мне вдруг стало как день ясно. Понял я тут, что все то, чего я искал и домогался как Божия откровения об "исполнении времен", о близости явления миру антихриста и Страшного Суда Господня, — все то из уст великой диве-

евской прозорливицы, как из уст Божиих, и получил я, да еще в такое для нее великое время, когда она причащением и соборованием готовилась к переходу в вечность, к Отцу Небесному, в Своей власти положившему времена и сроки, установленные Им для всего мира.

"Семь, — сказал о. Иоанн, — число священное и означает собою исполнение времен". Я и сам это знал давно, а пришло, однако, это толкование как ключ к символике блаженной не мне, а иерею Бога Вышнего, который "сего же о себе не рече, но архиерей сый лету тому"[1], как священник, и притом как общий наш с блаженной духовник. По тому же слову о. Иоанна открылось мне в словах и действиях блаженной следующее.

Провидя даром благодатного прозрения, чего именно искало от Бога мое сердце, а также и то, что Промысл Божий для утверждения в вере моей и делании приведет меня к ней, прозревая во все, что должно было быть связано с моим приездом и к графине, и к ней, она наперед заказала графине доставить ей все, над чем она символически впоследствии должна была утвердить меня в моих ожиданиях и проповеди и на ожидания эти и проповедь наложить ясную для меня печать истинности, благословить и утвердить вышним благословением.

Получив огурцы, блаженная собственноручно отобрала из них 9 штук, один очистила от кожи и, разрезав продольно, положила его

---

[1] Ин. 11, 51.

поверх остальных неочищенных. Огурец под кожей своей и мясом скрывает в семенах своих тайну жизни и потому удобен для символизирования той тайны мировой жизни, о которой я вел и веду проповедь свою доселе.

По климату Нижегородской губернии других спелых к этому времени плодов, подходящих к данной цели, не было, потому и выбраны были блаженной огурцы, созревавшие к концу июня только лишь в культурных хозяйствах, где, как у графини, были и парники, и паровые гряды. Перед нашим приходом, как бы знаменуя для моей проповеди важность и значение предстоящего свидания, блаженная, несмотря на болезнь и слабость, приоделась так, как редко и только в особо торжественных случаях одевалась, и заняла место в святом молитвенном углу. Не для меня, конечно, все это сделано блаженною, ибо я — ничто, а для освящения проповеди, получившей Божиим изволением широкое распространение у верующего мира. Так некогда Преподобный Серафим утверждал и освящал Н.А.Мотовилова в разумении великой его с ним беседы о цели жизни христианской, говоря ему: "Не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы все, сами утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезными"[1].

Так некогда, 14 июля 1906 года, при последнем моем свидании с о. Иоанном Кронштадтским в Николо-Бабаевском монастыре, и я,

---

[1] Кор. 3, 2. Евр. 5, 13 — 14.

грешный, получил его благословение на делание мое. Не для меня, а для "целого мира", таким образом, облекла блаженная в такую торжественность наше свидание, которое Господь освятил, верую, в знаменование важности его значения и ею самою, и присутствием при этом свидании Своего иерея, общего нашего с блаженной духовника, племянника ближайшего друга и сотаинника самого великого основателя Дивеева, Преподобного Серафима Саровского.

При входе нашем перед блаженной стояла миска с молоком. Как только мы вошли, она ее, не глядя на нас, а как бы повинуясь велению свыше, отодвинула от себя и поставила рядом с нею миску с огурцами, знаменуя тем, что нас надобно кормить не молоком, а твердою пищей сокровенных тайн Божиих[1].

Огурец очищенный и продольно разрезанный, положенный поверх прочих, который она будто бы ела, должен был знаменовать, что ее твердая пища познания тайн Божиих выше познания других и очищена ее преподобно-мученическим житием, и потому Божия тайна ей так же открыта, как открыта внутренность во всю длину разрезанного огурца.

Требование блаженной "посолить" должно было означать, что познание тайн Божиих осолено в ней не только ее житием, но Божией благодатью, т.е. разумение их дано ей от Бога свыше.

---

[1] "Великое в малом", изд. 1911 г., стр. 204.

Требование серебряной ложки должно было означать, что как литургийное преподание Таин Христовых, так и приятие осоления благодатию должно быть преподаваемо при посредстве благородного металла — серебра или золота, а не простого дерева.

То, что блаженная не внутрь себя принимала разжеванные кусочки огурца, а выплевывала их в руку и бросала то в миску с молоком, то в плевательницу, должно было знаменовать, что ее "твердая пища", а быть может, и моя проповедь, поступает в духовное питание в большинстве случаев или тем, кто духовно способен питаться только молоком, или же тем, кто изблевывает ее в попрание, как бы в плевательницу, в посмех и глумление; иными словами, что толкование тайн судеб Божиих уже не может, за исключением только лишь малого стада избранных овец Христовых, обрести себе достойных слушания, и тем не менее оно необходимо, притом неотлагательно, спешно, подобно той быстроте, с которой блаженная совершала это приточное действие. Недаром же сердце мое чувствовало, вопреки разуму неразумевающему, всю важность и глубину значения этих символических действий блаженной.

Данное мне затем разрешение взять огурец и съесть его вместе с женой должно было знаменовать, что и я с подружием моим приобщился познанию тех же тайн, что и блаженная, но не в ее, однако, мере, не в мере очищенности ее духовного зрения и осоления Божией благодатью.

Это было показано тем, что огурец наш не был ни очищен, ни посолен.

Разрешение вкусить от трапезы блаженной было как иерею и о. Иоанну, но ему не пришлось им воспользоваться по причинам индивидуальным и мне недоведомым, быть может, в силу отсутствия у о. Иоанна особого интереса к вопросам этого порядка.

Жене моей блаженной преподан был урок не учительствовать: не предлагать своих услуг "освященным" — иерею — к уразумению Богооткровенных тайн.

Отгнание палкою и угроза ею некоему "невидимому" и указание жене моей молиться — "вязать" могло знаменовать какую-то опасность, угрожавшую мне от того "незримого", которого она отогнала своею силою, данною ей благодатию свыше, и молитвами моей жены. Кому известна моя деятельность по раскрытию "тайны беззакония" и обличения ее служителей, тот поймет, от кого и за что могла грозить мне опасность.

Заключительным же действием блаженной был счет оставшихся на дне миски и расположенных в виде круга огурцов. Их оставалось ровно семь. Толкование значения этого священного числа уже было дано о. Иоанном. Значение его — "исполнение времен" — ясно и указывает на выяснение всей глубины — дно миски — открываемой тайны, заключающейся, по приточному толкованию блаженной, в том, что круг земного жития уже заключен, что "времена и сроки их же положи Отец в Своей власти"

(Деян. 1, 7) уже окончились и наступил — жест рукою — конец, что блаженною мне и было открыто.

Дважды повторенный подсчет огурцов и дважды повторенная цифра 7 могли означать, что сие истинно есть слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие (Быт. 16, 32).

Важнее же всего во всем здесь изложенном было то, что, по глубокой вере моей, Господу Богу угодно было явить мне через великую блаженную старицу, а через меня, по слову Преп. Серафима Мотовилову, — всему миру, что времена уже исполнились, что антихрист близок, что Страшный Суд Господень — "близ есть при дверех".

Два с половиною месяца спустя после великого для меня дня 30 июня 1915 года, в половине сентября того же года, великая дивеевская блаженная прозорливица, Христа ради юродивая, 120-летняя старица Параскева Ивановна успе о Господе, а в декабре 1916 года 4-м изданием вышла в свет моя книга "Близ есть при дверех", волею Божию ставшая известною и Старому и Новому Свету — "всему миру".

VI

"Глас хлада тонка"

В №№ 346-348 "Троицкого Слова" была помещена повесть моя о скончавшейся 22 сентября 1915 года великой дивеевской блаженной Параскеве Ивановне (Паше Саровской). В повести этой я, как верный писатель поведанных в ней событий моей жизни, к которым была при-

косновенна блаженная прозорливица, не обошел своим воспоминанием и волновавших меня в то время мыслей и чувств. Рассказывая о посещении мною блаженной, когда она убежала от меня в собор со словами “меня за пятак не купишь” и проч., — я помянул о келейнице ее, теперь тоже уже покойной, монахине м. Серафиме, и о тех чувствах, которые были вызваны в моем сердце ее отношением к бегству блаженной в связи с моим к ней приходом. “Меня, — писал я, — так и передернуло от этих причитаний м. Серафимы: “За деньги, подумалось мне, льстивой монашке все обелить можно”.

Из хода дальнейшего повествования можно было усмотреть, что “искренность, явно слышавшаяся в голосе м. Серафимы”, изменила до некоторой степени мое дурное расположение духа, впечатление тем не менее от слов статьи моей о “льстивой монашке” осталось в силе (по крайней мере в моей душе), и мне, уже по напечатании моего рассказа, казалось, что я хотя и невольно, а все-таки погрешил перед памятью матушки Серафимы, недостаточно очистив ее от наброшенной на нее тени подозрения в сребролюбии и лукавстве. А между тем мать Серафима по высоте своего подвига как келейницы блаженной и по жизни своей сама была почти как блаженная. Так о ней мне и покойная старица-игумения, м. Мария, говорила:

— Серафима у нас тоже как блаженная.

И было мне, что называется, не по себе, хотя формальной вины я на своей совести и не чувствовал: грубого нарушения закона Христовой

любви и Божьей правды не было, то тонкое — сердцем ощущалось и сердце беспокоило как бы налетом легкого, воздушно-сквозного облачка. И искало сердце, как бы найти ему путь к исполнению правды Божией поцелуем любви Христовой памяти почившей.

И путь нашелся: указан был перстом Божиим незамедлительно и едва ли не чудесно. 12 декабря, на день Святителя Спиридона Тримифунтского[1], подали мне почту, и среди писем, полученных в тот день, я нашел пакет с почтовым на нем штемпелем "Кустанай Тургайской области" и с надписью "Сергиевский Посад". В редакцию "Троицкого Слова" для передачи Сергию Александровичу Нилусу, адрес коего неизвестен. Внизу пакета подпись — "от священника Александра Седых". Распечатываю пакет и читаю:

"Дорогой Сергей Александрович! Простите, что, не будучи знаком, решился написать вам. К этому побуждают меня ваши литературные труды, которые мне являются как бы родными, так как говорят о близких моему сердцу местах. Я вторично переживаю то, что перечувствовал в 1903 г. в Сарове и Дивееве, за что весьма вам благодарен. Прочитав сейчас в № 346 "Троицкого Слова" ваше "На берегу Божьей реки", где упоминается м. Серафима, послушница "маменьки", я немедленно подвигся духом написать вам, чтобы, если найдете возможным, к вашей "реке" присоединился еще

[1] См. о нем в книге моей "На берегу Божьей реки", стр. 348.

один маленький, но чистенький ручеек. Дело в следующем.

Когда я в 1903 году был в Саровской пустыни на открытии мощей Преподобного, то прожил там с 11 июня по 27 июля (уж очень хорошо там!). За это время два раза пешком (труда ради бденнаго) ходил в Дивеево. В первый раз я был в июне месяце и имел намерение зайти к блаженной, но, постояв около кельи и видя массу жаждущих ее видеть, я подумал: зачем буду беспокоить блаженную? Вопросов неразрешимых у меня нет; в Бога и Православную Церковь верую всею душою. Правда, грешный я человек, но для этого я поговею здесь. С этою мыслью я отправился к себе в нумер.

По дороге у меня явилась мысль: да! Все это так — я верю. А как было бы хорошо получить подтверждение этой веры хотя бы каким-нибудь маленьким откровением через прозорливых! Но тут же я счел такую мысль искушением Бога, грехом, хотя сердце так сладостно желало этого. И что же? Ведь не оставил Господь этой тайной мысли без ответа, и не дальше как на другой день я получил то, чего не только не искал, но и не смел просить, а пожелал лишь, и то как бы украдкой.

Когда на следующий день я вышел из собора после Литургии, то увидел какую-то монахиню (потом я узнал, что это была м. Серафима), окруженную богомольцами. Она ходила между ними и просила у кого — сухарик, у кого еще чего. Я остановился в сторонке и стал, прямо скажу, любоваться этим, как картиной. Меня

приводил в умиление вид монахини: спокойная, кроткая, с такими добрыми-добрыми глазами, с простою речью, она как бы говорила этим своим видом — бросьте суету, стремитесь к небу и будете счастливы! Глядя на нее, я даже подумал: уж не Паша ли она? Но нет, та седая и уже старая, а эта много моложе. В это время она тихо подошла ко мне и сказала:

— Дай копеечку! Я знаю, у кого что просить.

Я достал кошелек и дал ей монету, а сам подумал: это и неудивительно — по одежде можно узнать.

— А был ли ты, — спросила она, — в келье матушки Александры?[1]

— Нет, — говорю.

— А в келье батюшки Серафима, что за канавкой, был?

— Нет.

— А на канавке?

— Нет, — говорю, — нигде не был, матушка.

— Ну, — говорит, — сходи непременно, везде побывай.

— Слушаюсь, матушка, побуду непременно.

— Ну, а теперь, — говорит, — пойди попей тепленькой водички: так Богу угодно (это ее точнейшие слова, которых я не забуду до гроба).

И она пошла дальше. Отправился и я к себе в нумер. Иду и думаю: что это за напутствие? Если это предсказание, то пойду и напьюсь

---

[1] Основательница Дивеевского монастыря, в миру вдова полковника, Агафья Семеновна Мельгунова.

чаю, — только и будет всего без всяких предсказаний. Подумал — и бросил думать.

По дороге к гостинице я стал соображать, что мне делать. Завтра, думал я, я должен причащаться Святых Христовых Таин. Дома я готовлюсь к этому всю седмицу, а тут вовсе без говенья: как-то неловко! Надо поговеть, хоть этот день один. В нумер к себе я не пойду, чтобы мне не подавали монастырского сытного обеда; пойду лучше в лавочку, за ограду, куплю себе чего-нибудь из съестного попроще, съем немножко и потерплю до завтра.

Вышел я за ограду, а лавки, смотрю, заперты: был какой-то праздник, и торговли не было. Что тут делать? Со мною была маленькая сумочка, а в сумочке обычно необходимая провизия: чай, сахар и корки хлеба; на этот раз в ней только и было, что одна просфорка да кусочек сахару. За лавками был чайный барак, и я направился туда в надежде напиться там чаю, чтобы не беспокоить служащей при гостинице подавать мне одному самовар в нумер. В бараке сестра с обычной приветливостью принесла мне два чайника — один большой, с кипятком, а другой маленький — я подумал, с чаем. Посмотрел, а там чаю не было ни крупинки. Это меня озадачило.

— Сестрица, — обратился я к послушнице, — а где же чай?

— Да у нас, братец, — ответила она, — не полагается: каждый пьет чай свой.

А у меня свой чай весь вышел. Вот тебе, думаю, напился чаю! Однако, чтобы не показать-

ся смешным, промолчал об этом. Кто-то по соседству заметил мое положение и любезно мне предложил своего чаю. Не имея привычки пользоваться чужим, я ответил отказом; а сам думаю: да что же это я забочусь? То хотел поговеть, а тут из-за еды и пития уже расстроился. Питались же святые отцы хлебом да водою. Возьму-ка я сам, да так и сделаю: съем просфору с тепленькой водичкой, да и потерплю до завтра! Перекрестился я, налил себе пустого кипятку в чашку, разломил просфору, смочил ее и стал есть. И когда я поднес чашку с полуостывшим кипятком ко рту, мне как будто кто-то взял да и напомнил слова матери Серафимы:

— Ну, а теперь пойди попей тепленькой водички: так Богу угодно!

Что сталось тут со мною, того не выразить словами. Я едва не выронил из рук чашки. И страх тут был, и радость, и Божие величие, и мое ничтожество, и Его всеведение и Промысл — все как огнем неопаляющим озарило и согрело мою душу. Некоторое время я сидел, не отдавая себе ни в чем отчета, отдавшись весь нахлынувшему на меня чувству; затем от всего сердца возблагодарил Бога за Его внимание к моему недостоинству, съел свою просфорку, еще раз поблагодарил Бога и Его послушницу, подавшую мне "теплую водичку", и ушел из барака с чувством, что бывает на свете иногда такая "теплая водичка", которой по вкусу нет равного пития среди всех земных напитков.

Это событие научило меня искать и видеть "великое в малом": стал я серьезнее и вдумчи-

вее присматриваться к жизни и стал примечать повсюду действие Промысла Божия. От сего явились в сердце молитвенное дерзновение к Богу и крепкая уверенность, что Он внемлет даже и грешной молитве, лишь бы она приносилась Ему от полноты покаянного сердца.

И теперь, когда стою пред Престолом Божиим, за Божественной Литургией, особенно сильно чувствую я эту великую и простую истину, поминая всякий раз мать Серафиму прежде о здравии, а как узнал о ее кончине — за упокой. Тогда же, когда совершилось со мною все рассказанное выше, я расспросил о ней и узнал о ее строгой и святой жизни. Но тогда я ни слова не сказал никому обо всем этом. Теперь же считаю грехом молчать: она — там..."

Таково было ко мне письмо от священника о. Александра Седых из Кустаная Тургайской области, полученное мною на день Святителя Спиридона, Тримифунтского чудотворца.

"И се дух велик и крепок, разоряя горы и сокрушая камение в горе пред Господом, но не в духе Господь. И по дусе трус, и не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь"[1].

Плакать хочется...

---

[1] III Царств, 19, 11 — 12.



ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ

I

“Мой Мотовилов воскрес!” Петров пост и преподобный Макарий Желтоводский

Закончив свои воспоминания о великой дивеевской блаженной Параскеве Ивановне, я невольно мыслью своею перенесся в то уже давно минувшее время, когда жарким днем незабвенного для меня июля 1900 года я, в сопровождении трех дивеевских послушниц, из Сарова пришел пешком в Дивеев. Вспоминая то время, я и теперь, двадцать четыре года спустя, вновь переживаю то великое горение духа, которым сердце мое, преисполненное любви и веры к великому саровскому старцу, тогда еще не прославленному угоднику Божию Серафиму, пламенело к моему Богу, Творцу всяческих. Каких времен и событий не был я поставлен свидетелем, совершавшихся на моих глазах за протекшие с тех дней годы, чего только не пришлось пережить и переиспытать за это чреватое величайшими мировыми событиями время: не стало России, не стало царя, весь мир пришел в вели-

7 Зак. 494

кое смятение, — а память о тех незабвенных днях, когда впервые облагоухала мою душу святыня Сарова и Дивеева, изгладить не могло ничто человечески великое: светит она мне живым и тихим сиянием, разгоняя тьму ниспавшей на мир непроглядной, темной ночи, греет мне душу теплом и кроткой радостью Незаходимого Солнца правды — Искупителя душ наших.

И вижу я: кончается первая прослушанная мною в Дивееве Литургия. Подзывает меня к себе в храме Божием великая дивеевская старица — игумения Мария, благословляет меня иконой Божией Матери "Радости всех радостей" в самый день Ее праздника и зовет прийти на беседу к себе в игуменские покои — доведать подробно, что могло привести светского, в то время еще богатого и нестарого человека, из мира отступления и вражды на Бога в отдаленную и пустынную обитель сирот Серафимовых.

И еще вижу: накрыт чайный стол в покоях матушки игумении; за столом довольно большое собрание монахинь и мирских старушек, в общем фоне темных своих одеяний сливавшихся с монахинями так, что и отличить их друг от друга было невозможно; приносят послушницы чай... Начинается беседа, и я подробно и по порядку повествую обо всем, со мною бывшем, начиная с января 1900 года, и такою горячею любовью разгорается внезапно мое сердце к Серафиму, великому старцу, к вскормившему его духовно Сарову, к дивному Дивееву, что я едва удерживаю подступившие к самому гор-

лу слезы умиления и вдруг слышу ко мне обращенный восторженный возглас:

— Да это мой Мотовилов воскрес!

И сейчас еще слышу я это восклицание с характерным нижегородским ударением на букву "о" — "МОтОвилов вОскрес". Я взглянул в сторону голоса и увидел на почетном месте — на диване — старушку, одетую во все черное, с простенькой черной кружевной наколкой на голове. Лицо ее, приятное и милое, осветилось доброй и ласковой улыбкой, а живые, проницательные глазки так и светят на меня ответом загоревшегося где-то внутри, глубоко, внутреннего огня, еще не застывшего под холодом старости, чуткой и чистой души.

То была вдова сотаинника Преподобного Серафима, симбирского совестного судьи Николая Александровича Мотовилова, Елена Ивановна Мотовилова.

С этого-то восклицания — "Мой Мотовилов воскрес!" — и завязалось мое знакомство с этой живой летописью Серафимова детища — обители Дивеевской, завязалось и не развязывалось до самой преподобнической кончины ее в декабре 1910 года, на второй день праздника Рождества Христова.

1900 год, когда я впервые посетил Саров и Дивеев, был годом великого внутреннего перелома всего, казалось, крепко установившегося на либеральных устоях 60 — 70-х годов строя моей внутренней духовной жизни:

Я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился тому, что сжигал.

В первый раз за всю мою тогда тридцативосьмилетнюю жизнь я соблюл пост Великого Поста, не по уставному, правда — никакого еще тогда устава я не знал, но все же добровольно и доброхотно отказавшись от мясного и молочного. Подходил Петров пост — апостольский, про который деревенские свободомыслящие уже успели пустить в обращение крылатое слово, что он выдуман-де бабами для скопа, чтобы было из чего наготовить масла и творогу на зимнее маломолочное время.

В то время на моих руках и заботе было большое сельскохозяйственное дело. Приближалась горячая пора всяких полевых работ: начинался покос полевых посевных трав, подходить стали по верхам кое-где и луговые травы; в полном разгаре была пахота под озимое и вывозка навоза; отцветала и готовилась наливаться рожь — не за горами была уже и страда деревенская...

Занятый хозяйственными заботами, я совершенно забыл о том, что подходят Петровки — пост апостольский.

Кончился многозаботливый хозяйственный день: получили на следующий день распоряжения по хозяйству все доверенные по разным отраслям сложного экономического строя. Приходит позже всех экономка и спрашивает:

— Что прикажете назавтра готовить — скоромное или постное?

— Почему постное?

— Да с завтрашнего дня начинаются Петровки.

— Ну, — говорю, — Маша, это не Великий Пост. Все домашние будут есть скоромное — для одного меня не стоит готовить постное: буду есть со всеми.

Так и порешили.

Преисполненный хозяйственных забот и думушек, — а тут еще подошли разные срочные платежи, — я и думать совсем забыл не только о Петровках, но и обо всем мире вне моего хозяйства.

Поздно ночью, едва успев лоб перекрестить, я заснул, как убитый, и под самое утро увидел такой сон.

Еду я будто в Москве на извозчике по Страстной площади, мимо святых ворот Страстного монастыря. Смотрю, около них в самом здании часовенка; в часовенку с улицы открыты двери, и в глубине ее полумрака теплится лампада и горят свечи. Никогда я в этой часовенке не бывал и даже не знал о ее существовании, а тут меня потянуло забежать в нее и помолиться. Я остановил извозчика и бегом устремился в нее, и прямо к большому Распятию, что стояло в ней вправо от входа. Помолился я пред ним, положил три земных поклона, приложился. Смотрю: влево от Распятия и других икон, точно при входе, стоит прилавок, за прилавком полки с книгами и церковными свечами, и стоит благообразная пожилая монахиня.

— Матушка, — обратился я к ней, — нет ли у вас для продажи жития какого-нибудь святого?

— Как не быть, — отвечает, — есть.

И с этими словами монахиня достала с полки и подала мне довольно толстую книгу в розовой обложке — как сейчас ее вижу, — и на обложке крупными черными буквами было написано:

ЖИТИЕ
иже во святых отца нашего
МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОДСКОГО

Я беру книгу в руки, подаю за нее три рубля и спрашиваю:

— Довольно ли этого, матушка?

— Довольно, — отвечает старушка, — довольно, батюшка!

И с этими словами берет от меня книгу, чтобы ее завернуть, а я тем временем на задней стороне обложки вижу: цена 2 р. 50 к.

Вот, подумалось, хоть и монашка, а взяла с меня полтинник лишку. Ну, думаю, пусть идет ей или на монастырь Христа ради.

— А что, — спрашиваю, пока она заворачивала книгу, — нет ли у вас, матушка, в продаже колбасы с чесноком?

Удивленно взглянула на меня старушка, но ответила спокойно:

— Есть и это, батюшка.

— Так отрежьте ж, — говорю, — мне фунтик.

Из-под прилавка она достала колбасу, отрезала от нее кусок, свесила, завернула в бу-

магу, подает мне и говорит, пристально глядя мне в глаза:

— Я вам, батюшка, колбасу-то продала, как проезжему, в пути сущему, а следовало бы вам попомнить, что ныне пост-то святой апостольский.

На этом я проснулся. Солнышко было уже довольно высоко: шел шестой час утра.

"Э, — подумалось мне, — вот оно что: в пути сущему послабление поста, по нужде, хотя и не возбраняется, ну, а мне-то повелевается "попомнить, что ныне пост-то святой апостольский".

Я позвал Машу и велел готовить себе весь пост постное.

II

Но к чему явлена была мне во сне книга жития "иже во святых отца нашего Макария Желтоводского" и что это за святой, о котором я никогда ничего не слыхивал, того я никак уразуметь не мог. И тем не менее и книга эта, и весь сон глубоко запали мне в память.

Прошел год, прошел другой и третий, — четыре года прошло с того сна. Сна своего я не забывал, посты стал держать исправно, но сколько ни допытывался у людей посвященных, ни от кого о Божьем угоднике Макарии Желтоводском узнать ничего не мог.

Помню, один иерей, в Белеве Тульской губернии, на мой вопрос о нем ответил:

— Не наш ли это Жабинский Макарий? Его монастырь от Белева в двух верстах. Не он ли? Не спутали ли вы?

И вправду, не спутал ли я? Может быть, и в самом деле Жабинский, а не Желтоводский? Звуковое-то сходство как будто и есть. Съездили с батюшкой в монастырь, поклонились надгробию Преподобного (мощи его под спудом). Спрашиваю у гробового монаха:

— Есть у вас житие вашего угодника?

А сам думаю: вот сейчас увижу книгу в розовой обложке и на ней знакомые слова.

— Нет, — отвечает, — его жития у нас нет. Есть краткое о нем предание — оно изложено в книжке об основании нашего монастыря.

Принес тощенькую книжечку с не менее тощеньким содержанием. Нет, не то, совсем не то! И вовсе не Жабинский, а Желтоводский — не мог я этого спутать!

Наступил страшный 1904 год. Как гром с ясного неба, ударила по России японская война. В этот год в августе мне пришлось быть в Перми. Еду оттуда я в обратный путь и уже неподалеку от Нижнего вижу — на левом берегу Волги, за высокими стенами, стоит и глядится, отражаясь в Волге, большой белокаменный монастырь. Спрашиваю у матроса:

— Чей это монастырь?

— Макарьевский.

— Какого Макария?

— Желтоводского.

Я едва ушам своим поверил: неужели тут ключ к четырехлетней загадке? В то время пароход наш начал причаливать к противоположному берегу и пристал к пристани. В толпе, снующей от парохода и к пароходу, я после

второго свистка заметил монахиню-сборщицу; в руках у нее была тарелка, а в тарелке небольшая, вершка в три, иконочка — не Макария ли Желтоводского? Я быстро по сходням сбежал на пристань и прямо к монахине.

— Из какого вы монастыря, матушка?

— А что напротив, на том берегу, от Преподобного Макария Унженского.

— Как — Унженского? — переспросил я разочарованно. — Мне сказали — Желтоводского.

— Да это все тот же угодник Божий: он именуется и Унженским, и Желтоводским.

— Так это, — спросил я, — его икона у вас на тарелочке?

— Его, — ответила она мне, видимо, удивляясь моему волнению.

— Матушка, — воскликнул я вне себя, бросая ей на тарелку серебряный рубль, — пожалуйте мне ее, Бога ради!

А иконе той от силы прочь цена в монастыре полтинник.

— Как же я ее вам продам, батюшка? Меня ведь ею сама матушка игуменья на сбор благословила.

— Матушка, Христа ради, не откажите!

А тут третий свисток, и начали убирать сходни.

— Ну, — говорит, — видно, так самому Преподобному угодно — берите.

Едва успел я вскочить на пароход со своей драгоценной ношей, как он зашумел колесами и стал отчаливать. А монахиня стоит у контор-

ки, и вслед меня крестит, и сама крестится. Надо ли сказывать верующей душе, что я чувствовал? Завеса над тайной как будто приоткрылась, но ключа к загадке я все-таки еще не получил.

III

Прошло еще два года. В корень изменилась вся моя жизнь: по слову блаженной Параскевы Ивановны, "зипун" я переменил, оправдалась и символика ее с двумя яйцами — Матерь Божия, по вере моей, даровала мне чудную по единодушию и единомыслию жену[1].

И свел меня Господь с путей и распутий мира и века сего и повел по пути Православия, от страны временного пришествия и странничества туда, где верующему оку светит издалече красотою нездешнего света Небесный Иерусалим, Град Царя Великого.

Положили мы за правило ежедневно прочитывать по Четьи-Минеям Святителя Димитрия Ростовского жития всех дневных святых, чтимых Православною Церковью. И так изо дня в день, из месяца в месяц — целый год. Шесть долгих лет прошло с памятной ночи моего сновидения. Поселились мы тогда с женой в тихом и

---

[1] Месяцев за шесть до моей свадьбы я видел во сне некую игуменню, спускавшуюся с неба с сонмом монахинь. Обликом своим она была, казалось мне, похожа на покойную старицу-игумению Орловского Введенского монастыря Антонию, очень мною любимую. На груди ее был золотой наперстный крест, а в руках палочка. Подавая мне ее в руки, она обратилась к сопровождавшим ее монахиням и сказала: "Ему палочка нужна!" Опора эта и послана мне была в лице моей жены.

в то время еще богобоязненном Валдае, на берегу святого Богородицкого озера, омывающего своими прозрачно-голубыми волнами Иверский Богородичен монастырь, любимое детище великого патриарха Никона. Приближался Успенский пост. Надумали мы с женой из валдайского нашего безмолвия углубиться в безмолвие еще более совершенное и поехать подготовиться говеть в Иверский монастырь, где уже успели у нас завестись друзья по духу и молитвенники среди насельников святой обители.

Как-то случилось так, что начиная с 20 июля у нас временно прекратилось чтение житий святых. Захватили мы с собой в монастырь июльскую и августовскую книги Четьих-Миней, и в тишине монастырского безмолвия я под 25 июля впервые обрел ключ к тайне моего сновидения: он нашелся в житии Преподобного Макария Желтоводского и Унженского, память которого именно в тот день и празднуется Православной Церковью.

Вот что обрелось в житии этом:

"В лето бытия мира шесть тысящ девятьсот четыредесят седьмое (в 1439 г.), во дни благоверного великого князя Василия Васильевича, бысть попущением Божиим нашествие агарянское на российские страны. Нечестивый бо царь Златыя Орды Улу-Ахмет из царства и отечества изгнан быв, к российским пределам приближися, и седши во опустелом граде Казани, нача распространяти область свою, воевати же и опустошати российскую землю: и прииде с сыном своим Мамотяком ратью на Нижний Нов-

град и на пределы того. И рассеявшеся сарацинстии вои повсюду, мечем и огнем опустошаху вся населения христианския. Проидоша и в пустынная в пределах тех места, идоша до Желтоводския Макария Преподобнаго обители, на нюже нечаянно нападоши, всех в ней обретшихся иноков и бельцов, овых мечным посечением, аки класы на ниве пожаша, овых же плениша и обитель сожегоша, Преподобнаго Макария, емше жива, ведоша с прочими пленники к воеводе своему. Милосердовав убо воевода агарянский, даде свободу Преподобному Макарию, еще же и прочия пленныя свободи его ради. Бе же мирян плененных до четыредесяти мужей, кроме жен и детей, всех тех Преподобному дарова... едину заповедь Преподобному отцу дав ту, да не пребудут на тех Желтоводских местах. И соглашавше ити в Галические пределы... и помолившися Богу яшася пути непроходимы лесами и блатами страха ради поганых.

Бе же тогда месяц иуний.

Грядущим же им дни многи, не доста народу хлеба, и бысть скорбь велия изнемогающим от глада. И по Божьему смотрению молитвами же Преподобнаго Макария, обретоша дивияго скота, глаголемаго лося, в тесном месте, и яша его жива, и хотеша его заклати на пищу себе и просиша у отца святаго благословения и разрешения поста: бе бо тогда пост апостольский, и еще три дня бяше до праздника святых верховных апостол Петра и Павла. Преподобный же не благословляше им разоряти поста от церкви святыя установленнаго, но веляше тер-

пеливо ждати дне праздничнаго апостольскаго... и повеле да ятому лосю отрежут ухо и пустят его жива. Всемощный бо питатель Бог и без пищи облегчаше им глад.

Приспевшу же святых верховных апостолов дню и помолившись святому, внезапу оный преждереченный лось, невидимой рукою приведен, обретеся посреде народа, и яша его руками жива, и видевше урезанное ухо, познаша яко той есть. Людие же заклаша лося и испекше ядоша вси и насытишася довольно".

Так, спустя шесть лет после знаменательного для меня сновидения, и открылась мне его тайна в свидетельство непреложной истины, что земная жизнь всякого человека, ищущего спасения в вечной жизни, ныне, как и встарь, управляется всеблагим промыслом Божиим или непосредственно, или же чрез небесных пестунов — угодников Божиих, подобных Макарию Желтоводскому и Унженскому.

Знаменательно для меня в этом сновидении было и то, что обучение меня хранению святых постов, установленных Церковью, произошло как раз перед первой моей поездкой к Преподобному Серафиму за исцелением тела и души: надо было сперва стать покорным Сыном Церкви, и только уже затем, а не раньше.

IV

Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец

Сложилось уже давно сказание это в сердце моем, но не высказалось: кто такой я, чтобы снам моим да и вообще особе моей давать зна-

чение и занимать ими братию мою по вере Христовой? Домашние мои все то, что поведано было выше, знали, но чтобы записать это или тем более печатать, мне того и в голову не приходило, пока не произошло следующего.

В том доме, в котором в Оптиной пустыни нам благословили жить оптинские старцы, мы одну комнату, рядом с нашей спальней, отвели под моленную. У жены моей икон было много, а у меня и того больше: не держать же их в сундуке под спудом.

Небольшая иконочка Пр. Макария, та, что я получил от монахини-сборщицы, в ряду других висела довольно высоко, и прикладываться к ней было нельзя.

Как-то раз, прикладываясь после молитвы к нижнему ряду икон, я увидел среди них на необычном месте и иконочку Пр. Макария. Спрашиваю жену:

— Это ты ее сюда поставила?

— Я. Она почему-то сорвалась со своего гвоздика и упала, я ее сюда и поставила.

И вот как начал я к этой иконе прикладываться каждый день, так точно кто стал мне внушать помыслом: что ж ты молчишь? Что не поведаешь ради уловления хотя бы единой заблудшей души в церковное лоно и во славу Преподобного с тобою бывшее? Сказалось так в сердце и не раз, и не два, и не три, пока не сел, и не взялся за перо, и не послал в "Троицкие Листки" сказания об этом под заглавием "Небесные пестуны". И что же? Как только я это сделал, икона Преподобного вновь вернулась на

свое место: жена моя, ничего не ведая о том, что творилось в моем сердце вплоть до отправки моего сказания в печать, взяла и перевесила икону на то место, где она прежде висела.

Но дело тем еще не кончилось.

Прошло с этого времени еще лет одиннадцать. За эти годы затемнился свет земли Русской. Жили мы на Украине, в Полтавской губернии. Дал нам Господь на это страшное время свою домовую церковь, а меня удостоил быть при ней и чтецом, и певцом, и сторожем, и ктитором. Жена пономарила. Похаживали к нам в церковь молиться добрые люди, и между ними один раб Божий, контролер соседнего сахарного завода со своей дочкой лет семи. Както раз в беседе с ним я рассказал ему повесть о том, как Преподобный Макарий Желтоводский вразумил меня блюсти пост апостольский. Беседа эта происходила за неделю до конца Петрова поста 1922 года. Так она на моего собеседника подействовала, что по заключении ее он от всего сердца воскликнул, обращаясь к сидевшей с нами дочке, Валентине:

— Ну, Валя, видно, нам с тобой надо будет эту неделю попоститься!

Прощаясь, он уговорился со мной, что, как минует пост, он пришлет за нами лошадь и арбу, чтобы у него нам всем пообедать. Своей лошади у него не было, так решено было, что он попросит ее у одного нашего приятеля.

— Только помните, — говорю я ему, — что нынче Петров день падает у нас на среду — день постный: в этот день за нами не присылайте.

— Как постный! Ведь это праздник?

— Праздник праздником, а пост постом: устав такой — рассуждать не приходится.

Пришел Петров день. Смотрю, в обеденное время подъехала от контролера подвода: пожалуйста ехать!

— Там, видно, забыли, что сегодня день постный, и будут угощать скоромным, придется есть скоромное!

Жена объявила, что скоромного есть не станет и поста не нарушит. Прислуга, много лет у нас жившая, свой человек — Аннушка, женщина старого, крепкого закала, возмутилась:

— Оскоромитесь сегодня — весь ваш пост пропадет: будто весь пост ели скоромное!

Сестра хозяина того имения, в котором мы жили, тоже с нами приглашенная на обед, вставила и свое слово:

— Есть не будем — поставим хозяев в неловкое положение. А у контролера-то, всем нам известно, едят и вкусно, и сытно, а наша еда всегда вполупроголодь: время переживаем голодное; сколько людей за эти годы уже умерло с голоду. Искушение!

— Ну, — решаю я, — пусть, помолясь, нам ответит на все Слово Божие!

Перекрестившись, открыл Библию. И что же открылось?

Третья книга Ездры, 3-я глава, 21-й стих:

“С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь — и побежден, так и все от него происшедшие”.

Нечего, стало быть, и думать о скоромном. А когда приехали к контролеру, то оказалось, что не из чего было и огород городить: обед был постный.

А у нас теперь уже и духовенство сплошь стало нарушать посты. Зато и само оно, и весь народ, что пошел вслед за богом века сего, сидят зачастую голодные и холодные: у жита — без хлеба, у леса — без дров, у сахарных заводов — без сахара. Не хотим поститься в свое время волею — поголодаем и без времени неволею.

Богу нашему слава!



25 октября 1909 г.

I. Грозное предчувствие. Босяк и министры. Благословение

Удивительная стоит в нынешнем году осень! Вот уже и 25 октября, а тепло все еще держится, и октябрь похож скорее на апрель, а осень на весну. Вечером вчера гуляли. За монастырской оградой, в чудном Оптинском лесу, я слышал майского жука, близко прогудевшего около моего уха. Это что-то как будто похоже на изменение стихии, предвозвещенное святыми Отцами Церкви на конец времен как знамение его приближения. Шли мы с женой из лесу, с Железенки, направляясь к своему дому, от востока к западу. Лес стал редеть. Вечерняя заря горела над монастырем, как расплавленное с серебром золото. Небо казалось стеклянным и залитым жидкой, сквозящей огнем позолотой. Тихо, не шелохнет; ни звука в лесу; безмолвие в монастыре; ни души не видно — все замерло, точно притаило дыхание, чего-то как будто ожидая. Четко, как вырезанные в золотом небе, высятся

и тянутся к нему оптинские колокольня и храм, монашеские корпуса, белокаменные стены.

Глядишь на всю эту Божью красу сквозь редкие на опушке, стройные стволы могучих сосен — не налюбуешься. И вдруг откуда-то мысль, как молния, и с ней пророческие Спасителевы слова: "Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне".

Жутко мне стало на душе. Неужели мне суждено дожить до ужаса видеть разрушение святых мест родной земли? И кто же осмелится их коснуться? Чья дерзновенная рука подымется на такое злодеяние, худшее из всех душегубств? И голос сердца ответил скорбным вздохом: "От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя; и Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о ТЕБЕ; ты сделаешься ужасом; и не будет тебя во веки" (Иезекииль, 28, 17 — 19).

"И Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя!" Этими словами пророка и вздохнуло мое смятенное сердце: не отвне, не от руки чужеземца, а от руки самой твоей Родины, вскормленных и вспоенных святынями веры отцов их, падут эти великие здания за то, что "неправедной торговлей нашей мы оскверни-

ли святилища наши". "Неправедная торговля" — неправедная земная жизнь наша, ибо, по слову Божию, мир есть торжище, жизнь наша — купля. Ой, страшно!

Пошел в рухольную — там шьют мне платье. Хозяин рухольной, иеродиакон Макарий, большой мне доброхот и монах очень внимательной жизни, встречает меня словами:

— Полюбуйтесь там, в рухольной, на человека, послушайте-ка его речи!

В рухольной, в ожидании старой, ношеной обуви, еще годной до известной степени к употреблению, которую раздают нищим оптинские монахи, сидел босяк общего босяцкого типа — много таких за последнее время наплодила от рук отбившаяся Русь. Он что-то оживленно объяснял окружавшим его послушникам, работающим в рухольной. Я подошел с о. Макарием.

— О чем ведете беседу?

— О том, — ответил на мой вопрос босяк, — что мне нужно хоть сколько-нибудь приодеться, чтобы меня допустили до министров, а то в таком параде, — он указал со смехом на свои лохмотья, — нашего брата к ним не допустят.

— Зачем же вам министры понадобились?

— А затем, что у нас революция на носу, если министры не примут мер и не доведут до сведения государя.

— Кто же это вам сказал?

— Мы низы: низам ли не знать, что на низу делается? Как только война, — а войне быть

непременно, — так сейчас и революция вспыхнет. Уж это вы мне поверьте: нам это хорошо известно. Для этого все готово.

Спорить я с ним не стал и вышел из рухольной. Следом за мной вышел и о. Макарий.

— Что вы на это, С.А., скажете? — спросил он меня.

— Да то же, что и он: по всему видно, что земля наша подкопана и мины под нее подложены.

— Кем же?

— Нашими союзниками-французами: французы — известные революционеры и безбожники. От такого союза добра не ждать. Как нельзя добра ждать от нашего священного гимна с марсельезой, а их теперь распевают вместе. Какое общение у Христа с Велиаром? Не быть добру — так и знайте.

И вспомнились мне слова черемснецкого игумена Антония Бочкова: “Я живу и умру с мыслью, что самый опасный, самый страшный враг наш — французы. У моих дорогих соотечественников память короткая: они забыли Наполеона и 12-й год, а в моем сердце живет и кровоточащей раной доселе болит осквернение святынь Московского Кремля. Горе тем сынам России, кто об этом позабудет, горе той России, у которой народятся такие дети!”

Горе современной России!

Вот уже и полгода прошло, как я начал вести свои записки, увлекаясь ими иногда до того,

что некогда иной раз и красотами оптинской природы наслаждаться, а между тем частенько является помысел: да к чему все это и кому это нужно? И вот 3 июля, на день Святителя Московского Филиппа, мои дневники нежданно-негаданно получили в моих глазах новую ценность. Случилось это так.

В Оптиной, месяца два тому назад, заболел один из наиболее уважаемых старцев-иеромонахов, отец С., к которому у нас с женой всегда было особое чувство любви и почтения. Заболел он, да так серьезно, что мы уже не чаяли и живым быть ему. Во время болезни его посхимили, и он выздоровел. Это бывает с больными монахами при пострижении их в схиму. Теперь он настолько уже поправился, что начал принимать кое-кого не только на исповедь, но и на совет и беседу.

3 июля мы с женой навестили его в больнице.

— Захвачу-ка я с собой свои дневники, — сказал я жене. — Старец-то уже может быть на исходе. Покажу ему свои записки: что он мне о них скажет? — Пришли к старцу; застали его довольно бодрым.

— Пишете ли вы теперь что? — спросил он меня в разговоре.

— А вот, батюшка, взялся вести дневник, а не знаю, какой толк из него выйдет. Он со мной, и благословите прочитать из него что-нибудь на выдержку.

Я прочел несколько отрывков. Смотрю: батюшка встал со своего ложа, обратился лицом

к иконам и с особой силой молитвенного вдохновенья произнес такие слова:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Владыка Господи, благослови труды раба Твоего во славу Твою, во спасение чад Святой Твоей Церкви.

И обернувшись к нам — мы стояли на коленях — и лежащим на столе около нас моим запискам, он трижды осенил нас иерейским благословением и произнес:

— Да будет, да будет, да будет!

Много побеседовали мы тут с батюшкой о моих исследованиях в "тайне беззакония", деющейся в мире.

— Да, — сказал он мне, — близок, близок конец! Пишут мне со старого Афона: наступают скоро 1913 — 1920 годы. В эти годы произойдут грозные и небывалые доселе на земле события, когда сами стихии изменятся и законы времени поколеблются. Поистине люди придут в такое дерзкое безумие против Создателя своего и Бога, что время не выдержит и побежит: день будет вращаться, как час, неделя — как день и годы — как месяцы, ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии стали напрягаться и спешить, чтобы скорее окончить прореченное Богом число для восьмого числа веков. Наступило время сына погибели — антихриста.

На этих словах закончилась наша беседа с оптинским схимником.

Ей, гряди, Господи Иисусе!

И вот разразилось бедствие, какого еще не видывала земля, — всемирная война, человекоистребление по последнему слову братоубийственной науки.

Страшный гнев Божий, кара Господня, казнь безмерно согрешившего человечества!

Да! Гнев, и кара, и казнь, но и... человеколюбие крайнее, и всепрощение безграничное, и милосердие непостижимое, никаким грехом не побеждаемое милосердие Божие.

Когда война была уже в разгаре, в те дни дошел до меня слух из Дивеева, от дивеевских "сирот" Преподобного Серафима:

"Блаженная "маменька" Прасковья Ивановна все радуется, все в ладоши хлопает да приговаривает:

— Бог-то, Бог-то милосерд-то как! Разбойнички в Царство Небесное так валом и валят, так и валят!"

И вот в то же время, только в другом месте, в том маленьком захолустном городке, куда поселил меня Господь, одной рабе Божией, умом и сердцем препростой (я не назову ее имени смирения ее ради), было даровано во сне видение судеб Божиих, сокрытых от разумения премудрых и разумных и открываемых младенцам. Очень скорбела эта раба Божия о тех ужасах войны, которые так нежданно-негаданно для многих (немногие-то ее уже давно ожидали) обрушились на Россию. Было это, помнится, вскоре после многодневных жестоких боев на авст-

рийской границе, увенчавшихся взятием Галича и Львова, после великих страданий армии Самсонова в Восточной Пруссии — словом, после великой кровавой жертвы, принесенной Россией за грехи свои перед правдой Божией.

И видит эта раба Христова: стоит она будто бы в незнакомом месте. Ночь. Небо темное. На земле ни зги не видать. И вдруг разверзлось небо, и в лучезарном блеске ослепительного величия и неизобразимой славы явился на небе пречудный, предивный град Сион, великий город, святой Иерусалим. Он имел славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, яспису кристалловидному (Апок. 21, 10 — 11). Не находя слов к описанию дивного града этого, раба Божия в восторге от видения своего сказывала:

— Ну, как Новый Афон, что ли...

Так прекрасен был град тот. А краше и лучше Нового Афона раба Божия, его видевшая, ничего себе и представить не могла. Да и как вообразить себе и изобразить людям красоту небесную, когда ей на земле и подобия нет?!

И от града этого, Иерусалима святого, имевшего славу Божию, увидела она, спустилась до земли от неба величественная лестница. И устремилась к ней всем желанием своим имевшая видение — чтобы как можно скорее подняться по ней и взойти в град небесный, войти в славу его, насладиться небесной его красотой. Но — увы! — до земли не досязала лестница, и концы ее были от земли выше роста человечес-

кого, так что и протянутым кверху рукам нижней ее ступени достать было невозможно.

— И отошла я, — сказывала раба Божия, — к сторонке и стала; смотрю и неутешно плачу о том, что недостойна я града того небесного. И что же, милые мои, вижу? Откуда-то взялись воины: идут в серых шинелях, винтовки за плечами, идут один по одному, целое огромное воинство, полки за полками, без числа без счету, идут и проходят мимо меня; подходят к лестнице и без всякого труда, как бестелесные, восходят по ней и скрываются в открытых вратах небесного Иерусалима. И пред тем, как вступить им во врата Иерусалима небесного, вижу я, загораются на них венцы такой красоты и сияния, что их не только описать, но и вообразить себе, не видавши, невозможно. И долго я стояла, и смотрела на них, и плакала, плакала. А они все шли да шли мимо меня — полки за полками, шли и возносились по лестнице к небу и сияли своими венцами, как яркие звезды на тверди небесной.

Проснулась я — вся подушка моя была мокрая от слез; и была я вне себя от радости и умиления, от благодарности милосердию Божию. И, проснувшись, я опять плакала, слез удержать не могла: зачем я на земле оставлена, зачем недостойна я красоты той небесной, тех венцов, которые, как звезды, горели на главах небесною славой прославленного воинства?

Прошел год войны; пошел второй.

Проездом по делу в Петербург меня с женою навестили в нашем захолустье ее давно знако-

мые и любимые монахини одного из монастырей Черниговской епархии, того монастыря, что когда-то был ограблен разбойником Савицким. Разговорились о войне, стали доискиваться ее духовного смысла и значения и что имеющему уши слышати и очи видети есть о чем над ней призадуматься. И вот что за беседой рассказала мне старшая из моих собеседниц, пожилая, образованная, а главное, духовно настроенная монахиня.

— Поблизости от нашего монастыря, — сказывала она, — есть помещичья усадьба. В этой усадьбе устроен теперь лазарет для раненых воинов. Зовется он Барышниковский лазарет. Много выздоровевших в этом лазарете раненых перебывало в нашей обители: вылечатся — и идут к нам помолиться Богу, поблагодарить за исцеление и поговеть, кто пред возвращением в строй, а кто пред отправкой на родину для окончательного восстановления здоровья. И вот среди таких-то богомольцев мне раз довелось увидеть одного раненого солдата с таким особенным выражением лица, что оно приковало к себе все мое внимание. Что-то совершенно нездешнее, неземное, в высшей степени одухотворенное было в лице этом, в глазах, во всем облике этого человека. Такое выражение только на иконах можно видеть, на ликах страстотерпцев-мучеников, когда от тягчайших страданий плоти истомленная душа страдальца внезапно ощутит небесную помощь и узрит ниспосланного ей свыше Ангела-утешителя. Подошла я к этому человеку.

— Откуда ты, — спрашиваю, — раб Божий?

— Сейчас из лазарета, а то был на войне.

— Заболел, что ли, или был ранен?

— Ранен, матушка, теперь, слава Богу, выздоровел. Вот у вас отговею и обратно в строй, к своим, туда, на Карпаты.

— Ну, небось, сперва к своим домой съездишь? Ты что ж, холостой или женатый?

— Женатый, матушка, жену, двоих детей имею. Только я, матушка, домой теперь не поеду, а в строй, на позиции. Я своих всех поручил Царице Небесной — Она их и без меня ладно управит. Жду я, матушка, жду не дождусь, пострадать желаю за веру святую, за царя-батюшку, за родимую мать — землю русскую, за православной наш народушко, пострадать, да и помереть в сражении.

Я была поражена: нашему ли времени такие речи слышать? “Пострадать и помереть в сражении?!”

— Да откуда ж, — воскликнула я, изумленная, — откуда ж у тебя такие мысли и желания?

— Ах, матушка! — вздохнул он мне в ответ. — Если б только знали вы, как я томлюсь в ожидании этой смерти, как жду ее, ищу ее, а она мне, как клад какой, не дается... С чего это у меня, спрашиваете вы? А вот с чего: было это за австрийской границей. Нашу часть пустили в обход одной горы, поверив неким предателям, что мы захватим врасплох австрийцев. Были мы преданы и попали под такой перекрестный огонь неприятеля, что от нашей обход-

ной колонны мало кто и в живых остался. Меня тут контузило, и я упал без сознания. Когда опомнился, то стало уже темнеть. Бой продолжался, но не рукопашный, а огневой. Кругом меня живых никого — одни трупы, горы трупов — и своих, и неприятельских. Почти совсем стемнело. И услышал я вскоре нерусский говор. Ну, думаю, австрийцы или немцы идут добивать наших раненых и грабить трупы.

Смотрю: они и есть, только от меня еще далеко. Я поскорее — да под трупы убитых, залез под них и притаился, не дышу, словно тоже убитый. Прошли немцы, обшарили трупы, обобрали, кого штыком ткнули. Меня не тронули: не заметили, глубоко был зарывшись. Прислушиваюсь — ушли. Подождал я немножко и стал потихоньку вылезать из-под трупов на свободу. А уж стало вовсе темно; только вспыхивали, как молнии, разрывы шрапнелей да повизгивали пули. И вдруг, матушка, такой свет откуда-то явился, что я чуть не ослеп от этого свету. И Господи Боже мой, что ж я тут в этом свете увидел, тому и поверить, кажется, невозможно! Смотрю: идет между павшими в бою Сама Матушка Царица Небесная, сияет светом, как солнце, идет и ручками Своими пречистыми возлагает то на ту, то на другую голову павших воинов венцы красоты неизобразимой. Я как крикну:

— Матушка! Матерь Божия! Даруй и мне такой же венец из ручек Твоих пречистых!

Уж, видно, не в себе я был, коли так крикнул. А Она, Царица Небесная, на крик мой взя-

ла да остановилась, не побрезгала простым солдатом, да и говорит:

— Тебе не время еще. Иди и зарабатывай. Заработаешь — такой же получишь.

— Куда ж, — говорю Ей, — пойду я? Кругом стреляют, меня убьют, и заработать не успею.

— Иди, — сказала Богородица и перстом Своим указала во тьме, куда идти было надобно. И куда она пальчиком Своим показала, там свет проложился, как дорожка; и по свету этому я дошел до своих невредимый, хоть и свистали и щелкали вокруг меня пули...

И вот с той самой ночи нет мне на земле покою и все мне стало на земле не мило. Ищу я заработать себе венец из ручек Матери Божией, да, видно, все еще не умею: во скольких боях был, и все ни одной царапины. В последнем, наконец, ранило. Ну, думаю, заработал! Нет, опять выздоровел. Теперь выписался я из лазарета, отговею у вас и причащусь и тогда скорее опять на фронт, в строй — теперь-то уже, даст Бог, венец себе заработаю.

— Так на этом мы с этим рабом Божиим и простились, — закончила свой рассказ моя собеседница-монахиня[1].

Вот, стало быть, что значит, что приоткрылась одним уголком завеса, до времени скрывающая от нас Царствие Небесное и славу венцов его нетленных: блеснуло на человека тем

---

[1] Монахиню звали мать Людмила. Она происходила из румынского рода князей Гика. Рассказывала это при мне в Валдае Новгородской губернии в 1915 году. *Е.К.*

светом, пред которым весь мир наш тьма, и жить уже не стало охоты, и все стало не мило, и все земное заслонилось одним видением, одним желанием — заслужить и заработать венец на главу из пречистых ручек Царицы Небесной.

А поглядеть да послушать, что пишут да что говорят о войне газеты и умные люди!

"Исповедаю ти ся, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем. Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою" (Мф. 11, 25 — 26).

III. Судьбы России

В 1879 году в великой хранительнице православного духа Глинской пустыни (Курской епархии) скончался великий старец, схиархимандрит Илиодор. Вот что из жития его известно мне от двух ближайших учеников его, иеросхимонаха Домна и игумена Иассона (в схиме Иоанна, списателя жития схиархимандрита Илиодора).

"Быв еще в сане иеродиакона, с именем Иоаникия, в молодых летах, старец о. Илиодор настолько преуспел в очищении сердца, что ему были открываемы знаменательные видения. Случилось это в конце царствования императора Александра I. "Однажды поздно вечером, — сказывал он, — я сидел в своей келье один, читая послания св. Апостола Павла. Я остановился на 2-й главе 2-го послания его к Солунянам, на стихах 2 — 10 и т.д. На этих страшных

известиях Св. Апостола я остановился и погрузился в размышление, рассуждая о явлении в мир человека греха, сына погибели, которого само явление будет по действу сатаны, так что этот ужасный человек сядет в храме Божием, выдавая себя за Бога и требуя себе Божеских почестей. Какой же, думал я, будет этот ужасный человек и какое будет то страшное время для живущих на земле! При этом естественно пришло желание не видеть того ужаса, а потому в уме остановилась основная мысль обращения к Господу в таких словах:

— Господи! Не дай мне видеть то страшное время!

В это время я почувствовал, что кто-то сзади меня положил мне свою руку на правое плечо и сказал:

— Ты сам увидишь отчасти.

Почувствовав осязание плеча и услышав говорящий голос, я осмотрелся вокруг себя, но никого не оказалось, и дверь кельи была заперта на крючок. Осмотрелся я еще раз, чтобы увериться, что никого нет. Я удивился и стал рассуждать, что бы это значило и кто тот невидимый, что говорил и отвечал на мои мысли. Неужели же я увижу, хотя бы и отчасти, то страшное время и как скоро оно будет? Долго я рассуждал и размышлял в недоумении и страхе, переходя от одного рассуждения к другому. Наконец, возложившись на волю Божию, я совершил свое вечернее правило, прилег отдохнуть и только что забылся тонким сном, как увидел такое видение.

Стою я в ночное время на каком-то высоком здании. Вокруг меня было много громадных построек, как бывает в больших городах. Надо мною небесный свод, украшенный ярко горящими звездами, как то бывает в чистую безлунную ночь. Обозревая небесный свод, я любовался красотою неподвижных звезд. Затем, обратив свой взор на восток, я там увидел выходящий из-за горизонта громадного размера овал; он был составлен из звезд различной величины. На середине овала, в верхней и нижней его части, были звезды большого размера, постепенно уменьшаясь, они с боков закругления становились весьма малыми. Посреди овала было изображено большими буквами имя — АЛЕКСАНДР.

Овал этот, взойдя на восток, шел тихо, величественно подвигаясь и склоняясь к западу. Смотря на величественную красоту движения овала, я размышлял и говорил себе: какая славная и великая православная вера наша, царь православный! Вот и имя его так славно и величественно на небесах...

Проводив глазами звездный овал, пока он скрылся на западе за горизонтом, я опять взглянул на восток и вижу — выходит оттуда второй звездный овал, столь же величественный и во всем подобный первому, а в середине его изображено было уже другое имя большими буквами — НИКОЛАЙ. И внутренний голос вещал мне, что после Александра I будет преемником его престола Николай. И было то мне в удивление, ибо наследником престола был не

8 Зак. 494

Николай, а Константин Павлович. Прошел и этот овал так же величественно по небосклону и, склонившись к западу, скрылся за горизонтом.

Проводив глазами и этот овал, я опять обратил свой взор на восток и вновь увидел там восходящий звездный овал, по форме во всем подобный двум первым, но мерою значительно меньший и составленный из звезд малого размера, и притом цвета как бы крови. В середине же овала изображено было кровавыми буквами имя — АЛЕКСАНДР. И внутренний голос возвестил мне, что после Николая преемником его престола будет Александр, дни которого сокращены будут злодеянием. Прошел этот овал по небу и быстро скрылся за горизонтом на западе.

Посем с востока, в таком же порядке, взошел, прошел по небу и скрылся на западе с большой быстротой овал, подобный первым, но только малого размера, со слабо начертанным в нем, как бы в тумане, именем АЛЕКСАНДР. И возвещено мне было внутренним голосом, что дни и этого государя сокращены будут и непродолжительно будет его царствование над русским народом.

После этого на востоке, бледно и туманно начертанное, явилось имя НИКОЛАЙ. Звездного овала вокруг не было; подвигалось оно по небу как бы скачками и затем вошло в темную тучу, из которой мелькали в беспорядке отдельные его буквы. После того наступила непроглядная тьма, и мне представилось, что все

рушилось, подобно карточным домам, в момент кончины мира. Ужас объял меня, стоявшего в то время на возвышении, не связанном с разрушающимся миром".

И когда старец Илиодор сказывал о видении этом ученикам своим, то в страхе при одном воспоминании о виденном закрывал лицо свое руками и говорил:

— Нецые от вас, чадца, живыми предстанете на Суд"[1].

В Валдайском Иверском монастыре скончался летом 1915 года благочестивой жизни старец-иеромонах отец Лаврентий. Старого закала и истинно монашеского духа был этот человек, с молодых лет удостоившийся находиться под духовным руководительством известного в летописях подвижника благочестия XIX века, архимандрита Лаврентия, бывшего наместника Киево-Печерской Лавры, а скончавшегося настоятелем на покое Валдайского Иверского монастыря. Иеромонах Лаврентий, будучи еще послушником, а затем монахом, был долгое время бессменным келейником этого великого старца. От него он и воспитание свое получил монашеское, а с именем его при постриге и от духа его приял в мере дарованных ему талантов. С этим подвижником благочестия я

---

[1] Видение схиархимандрита Илиодора никогда не было опубликовано полностью. Князь В.Д.Жевахов, впоследствии епископ Иоасаф, был в Глинской пустыни уже после революции и там получил последнюю часть видения, касающуюся царствования императора Николая Второго. Эта часть видения хранилась втайне, пока не осуществилась.

имел счастье быть в довольно близких отношениях и поражался его великому терпению в трудной, едва переносимой его болезни (он страдал хроническим воспалением лицевого нерва), и когда периодически болезнь эта обострялась, то страдания его доходили до крайней степени мученичества.

— Самая страшная зубная боль, — говорил он мне, — ничто в сравнении с этою болью.

Был однажды и он, этот адамант терпения, на пороге к самоубийству от нестерпимых страданий, но успел милостью Божией духовным оком узреть лукавого советника, внушавшего ему эту пагубную мысль, и вовремя остановиться на краю обрыва, с которого хотел броситься в озеро и утопиться. Часто мне приходилось иметь с ним духовную беседу, и, конечно, большею частью беседа эта вращалась около вопроса о кончине мира. О. Лаврентий не мог примириться с мыслью, что царству русскому приходит конец; а если ему, думал он, еще нет конца, то, стало быть, и антихристу приходить не время, и потому до конца мира еще долго.

Горячий патриот, о. Лаврентий внимательно следил во время войны 1914 года за военными действиями и молил Бога о победе русского оружия. Но за полгода до своей праведной кончины, перед которой он удостоился зреть наяву Божию Матерь, о. Лаврентий увидел сон: читает он будто священную книгу о конечной судьбе земного мира, и письмена книги этой изображены огненными буквами. Читает, ужасается — и просыпается в величайшем страхе,

запомнив из всего прочитанного только заключительные слова книги:

"Но Господь не даст усилиться пагубному и ускорит кончину".

Писал мне протоиерей о. Александр Суровцев из Вологды в сентябре 1914 года: "В конце августа был у меня родственник по покойной жене, священник из женского Крестовоздвиженского монастыря Яренского уезда Вологодской губернии. Этот уединенный монастырь известен строгостью жизни монашествующих сестер и расположен в глухом лесу, вдали от людского жилья. Приехавший иерей передавал, что к ним в монастырь ежегодно на 14 сентября приходит юродивый зырянин. Прошлый (1913-й) год он был и предсказал нынешнюю войну. Затем, будучи в гостях у священника, он предсказал ему, что три года он проживет в монастыре благополучно; три года, если не перейдет, с большими скорбями, а затем будет то, что если сказать, то "мати", жена, заплачет. Потом всетаки высказался, что священников будут избивать и скоро будет антихрист.

Зырянин сей даже не умеет говорить по-русски, а объяснялся через прислугу-зырянку. Предсказания этого раба Божия всегда сбываются с точностью. Если судить по указанным юродивым годам, то гонение на нас начнется годов через пять — в 1918 году.

Через год, в 1915 году, тот же юродивый-зырянин, придя в монастырь на 14 сентября, ходил по монастырю и по кельям и возвещал:

— Беда, беда! Антихрист, антихрист!”

Так писал мне о. Александр из Вологды.

В Нижнем Новгороде в начале девятисотых годов еще жива была многим боголюбцам известная благочестивая вдова Анна Павловна Хлебникова, имевшая от Бога дар видений и прозрения тайн грядущего. Ей, еще до японской войны, въяве показано было следующее видение: днем, во втором часу пополудни, при ярком солнечном свете в июле, явилась на небе Божия Матерь, сидящая в воздухе на престоле в небесной славе, а на коленях Ее находился Господь в отроческом возрасте, имея меч в деснице Своей. Матерь Божия взялась, было, за десницу Господа, чтобы удержать меч Его, но Он опустил его на землю. На земле стояло множество народа, и вдруг мечом Господа весь народ был объят огнем. Вид Господа был строгий, вид Божией Матери был жалостливо-умилительный. Видение продолжалось несколько минут.

Раба Божия Анна Павловна Хлебникова была строго благочестивой жизни, подвижница и великая молитвенница.

Записано в 1915 году со слов оптинского монаха Серафима.

Запись со слов Лидии Николаевны Пороховой, дочери камер-фрау императрицы Александры Феодоровны:

“Занимаясь с мужем фотографией и имея свободный доступ в места летнего пребывания

царской семьи, мы как-то раз в Петергофе попали на Царицын остров, во дворец-павильон времен Екатерины Великой. Там нас как старых знакомых его господ встретил с низким поклоном смотритель дворца. Оказалось, что это был бывший слуга помощника управляющего петергофскими дворцами Квашнина-Самарина. Уходя в отставку, Квашнин-Самарин устроил слугу своего смотрителем этого уединения.

— Он у меня богомол, — говорил он нам. — Пусть там себе на островке на покое подвижничает да Богу молится.

Этот "богомол" сказывал нам (было это в начале первого десятилетия нового века), что, выйдя раз ночью из своего помещения, он над большим Петергофским дворцом увидел на небе огромной величины огненный меч, и видел его не один он, а вся его семья и сослуживцы, которых он созвал наблюдать это грозное явление, вскоре после того так же внезапно исчезнувшее, как и появившееся".

Под 29 июня 1914 года живший в Скиту Оптиной пустыни иеромонах Ириней видел в сонном видении, что на востоке от Скита на небе появился крест, а под крестом — огненный херувим. После того на том же восточном небе он увидел ножны от меча и падающий из них с неба меч.

Под 31 декабря 1909 года записано у меня в моих заметках: "Сейчас вернулся от вечерни, смущенный и расстроенный и даже испуган-

ный. Подошел ко мне один из ближайших мне моих духовных друзей оптинских и говорит:

— Вы всю службу стоять будете?

— Нет, до акафиста. А что?

— Мне кое-что надо было бы вам передать.

Я вышел с ним из храма и пошел в его келью.

— Великое знамение у нас нынче в алтаре, во время службы сочельника, явлено было одному из священнослужителей. Стали читать паремии за вечерней перед Преждеосвященной Литургией. Вдруг в глазах этого священнослужителя все в алтаре смешалось: не стало видно ни алтаря, ни служащих, а на их месте он увидал огромное множество людей, в величайшем смятении и страхе беспорядочно бежавших от запада на восток и обратно. Что-то совершалось, по-видимому необычайное и страшное. И вдруг явился светоносный ангел, который обратился к тайнозрителю и сказал:

— Все, что ты видишь, имеет совершиться в ближайшем будущем".

Таково было грозное предзнаменование времен грядущих в Оптиной пустыни.

IV. Сердце царево в руце Божией. Предопределение

...Было это во дни тяжелого испытания сердца России огнем японской войны. В это несчастное время Господь верных сынов ее утешил дарованием царскому престолу, молитвами Преподобного Серафима, наследника, а царственной чете — сына-царевича, великого князя

Алексия Николаевича. Государю тогда пошел только что 35-й год, государыне-супруге — 32-й. Оба были в полном расцвете сил, красоты и молодости. Бедствия войны, начавшиеся нестроения в государственном строительстве, потрясенном тайным, а где уже и явным брожением внутренней смуты, — все это тяжелым бременем скорбных забот налегло на царское сердце.

Тяжелое было время, а Цусима была еще впереди.

В те дни и на верхах государственного управления, и в печати, и в обществе заговорили о необходимости возглавления вдовствующей Церкви общим для всей России главою — патриархом. Кто следил в то время за внутренней жизнью России, тому, вероятно, еще памятна та агитация, которую вели тогда в пользу восстановления патриаршества во всех слоях интеллигентного общества.

Был у меня среди духовного мира молодой друг, годами много меня моложе, но устроением своей милой христианской души близкий и родной моему сердцу человек. В указанное выше время он в сане иеродиакона доучивался в одной из древних академий, куда поступил из среды состоятельной южно-русской дворянской семьи по настоянию весьма тогда популярного архиерея одной из епархий юга России. Вот какое сказание слышал я из уст его.

— Во дни высокой духовной настроенности государя Николая Александровича, — так сказывал он мне, — когда под свежим еще впе-

чатлением великих Саровских торжеств и радостного исполнения связанного с ними обетования о рождении ему наследника он объезжал места внутренних стоянок наших войск, благословляя их части на ратный подвиг, — в эти дни кончалась зимняя сессия Св. Синода, в числе членов которой состоял и наш владыка. Кончилась сессия, владыка вернулся в свой град чернее тучи. Зная его характер и впечатлительность, а также и великую его несдержанность, мы, его приближенные, поопасались на первых порах вопросить его о причинах его мрачного настроения, в полной уверенности, что пройдет день-другой, и он не вытерпит — сам все нам расскажет. Так оно и вышло.

Сидим мы у него как-то вскоре после его возвращения из Петербурга, беседуем, а он вдруг сам заговорил о том, что нас более всего интересовало. Вот что поведал он тогда:

— Когда кончилась наша зимняя сессия, мы, синодалы, во главе с первенствующим Петербургским митрополитом Антонием (Вадковским), как по обычаю полагается при окончании сессии, отправились прощаться с государем и преподать Ему на дальнейшие труды благословение, и мы, по общему совету, решили намекнуть Ему в беседе о том, что нехудо было бы в церковном управлении поставить на очереди вопрос о восстановлении патриаршества в России. Каково же было удивление наше, когда, встретив нас чрезвычайно радушно и ласково, государь с места сам поставил нам этот вопрос в такой форме.

— Мне, — сказал он, — стало известно, что теперь и между вами в Синоде, и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества в России. Вопрос этот нашел отклик и в моем сердце и крайне заинтересовал и меня. Я много о нем думал, ознакомился с текущей литературой этого вопроса, с историей патриаршества на Руси и его значения во дни великой смуты междуцарствия, и пришел к заключению, что время назрело и что для России, переживающей новые смутные дни, патриарх и для Церкви, и для государства необходим. Думается мне, что и вы в Синоде не менее моего были заинтересованы этим вопросом. Если так, то каково ваше об этом мнение?

Мы, конечно, поспешили ответить государю, что наше мнение вполне совпадает со всем тем, что он только что перед нами высказал.

— А если так, — продолжал государь, — то вы, вероятно, уже между собой и кандидата себе в патриархи наметили?

Мы замялись и на вопрос государя ответили молчанием. Подождав ответа и видя наше замешательство, он сказал:

— А что, если, как я вижу, вы кандидата еще не успели себе наметить или затрудняетесь в выборе, что, если я сам его вам предложу — что вы на это скажете?

— Кто же он? — спросили мы государя.

— Кандидат этот, — ответил он, — я! По соглашению с императрицей я оставляю престол моему сыну и учреждаю при нем регентство из государыни-императрицы и брата мое-

го Михаила, а сам принимаю монашество и священный сан, с ним вместе предлагая себя вам в патриархи. Угоден ли я вам и что вы на это скажете?

Это было так неожиданно, так далеко от всех наших предположений, что мы не нашлись, что ответить, и... промолчали. Тогда, подождав несколько мгновений нашего ответа, государь окинул нас пристальным и негодующим взглядом, встал молча, поклонился нам и вышел, а мы остались, как пришибленные, готовые, кажется, волосы на себе рвать за то, что не нашли в себе и не сумели дать достойного ответа. Нам нужно было бы ему в ноги поклониться, преклоняясь пред величием принимаемого им для спасения России подвига, а мы... промолчали!

— И когда владыка нам это рассказывал, — так говорил мне молодой друг мой, — то было видно, что он действительно готов был рвать на себе волосы, но было поздно и непоправимо: великий момент был не понят и навеки упущен — "Иерусалим не познал времени посещения своего" (Лк. 19, 44)...

С той поры никому из членов тогдашнего высшего церковного управления доступа к сердцу цареву уже не было. Он, по обязанностям их служения, продолжал по мере надобности принимать их у себя, давал им награды, знаки отличия, но между ними и его сердцем утвердилась непроходимая стена, и веры им в сердце его уже не стало, оттого что сердце царево истинно в руце Божией и благодаря происшедшему въя-

ве открылось, что иерархи своих си искали в патриаршестве, а не яже Божиих, и дом их оставлен был им пуст.

Это и было Богом показано во дни испытания их и России огнем революции. Чтый да разумеет (Лк. 13, 35).

Вскоре после революции 1917 года митрополит Московский Макарий, беззаконно удаленный с кафедры "временным правительством", муж поистине "яко един от древних", видел сон.

— Вижу я, — так передавал он одному моему другу, — поле. По тропинке идет Спаситель. Я за Ним и все твержу:

— Господи, иду за Тобой!

А Он, оборачиваясь ко мне, все отвечает:

— Иди за Мной!

Наконец подошли мы к громадной арке, разукрашенной цветами. На пороге арки Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал:

— Иди за мной!

И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и проснулся.

Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим в той же арке, а за нею со Спасителем стоит государь Николай Александрович. Спаситель говорит государю:

— Видишь в Моих руках две чаши: вот эта горькая — для твоего народа, а другая, сладкая — для тебя.

Государь падает на колени и долго молит Господа дать ему выпить горькую чашу вмес-

то его народа. Господь долго не соглашался, а государь все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскаленный уголь и положил его государю на ладонь. Государь начал перекладывать уголь с ладони на ладонь и в то же время телом стал просветляться, пока не стал весь пресветлый, как светлый дух.

На этом я опять проснулся.

Заснув вторично, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает ему манну. Незримый голос в это время говорит:

— Государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен.

Сон этот был мне сообщен в 1921 году, а в 1923 году бывший во время европейской войны при Русском Дворе французским послом Морис Палеолог издал книгу под заглавием "Царская Россия во время мировой войны". В этой книге он между прочим писал следующее:

"Это было в 1909 году. Однажды Столыпин предлагает государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение скептическое, беззаботное — движение, которое как бы говорит: "это ли или что другое — не все ли равно?!" Наконец он говорит тоном глубокой грусти:

— Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю.

Столыпин протестует. Тогда царь у него спрашивает:

— Читали ли вы жития святых?

— Да, по крайней мере частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около двадцати томов.

— Знаете ли вы также, когда день моего рождения?

— Разве я мог бы его не знать? 6 мая.

— А какого святого праздник в этот день?

— Простите, государь, не помню!

— Иова Многострадального.

— Слава Богу! Царствование вашего величества завершится славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.

— Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания, но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова: "Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне" (Иов. 3, 25).

В другом месте, перед важным решением, много молившись, Он сказал:

— Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России: я буду этой жертвой — да совершится воля Божия!

— Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне, — говорит Столыпин, — торжественное это заявление. Какая-то

странная смесь в его голосе, и особенно во взгляде[1], решительности и кротости, чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного, как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некоей внешней силе — величию Промысла...

Вот что значит сердце царево в руце Божией! И кто же пишет это? Француз, представитель самого безбожного народа, самого богоборческого правительства!..

Истинно, камни вопиют.

При особе ее императорского величества, государыни-императрицы Александры Феодоровны состояла на должности обер-камер-фрау Мария Феодоровна Герингер, урожденная Аделунг, внучка генерала Аделунга, воспитателя императора Александра II во время его детских и отроческих лет. По должности своей, как некогда при царицах были "спальные боярыни", ей была близко известна сама интимная сторо-

---

[1] О, этот взгляд! Вовек не забыть мне его! 5 мая 1904 года государь Николай Александрович, проездом через Мценск по направлению к Орлу, Курску и другим городам юга России, в которых он благословлял войска в походе против Японии, принимал на платформе Мценского вокзала депутацию мценского дворянства. В составе депутации был и я. При представлении государю я стоял рядом с севастопольским ветераном, капитан-лейтенантом Владимиром Васильевичем Хитрово. Заметив его по форме и орденам, государь подошел к нему и стал его ласково расспрашивать о его прежней службе. Тут я и имел радость, более того — восторг видеть глаза и взгляд государя. Передать его выражения ни словами, ни кистью невозможно. Это был взгляд Ангела-небожителя, а не смертного человека. И радостно, до слезного умиления радостно было смотреть на него и любоваться им, и... страшно, страшно от сознания своей греховности в близком соприкосновении с небесной чистотой. *(Прим. автора.)*

на царской семейной жизни, и потому представляется чрезвычайно ценным то, что мне известно из уст этой достойной женщины.

В Гатчинском дворце, постоянном местопребывании императора Павла I, когда он был наследником, в анфиладе зал была одна небольшая зала, и в ней посредине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями. Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ зрителю. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла I, императрицей Марией Феодоровной, и что ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто лет со дня кончины императора Павла I, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол России.

Павел Петрович скончался в ночь с 11-го на 12 марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал, таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных, взоров.

“В утро 12 марта 1901 года, — сказывала Мария Феодоровна Герингер, — и государь, и государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину — вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились, как к праздничной интересной прогулке, обещавшей

им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в том ларце, никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае государь стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и для него лично, и для династии".

---

6 января 1903 года на Иордани у Зимнего дворца при салюте из орудий от Петропавловской крепости одно из орудий оказалось заряженным картечью, и картечь ударила только по окнам дворца, частью же около беседки на Иордани, где находились духовенство, свита государя и сам государь. Спокойствие, с которым государь отнесся к происшествию, грозившему ему самому смертию, было до того поразительно, что обратило на себя внимание ближайших к нему лиц окружавшей свиты. Он, как говорится, бровью не повел и только спросил:

— Кто командовал батареей?

И когда ему назвали имя, то он участливо и с сожалением промолвил, зная, какому наказанию должен будет подлежать командовавший офицер:

— Ах, бедный, бедный (имя рек)! Как же мне жаль его!

Государя спросили, как подействовало на него происшествие. Он ответил:

— До 18-го года я ничего не боюсь.

Командира батареи и офицера (Карцева), распоряжавшегося стрельбой, государь про-

стил, так как раненых, по особой милости Божией, не оказалось, за исключением одного городового, получившего самое легкое ранение.

Фамилия же того городового была Романов.

Заряд, метивший и предназначенный злым умыслом царственному Романову, Романова задел, но не того, на кого был нацелен: не вышли времена и сроки — далеко еще было до 1918 года.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

28 мая 1922 г.

I. Схиархимандрит Иоасаф

13 мая старого стиля ушел от нас навеки наш батюшка, схиархимандрит Иоасаф. Вот это-то важнейшее в нашей жизни событие я и хочу поведать во главе моего послания. Старец наш уже давно стал ослабевать, но бодрился вплоть до начала нашего зимнего сезона, т.е. до ноября. Последний раз он служил соборне Литургию на Святителя Спиридона Тримифунтского — 12 декабря, после двух начинавшихся в нашем доме пожаров, благополучно, к счастью, затушенных в начале возникновения. За месяц до кончины он подвергся жестокому нападению от злого духа уныния и страдал от него тяжко, невыносимо, так что вынужден был обращаться даже к нашей убогой молитве за помощью и облегчением от ужасающих душевных страданий. Это было явным предварением близости его кончины.

— Боюсь с ума сойти, — говорил он мне, — но не поддаюсь, не поддаюсь!

6 мая, в день праведного Иова Многострадального, пришел я к нему утром на благословение, а он меня встречает, сияющий какой-то неземной радостью (он все время был на ногах), и говорит:

— Боже мой! Какую я получил сегодня при пробуждении неизреченную радость! Я зрел лицом к лицу Пресвятую Троицу. Она осияла меня неким неизреченным действием, и дух уныния отступил от меня. За всю свою жизнь многострадальную я ничего подобного никогда не испытывал. Видите, я плачу от умиленного восторга...

Лицо старца действительно сияло восторгом благодатного видения, и слезы текли по ланитам, когда он сообщал мне эту дивную тайну...

— Батюшка, — спросил я, — в каком же виде и как удостоились вы узреть Пресвятую Троицу?

— Изобразить сего человеческим языком невозможно: Пресвятая Троица осияла меня, — повторил он, — неким неизреченным действием, и я слышал голос, от Нее исходящий и возвестивший мне великую радость, и притом в самом непродолжительном времени, неожиданная величайшая радость! "Вас ожидает великая радость, величайшая радость!"

— Кого же это "вас"? — переспросил я.

— Вас и всех одинаково мыслящих, — отвечал он, и притом и самое радость сказал он мне, но взял с меня слово, что я этой радости не открою никому, кроме жены...

— Надолго ли будет дана эта радость, — говорит батюшка, — того мне не возвещено, но

что она будет, и притом вскоре, тому верьте, — будет это, будет непременно.

То же самое он повторял мне несколько раз вплоть до 10 мая, когда он слег совсем в постель и как-то сразу, не теряя, однако, сознания земного и окружающего, перешел в область явлений и видений горнего мира. 10-го, 11-го и 12-го его причащали, а в 4 часа утра 13 мая он, приняв из рук служащего у нас старичка-иеромонаха Феофана (полуюродивого и едва ли не святого) зажженную свечу, воздел обе руки к небу и, свободной рукой указывая что-то ему одному видимое вверху (раньше он там видел двух ангелов), тихо и безболезненно предал дух свой Богу. Поистине, это была кончина святого угодника Божия.

За два часа до смерти келейник его принимал от него благословение на полунощницу, и он сказал: “Бог благословит”. Два раза отвечал на молитву Господню: “Яко Твое есть Царство”, и это были его последние слова.

В то же утро мы отслужили заутреню и заупокойную Литургию, а после панихиды гроб с его телом (этот гроб больше года стоял у нас в передней) увезли в Густынь, где в воскресенье 15 мая и предали земле в заранее приготовленном склепе. Знаменательно, что, предчувствуя свою кончину еще за месяц ранее, батюшка собирался вернуться умирать в Густынь и день 15 мая назначил днем своего отъезда. Но еще замечательнее, что, по историческим данным, Густынский монастырь был основан иеросхимонахом Иоасафом, выходцем из Киево-Печерской

Лавры. Батюшка же наш в схиму был пострижен тоже в той же Лавре и был последним схимником, выходцем из Густыни.

Схимником Иоасафом началась обитель, схимником Иоасафом и кончилась, именно — кончилась, потому что... такова судьба теперь всех рассадников православия в России, умирающих где естественно, а где и насильственно. Густынь кончается соединением обеих смертей. Что бы то ни было и какая радость ни была нам обетована, а времена и сроки заканчиваются — этого только слепые, вернее самоослепляемые, не хотят видеть. "И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют" (Дан. 12,10).

Хочу еще приписать несколько строк, не лишенных значительности: старец мне оставил в наследство свою палку, данную ему глинским архимандритом Иоанникием, и службу с акафистом Пр. Серафиму, "которого, — сказал он, — вы так любите". Палку — "на обратный путь, сперва на родину, а потом — в Палестину" — его подлинные слова. А служба Пр. Серафиму? Не придется ли мне еще чем послужить великому моему покровителю?..

II. Великая дивеевская тайна

"Серафим, Серафим! Велик у Бога Серафим! Всюду Серафим!" То были слова великой дивеевской блаженной Прасковьи Ивановны, когда она, прикрыв ладонью данные мною два рубля, вопрошала, глядя на икону Преподоб-

ного, как бы его самого, брать или не брать эти деньги...

Воистину, всюду велик у Бога Серафим!

Какое значение в моей маленькой жизни имел, верую, и доселе имеет Преподобный Серафим, читателю моему известно и из книги моей “Великое в Малом”, и из прочего, что в разное время выходило из-под пера моего.

Поведаю теперь то, что я хранил доселе в сердечной памяти своей и чему, думается мне, еще не выходили Божьи сроки. Если не обманывает меня внутреннее извещение-предчувствие, сроки эти исполнились и настало время явить миру верующих и неверующих сокровенный доныне и мною скрываемый умный бисер, подобного которому мир еще не ведал со дней греческого императора Феодосия Младшего, или Юнейшего (Junior’a). Воскрешение Лазаря известно каждому христианину. О воскресении же седми отроков знают весьма немногие, и потому, прежде объявления великой Серафимовой тайны (назову ее “дивеевской” — по месту ее обретения), я вкратце сообщу неосведомленным сказание о седми отроках[1].

Эти седмь благородных отроков — Максимилиан, Екзакустодиан, Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, Иоанн и Антонин, связанные между собою одинаковою воинскою службою, тесною дружбою и верою, во время Декиева гонения на ефесских христиан (около 250 года) скрылись в горной пещере, называемой Охлон,

[1] “Вечный календарь” Е.А.Тихомирова. Москва, 1882 г.

близ города Ефес в Малой Азии. В пещере этой они проводили время в посте и молитвах, приготовляясь к мученическому подвигу за Христа. Узнав о местопребывании юношей, Декий велел завалить вход в пещеру камнями, чтобы предать исповедников голодной смерти.

По истечении более 170 лет, в царствование Феодосия Младшего (408 — 450), истинного защитника веры, вход в пещеру был открыт, и блаженные юноши восстали, но не для мучений, а для посрамления неверующих, отвергавших истину воскресения мертвых. По извещении об этом великом чуде царь Феодосий прибыл с сановниками своими и со множеством народа из Константинополя в Ефес, где обрел юношей этих еще в живых, и поклонился им как дивному свидетельству свыше о будущем всеобщем воскресении.

По свидетельству церковного историка Никифора Каллиста, царь был в общении с ними семь дней, беседовал с ними и сам прислуживал им во время трапезы. По миновении тех дней юноши вновь уснули сном смерти, уже до Страшного Суда Господня и всеобщего воскресения. Святые мощи их прославлены многими чудесами.

Сказание это, независимо от церковного предания, имеет свидетельство и в исторической своей достоверности. Святой Иоанн Колов, современник этого события, говорит о нем в житии пр. Паисия Великого (19 июня). Марониты-сирийцы, отколовшиеся в VII веке от Православной Церкви, чтут в своей службе святых отро-

ков. Они находятся в эфиопском календаре и в древних римских мартирологах. История их известна была Магомету и многим арабским писателям. Григорий Турский говорит (Da gloria martyr, lib.I, cap. 95), что эти мужи до сего дня почивают в том самом месте, одетые в шелковые и тонкие полотняные одежды. Пещера отроков доныне показывается близ Ефеса, в ребрах горы Приона. Судьба мощей их неизвестна с XII века, в начале которого игумен Даниил видел их еще в пещере.

По вере моей, чудом Преподобного Серафима спасенный в 1902 году от смерти, я в начале лета того же года ездил в Саров и Дивеев благодарить Преподобного за свое спасение, и там, в Дивееве, с благословения великой дивеевской старицы — игумении Марии и по желанию Елены Ивановны Мотовиловой я получил большой короб всякого рода бумаг, оставшихся после смерти Николая Александровича Мотовилова, с разными записями собственной руки его. И в этих-то записях я и обрел то бесценное сокровище, тот "умный бисер", который я называю дивеевской тайной — тайной Преподобного Серафима Саровского и всея России Чудотворца.

Передаю обретенное словами записи.

"Великий старец, батюшка отец Серафим, — так пишет Мотовилов, — говоря со мною о своей плоти (он плоти своей никогда мощами не называл), часто поминал имена благочести-

вейшего государя Николая, августейшей супруги его Александры Феодоровны и матери, вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Вспоминая государя Николая, он говорил:

— Он в душе христианин".

Из разных записок — частью в тетрадях, частью на клочках бумаги — можно было предположить, что Мотовиловым была приложена немалая энергия к тому, чтобы прославление Преподобного было совершено еще в царствование Николая I, при супруге его Александре Феодоровне и матери Марии Феодоровне. И велико было его разочарование, когда усилия его не увенчались успехом, вопреки, как могло тому казаться, предсказаниям Божия угодника, связавшего прославление свое с указанным сочетанием августейших имен.

Умер Мотовилов в 1879 году, не дождавшись оправдания своей веры.

Могло ли ему или кому-либо другому прийти в голову, что через 48 лет после смерти Николая I на престоле всероссийском в точности повторятся те же имена: Николая, Александры Феодоровны и Марии Феодоровны, — при которых и состоится столь желаемое и предсказанное Мотовилову прославление великого прозорливца, Преподобного Серафима?

В другом месте записок Мотовилова обретена была мною и следующая ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА.

"Неоднократно, — так пишет Мотовилов, — слышал я из уст великого угодника Божия, старца о. Серафима, что он плотью своею в

Сарове лежать не будет. И вот однажды осмелился я спросить его:

— Вот вы, батюшка, все говорить изволите, что плотию вашею вы в Сарове лежать не будете. Так нешто вас саровские отдадут?

На сие батюшка, приятно улыбнувшись и взглянув на меня, изволил мне ответить так:

— Ах, ваше боголюбие, ваше боголюбие, как вы! Уж на что царь Петр-то был царь из царей, а пожелал мощи св. благоверного князя Александра Невского перенести из Владимира в Петербург, а святые мощи того не похотели!

— Как не похотели? — осмелился я возразить великому старцу. — Как не похотели, когда он в Петербурге, в Александро-Невской Лавре почивает?

— В Александро-Невской Лавре, говорите вы? Как же это так? Во Владимире они почивали на вскрытии, а в Лавре под спудом — почему же так? А потому, — сказал батюшка, — что их там нет. — И много распространившись по сему поводу своими богоглаголивыми устами, батюшка Серафим поведал мне следующее:

— Мне, ваше боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привременной жизни и посем воскресить, и воскресение мое

будет, аки воскресение седми отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия Юнейшего".

"Открыв мне, — пишет далее Мотовилов, — сию великую и страшную тайну, великий старец поведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет в Дивеев и там откроет проповедь всемирного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскресения, соберется народу великое множество со всех концов земли. Дивеев станет Лаврой, Вертьяново — городом, а Арзамас — губернией. И проповедуя в Дивееве покаяние, батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей и, по открытии их, сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему".

Такова великая дивеевская благочестия тайна, открытая мною в собственноручных записях симбирского совестного судьи Николая Александровича Мотовилова, сотаинника великого прозорливца, чина пророческого, Преподобного и Богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всея России Чудотворца.

В дополнение же к тайне этой вот что я слышал из уст 84-летней дивеевской игумении Марии. Был я у нее в начале августа 1903 года, вслед за прославлением Преподобного Серафима и отъездом из Дивеева царской семьи. Поздравляю ее с оправданием великой ее веры (матушка, построив Дивеевский собор, с 1880 года не освящала его левого придела, веруя, согласно дивеевским преданиям, что доживет до прославления Серафима и освятит придел в святое его имя); поздравляю ее, а она мне говорит:

— Да, мой батюшка, Сергей Александрович, велие это чудо. Но вот будет чудо так чудо — это когда крестный-то ход, что теперь шел из Дивеева в Саров, пойдет из Сарова в Дивеев, а народу-то, как говаривал наш угодничек-то Божий Преподобный Серафим, что колосьев будет в поле. Вот то-то будет чудо чудное, диво дивное.

— Как это понимать, матушка? — спросил я, на ту пору совершенно забыв тогда уже мне известную великую дивеевскую тайну о воскресении Преподобного.

— А это кто доживет, тот увидит, — ответила мне игумения Мария, пристально на меня взглянув и улыбнувшись.

Это было мое последнее на земле свидание с великой носительницей дивеевских преданий, той 12-й начальницей, "Ушаковской родом", на которой, по предсказанию Преподобного Серафима, и устроился с лишним лет 30 после его кончины Дивеевский монастырь, будущая женская лавра.

Через год после этого свидания игумения Мария скончалась о Господе.

Вот что писал князю Владимиру Давидовичу Жевахову Е.Поселянин (Е.Н.Погожев) в письме от 19 декабря 1922 года:

"Поведали вчера (18 декабря) бывшие в Понетаевке прошлое (1921 года) лето монашки. Там весной 1921 года была прислана комиссия для осмотра мощей в Сарове. Председатель — крестьянин, кажется, из Вертьянова. В ночь, уже в Сарове, видит он сон: стоит у раки, и кос-

ти Преподобного Серафима соединяются, и вскоре он встает из раки, одетый, как рисуют на иконах, и говорит этому человеку:

— Смотри, я живой!

И при том двумя перстами коснулся его щеки. Тот проснулся СТОЯ, дрожа и в поту и с двумя черными пятнами на лице в месте касания. Он поутру рассказал бывшее. Составили акт за подписью, отказался от поручения и уехал".

На пути моего земного странничества мне пришлось по великой неволе, во дни изгнания буржуев из сел и деревень в города, перебраться в предместье города Пирятина на Украине. Приютила нас, бездомных стариков, одна добрая чета молодых супругов, мало нам знакомая, но близкая по родству дорогому мне человеку. По нем мы и получили у них и приют, и привет в самое для нас тяжелое, казавшееся даже безвыходным, время.

3 апреля 1923 года было днем, назначенным для нашего выселения. В ночь на это число (в тот год 3 апреля была Радоница — поминовение усопших) супруга из этой четы, знавшая обо мне только понаслышке, видит такой сон.

— Вижу я, — сказала мне она, — что иду по какой-то незнакомой улице, где множество народа, и происходит великое смятение при виде надвигающейся страшной тучи. Быстро налетела эта туча, и началось нечто невообразимое: буря коверкала и выворачивала с кор-

нем деревья, разрушая дома, — словом, мне показалось, что началось или землетрясение, или общая гибель и конец света... Я пала ниц на землю, закрыв лицо руками, и от страха впала в полусознательное состояние.

Когда я очнулась и решилась открыть глаза, то увидела страшный мрак и полное разрушение: поломанные и вырванные с корнем деревья, разрушенные до основания дома, развалившиеся печи и кое-где полуразвалившиеся печные трубы — словом, хаос и ужас... И вдруг на востоке блеснул яркий луч света и пронзил окружавший меня густой мрак. И в голове моей, как молния, пронеслась мысль: это свет от Всевидящего Ока, что обновилось на старом Прилукском соборе. И в свете этого луча я, среди хаоса и разрушения, увидала большую картину-икону и на ней изображение лежащего в гробу некоего монаха, под которым была надпись: "Преподобный Серафим Саровский".

Смотрю, монах этот оживает, поднимается из гроба, встает и смотрит на меня с небесной улыбкой. В благоговейном страхе я вновь падаю пред этим видением на землю, и когда поднимаю голову, то вижу, что Преподобного уже нет, а на его месте стоит Божия Матерь с опущенными веждами. Была она одна, и Предвечного Младенца с нею не было.

Я проснулась. О Преподобном Серафиме я не думала, мало что о нем слышала, а с вечера, когда спать ложилась, даже и Богу не помолилась, и оттого когда во сне увидала Божию Матерь, то сильно испугалась, чтобы мне от

Нее не досталось за леность и нерадение к молитве.

Простодушный рассказ простодушной женщины я передаю здесь, как он есть. Я не берусь толковать этого сна; но как сон этот подходит ко сну "председателя комиссии", явившейся кощунствовать над мощами Преподобного, и как идет он к великой дивеевской тайне, о которой сказала мне игумения Мария, что "кто доживет, тот увидит"!

III. "...Всюду Серафим"

Убрал я после службы нашу дорогую защитницу от всех напастей — церковочку нашу, позавтракал и говорю жене:

— Давай-ка почитаем с тобою акафист Преподобному Серафиму.

Прочли его перед иконой, что, где бы я ни жил, всегда висит над столом, за которым работаю и пишу, приложились к батюшкиной ручке, книжку службы ему с акафистом тут же, на столе, положили поверх моих книг и тетрадей и говорим ему, как живому (так и всегда ему молимся):

— Защити нас, батюшка!

А сердце тревожно — ждет беды неминучей: недаром во святых мощах пожаловал к нам Преподобный. Но как ни тревожно сердце, а ему еще слышатся слова:

— Слава Богу, что вовремя приехали.

"Нет дороги унывать!" Унывать и впрямь нет дороги: не будем же унывать! И вспомина-

ется мне первая моя поездка в 1900-м в Саров и Дивеев. Елена Ивановна Мотовилова — Царство Небесное родной моей старушке! Матушка игуменья Мария — и ей Царство Небесное! Келья Елены Ивановны, и в ней первописанный портрет Преподобного, апельсин!.. Ведь эта моя икона — копия с того портрета, а такие в Дивееве все почитаются чудотворными. Верую, что чудотворна и эта моя...

19 января. Предчувствие сердца было знамение свыше от Преподобного. Только что отбыли мытники, приезжавшие по нашу душу, но лучше запишу все по порядку.

Сижу я за своим столиком, привожу в порядок свои заметки... Вбегает верная наша слуга Аннушка и испуганно, зловещим шепотом восклицает:

— Едут, едут! Двое саней и в них все с винтовками!

Не впервые жаловали к нам "дорогие гости" и не в диковину было нам принимать их — пора было к ним привыкнуть, — но тут сердце екнуло и с чего-то оробело.

Да и было с чего! Не успела Аннушка прошептать своих зловещих слов, как в нашу комнату вскочило шесть или семь вооруженных, с револьверами, винтовками, в полушубках и, конечно, в шапках на затылок. Впереди всех маленький, невзрачный, корявенький человечек с прямыми черными жесткими волосами, выбивавшимися из-под шапки, с быстро бегающими в азиатских узких и косых щелках глаз-

ками, в глубине которых вспыхивал и ничего нам доброго не предвещал злой огонек. Рядом с ним, несколько сзади, вскочил и другой, подобный ему видом, очевидно, его помощник. Это было "начальство", а остальные — подручные из деревенской милиции. В первом я узнал "политического следователя" уездной чрезвычайки, переименованной в "политбюро". Я уже и раньше слышал о нем как о человеке с очень определенной и вполне установившейся репутацией, а встретил его раз в доме нашего "народного судьи" и тогда с ним мимоходом, нечаянно имел удовольствие познакомиться. Он был тогда выпивши, и вряд ли я успел оставить след в его памяти.

— Что вы? — спросил я вошедших, встречая их у порога. — По нашу душу к нам пожаловали?

— На что нам ваши старые души! — свысока, пренебрежительно отвечал мне помощник начальства. — У вас тут есть запечатанный нашими товарищами сундук: его-то нам и надобно.

А у нас перед тем, 15 сентября, произведено было "раскулачивание", и нам была оставлена "товарищами", приезжавшими тоже с винтовками, большевицкая "норма" белья и носильного платья, остальное все было забрано вместе с мебелью, от которой нам оставлена была тоже норма — ровно столько, чтобы не сидеть и не спать на полу. Сундук нашей Аннушки, показавшийся им подозрительным по относительному для прислуги богатству содержимого, был

ими опечатан, и ключи от него увезли "впредь до нового распоряжения". Велико было тогда горе Аннушки! 2 декабря к нам приезжал начальник "раскулачившего" нас отряда и, сняв печати, возвратил ключи Аннушке. Вдовьи и ее дочери сиротские слезы, видно, дошли до Бога!..

— Сундук, который вы ищете, — отвечаю, — распечатан, и ключи от него возвращены хозяйке.

— Как так! Кем?

— Тем же, кто его запер и запечатал.

— Не может быть.

— Справьтесь: телефон на почте и в исполкоме в вашем распоряжении.

"Товарищи" что-то между собой перешепнулись, потолкались на месте, присели, свернули по цыгарке, подымили махоркой, бросили несколько беглых взглядов на обстановку и затем со словами: "Справимся! Это что-то не так", — так же быстро, как вошли, вышли и уехали.

Сегодня рано утром, запыхавшись, прибежал к нам наш сосед и тоже прихожанин нашей церкви.

— Вы целы и живы? Вы еще дома?

— Как видите.

— Слава Богу! А я думал, что если вы и живы, то вашего и следу здесь уже не осталось. Вчера перед налетом на вас "политследователь" в исполкоме хвалился, что он камня на камне не оставит от вашего, как он выразился, "осиного гнезда".

Не успели мы с ним порадоваться, смотрю в окно и вижу: катит к нам на санях тем порядком та же честная компания.

— Мы опять к вам. Где тот сундук? — спросил "следователь".

— Здесь.

Но тут помощник резко его перебил:

— Ну, что тут долго по пустякам разговаривать — надо дело делать!

— Делать так делайте! — согласился "следователь". — Я вам напрямик скажу: наше "политбюро" завалено доносами на вас — их ВО какая кипа! — а потому с этим скверным делом надо раз навсегда покончить. Я должен произвести у вас обыск.

— Просим милости.

С этими словами я провел обоих политических деятелей в свою комнату, привел к своему рабочему столику. "Следователь" встал около него, на этот раз без шапки, и, взяв со стола в руки первую ему попавшуюся книгу, развернул ее и стал рассматривать, а товарищ его в то время занялся вскрытием ящиков, корзин и сундуков, что стояли по разным углам в моей комнате. Жена взялась ему помогать и давать нужные объяснения.

Смотрю я на "следователя" — и глазам своим не верю: стоит он с непокрытой головой перед портретом-иконой Преподобного Серафима, держит в руках и задумчиво, точно молитвенно, перелистывает ему тот акафист, по которому мы накануне молились Божию угоднику. Стоит он так пять минут, стоит еще, все стоит и

не двигается с места, продолжает перелистывать книгу службы Преподобному. Товарищ его успел уже и третью корзину перерыть, а он все стоит в той же позе, точно втайне Серафиму великому молится... Подивился я на это и вышел в другую комнату. Следом за мной пошел и "следователь" со всей своей "спирой". Обошел он все комнаты, зашел в церковь и к нашему старцу-схимнику, который за аналоем в это время молился, не обращая никакого внимания на вошедших, заглянул, словом, всюду, но весь обыск он производил как будто в полусне. Часа два все-таки он у нас с "товарищами" похозяйничал, но довольно миролюбиво, не так, как поначалу было.

Кончился обыск. У меня на столе стоял самовар и блюдо вареного картофеля. Приглашаю "следователя" к столу.

— Только, — говорю, — не взыщите: сахару у нас к чаю нет.

Он добродушно засмеялся:

— Ну, уж увольте от такого чаю: мы не святые.

Взял бумагу и на ней выдал от себя записку, что по произведенному обыску в присутствии таких-то местных властей у нас ничего подозрительного не оказалось и с нашей стороны претензий никаких не заявлено.

Прощается. Говорю ему:

— Нас хотят выселять; куда нам, старикам, в такую-то пору двигаться? Нет и средств у нас никаких — куда нам выселяться!

— На это я вам скажу, — ответил “следователь”, дружелюбно улыбаясь и протягивая мне руку, — что до весны и до теплых дней вас никто не тронет.

— А церковь нашу?

— И церковь тоже, хотя я имею поручение ее ликвидировать, — и ее тоже не тронут.

— Честное слово?

— Честное слово.

Я не утерпел и от всего сердца обнял его и поцеловал.

На том мы и распрощались.

Прошло три месяца или четыре. Захожу я к “народному судье” (он в то время был искренний и верный друг).

— Был, — говорит, — у меня сейчас перед вами М-х (тот “следователь”, который нас со “спирой” посетил в январе. С ним “народный судья” поддерживал вынужденную обстоятельствами дружбу). Зашла речь о вас, а он мне и говорит: я его и всех с ним живущих бесповоротно решил было вывезти в город, чтобы духу ихнего в деревне не оставалось, а его, т.е. вас, решил по дороге застрелить: не нужны нам такие-то, вредны. Все уже у меня для этого было готово, подводы пригнаны, оставалось только с чего-нибудь начать — я и приступил к обыску. Подошел я к столу, снял с него первую попавшуюся мне под руку книжонку, стал ее перелистывать... и вдруг в голове мысль: где я этого старика, — вас, — видел?.. На меня, чув-

ствую, как на дурака смотрят, а я все то же и то же думаю, пока не вспомнил: да я его у тебя — у меня — видел! Как вспомнил, так руки у меня и опустились...

"О, Серафим, Серафим! Велик у Бога Серафим! Всюду Серафим!.."

Богу нашему слава!

Пирятин-Заречье.
8 марта 1924 года

III

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ВИДЕНИЯ ПОСЛУШНИЦЫ ОЛЬГИ

Видение послушницы Ольги было записано в Киевском Покровском монастыре заботами матери игумении Софии (Гриневой) в апреле 1917 г. Юная Ольга была послушницей Ржищева монастыря. Если я не ошибаюсь, этот монастырь был подчинен Покровскому

21 февраля 1917 года, во вторник 2-й недели Великого Поста, в 5 часов утра послушница Ольга вбежала в псалтирню и, положивши три земных поклона, сказала монахине-чтице, которую пришла сменить:

— Прошу прощения, матушка, и благословите: я пришла умирать.

Не то в шутку, не то всерьез монахиня ответила:

— Бог благословит — час добрый. Счастлива бы ты была, если бы в эти годы умерла.

Ольге в то время было около 14 лет.

Ольга легла на кровать в псалтирне и уснула, а монахиня продолжала читать. В полседьмого утра сестра стала будить Ольгу, но та не шевелилась и не отзывалась. Пришли дру-

гие сестры, тоже пробовали будить, но так же безуспешно. Дыхание у Ольги прекратилось, и лицо приняло мертвецкий вид. Прошло два часа в беспокойстве для сестер и в хлопотах возле обмершей. Ольга стала дышать и с закрытыми глазами, в забытьи, проговорила:

— Господи, как я уснула!

Ольга спала трое суток, не просыпаясь. Во время сна много говорила такого, что на слова ее обратили внимание и стали записывать. Записано было с ее слов следующее.

"За неделю до вторника 2-й недели я видела, — говорила Ольга, — во сне Ангела, и он мне велел во вторник идти в псалтирню, чтобы там умереть, но чтобы я о том заранее никому не говорила. Когда я во вторник шла утром в псалтирню, то, оглянувшись назад, увидела страшилище во образе пса, бежавшего на задних лапах следом за мною. В испуге я бросилась бежать и когда вбежала в псалтирню, то в углу, где иконы, я увидела Св. Архистратига Михаила и в стороне — смерть с косой. Я испугалась, перекрестилась и легла на кровать, думая умирать. Смерть подошла ко мне, и я лишилась чувств. Потом сознание ко мне вернулось, и я увидела Ангела: он подошел ко мне, взял меня за руку и повел по какому-то темному и неровному месту. Мы дошли до рва. Ангел пошел вперед по узкой доске, а я остановилась и увидела "врага" (беса), который манил меня к себе, но я кинулась бежать от него к Ангелу, который был уже по ту сторону рва и звал меня тоже к себе. Доска, перекинутая через ров,

была так узка, что я побоялась, было, через нее переходить, но Ангел перевел меня, подав мне руку, и мы с ним пошли по какой-то узкой дорожке. Вдруг Ангел скрылся из виду, и тотчас же появилось множество бесов. Я стала призывать Матерь Божию на помощь; бесы мгновенно исчезли, и вновь явился Ангел, и мы продолжали путь. Дойдя до какой-то горы, мы опять встретили бесов с хартиями в руках. Ангел взял их из рук бесовских, передал их мне и велел порвать. На пути нашем бесы появлялись еще не раз, и один из них, когда я отстала от своего небесного путеводителя, пытался меня устрашить, но явился Ангел, а на горе я увидела стоящую во весь рост Божию Матерь и воскликнула:

— Матерь Божия! Тебе угодно спасти меня — спаси меня!

Пала я на землю и когда поднялась, то Матерь Божия стала невидима. Стало светать. По дороге увидели церковь, а под горою сад. В этом саду одни деревья цвели, а другие уже были с плодами. Под деревьями были разбиты красивые дорожки. В саду я увидела дом. Я спросила Ангела:

— Чей это дом?

— Здесь живет монахиня Аполлинария.

Это была наша монахиня, недавно скончавшаяся.

Тут я опять потеряла Ангела из виду и очутилась у огненной реки. Эту реку мне нужно было перейти. Переход был очень узкий, и по нему персходить можно было не иначе, как пе-

реступая нога за ногу. Со страхом стала я переходить и не успела дойти до середины реки, как увидела в ней страшную голову с выпученными огромными глазами, раскрытой пастью и высунутым длиннейшим языком. Мне нужно было перешагнуть через язык этого страшилища, и мне стало так страшно, что я не знала, что и делать. И тут внезапно по ту сторону реки я увидела св. великомученицу Варвару. Я взмолилась ей о помощи, и она мне протянула руку и перевела на другой берег. И уже когда я перешла огненную реку, то, оглянувшись, увидела в ней еще и другое страшилище — огромного змия с высоко поднятой головой и разинутой пастью. Святая великомученица объяснила мне, что эту реку необходимо переходить каждому и что многие падают в пасть одного из этих чудовищ.

Дальнейший путь я продолжала идти с Ангелом и вскоре увидела длиннейшую лестницу, которой, казалось, и конца не было. Поднявшись по ней, мы дошли до какого-то темного места, где за огромной пропастью я увидела множество людей, которые примут печать антихриста: участь их — в этой страшной и смрадной пропасти... Там же я увидела очень красивого человека без усов и бороды. Одет он был во все красное. На вид он мне показался лет 28. Он прошел мимо меня очень быстро, вернее пробежал. И когда он приближался ко мне, то казался чрезвычайно красивым, а когда прошел и я на него посмотрела, то он представился мне диаволом. Я спросила Ангела:

— Кто это такой?

— Это, — ответил мне Ангел, — антихрист, тот самый, что будет мучить всех христиан за святую веру, за святую Церковь и за имя Божие.

В том же темном месте я видела недавно скончавшуюся монахиню нашего монастыря. На ней была чугунная мантия, которою она была вся покрыта. Монахиня старалась из-под нее высвободиться и сильно мучилась. Я потрогала рукой мантию: она действительно была чугунная. Монахиня эта умоляла меня, чтобы я попросила сестер молиться за нее.

В том же темном месте видела я огромнейший котел. Под котлом был разведен огонь. В котле этом кипело множество людей: некоторые из них кричали. Там были и мужчины, и женщины. Из котла выскакивали бесы и подкладывали под него дрова. Других людей я там видела стоящими на льду. Были они в одних рубашках и дрожали от холода: все были босы — и мужчины, и женщины.

Еще я видела там же обширнейшее здание и в нем тоже множество людей. Сквозь уши их были продернуты железные цепи, привешенные к потолку. К рукам и ногам их привязаны были огромные камни. Ангел мне объяснил, что это все те, которые во храмах Божиих держали себя соблазнительно-непристойно, сами разговаривали и других слушали; за то и протянуты им цепи в уши. Камни же к ногам привязаны тем, кто в церкви ходил с места на место: сам не стоял и другим спокойно стоять не давал. К рукам

же камни были привязаны тем, кто неправильно и небрежно налагал на себя крестное знамение в храме Божием.

Из этого темного и ужасного места мы с Ангелом стали подниматься вверх и подошли к большому блестящему белому дому. Когда мы вошли в этот дом, я увидела в нем необыкновенный свет. В свете этом стоял большой хрустальный стол, и на нем поставлены были какие-то невиданные, райские плоды. За столом сидели святые пророки, мученики и другие святые. Все они были в разноцветных одеяниях, блистающих чудным светом. Над всем этим сонмом святых Божиих угодников, в свете неизобразимом, сидел на престоле дивной красоты Спаситель, а по правую руку Его сидел наш государь Николай Александрович, окруженный ангелами. Государь был в полном царском одеянии, в блестящей белой порфире и короне, и держал в правой руке скипетр. Он был окружен ангелами, а Спаситель — высшими Небесными Силами. Из-за яркого света я на Спасителя смотреть могла с трудом, а на земного царя смотрела свободно.

Святые мученики вели между собою беседу и радовались, что наступило последнее время и что их число умножится, так как христиан вскоре будут мучить за Христа и за неприятие печати. Я слышала, как мученики говорили, что церкви и монастыри будут уничтожены, а раньше из монастырей будут изгонять живущих в них. Мучить же и притеснять будут не только монахов и духовенство, но и всех пра-

вославных христиан, которые не примут печати и будут стоять за имя Христово, за веру и за Церковь.

Еще я слышала, как они говорили, что нашего государя уже не будет и что время всего земного приближается к концу. Там же я слышала, что при антихристе Св. Лавра поднимется на небо; все святые угодники уйдут со своими телами тоже на небо, и все живущие на земле, избранные Божии, будут тоже восхищены на небо.

С этой трапезы Ангел повел меня на другую вечерю. Стол стоял наподобие первого, но несколько меньше. В великом свете сидели за столом святые патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, священники, монахи и мирские в каких-то особенных одеяниях. Все эти святые были в радостном настроении. Глядя на них, и сама я пришла в необыкновенную радость.

Вскоре в спутницы мне явилась св. Феодосия, а Ангел скрылся. С нею мы пошли в дальнейший путь и поднялись на какую-то прекрасную возвышенность. Там был сад с цветами и плодами, а в саду много мальчиков и девочек в белых одеждах. Мы поклонились друг другу, и они чудно пропели “Достойно есть”. В отдалении я увидела небольшую гору; на ней стояла Матерь Божия. Глядя на Нее, я неописуемо радовалась. Святая мученица Феодосия повела меня затем в другие райские обители. Первой на вершине горы мы увидели неописанной красоты обитель, обнесенную оградой из блес-

тящих, прозрачных белых камней. Врата этой обители издавали особый яркий блеск. При виде ее я чувствовала какую-то особенную радость. Святая мученица открыла мне врата, и я увидела дивную церковь из таких же камней, как и ограда, но еще светлее. Церковь та была необычайной величины и красоты. С правой ее стороны был прекрасный сад. И тут, в этом саду, как и в прежде виденном, одни деревья были с плодами, в то время как другие только цвели. Врата в церковь были открыты. Мы вошли в нее, и я была поражена ее чудной красотой и бесчисленным множеством ангелов, которые ее наполняли. Ангелы были в белых блестящих одеждах. Мы перекрестились и поклонились ангелам, певшим в то время "Достойно есть" и "Тебе Бога хвалим".

Прямая дорога из этой обители повела нас к другой, во всем подобной первой, но несколько менее ее обширной, красивой и светлой. И эта церковь наполнена была ангелами, которые пели "Достойно есть". Св. мученица Феодосия объяснила мне, что первая обитель была высших ангельских чинов, а вторая — низших.

Третья обитель, которую я увидела, была с церковью без ограды. Церковь в ней была так же прекрасна, но несколько менее светлая. Это была, по словам моей спутницы, обитель святителей, патриархов, митрополитов и епископов.

Не заходя в церковь, пошли далее и по пути увидели еще несколько церквей. В одной из них монахи в белых одеждах и клобуках; среди них

я увидела и ангелов. В другой церкви были монахи вместе с мирскими мужчинами. Монахи были в белых клобуках, а мирские в блестящих венцах. В следующей обители в церкви были монахини во всем белом. Святая мученица Феодосия сказала мне, что это схимонахини. Схимонахини в белых мантиях и клобуках, с ними были и мирские женщины в блестящих венцах. Среди монахинь я узнала некоторых монахинь и послушниц наших — еще живых, и среди них умершую мать Агнию. Я спросила св. мученицу Феодосию, почему некоторые монахини в мантиях, а другие без мантий, некоторые же наши послушницы в мантиях. Она ответила, что некоторые, не удостоившиеся мантии при жизни на земле, будут удостоены ее в будущей жизни и, наоборот, получившие мантию при жизни лишены будут ее здесь.

Идя дальше, мы увидели чудный фруктовый сад. Мы вошли в него. В этом саду, как и в прежде виденных, одни деревья были в цвету, а другие со спелыми плодами. Верхушки деревьев сплетались между собою. Сад этот был прекраснее всех прежних. Там были небольшие домики, точно литые из хрусталя. В саду этом мы увидели св. Архистратига Михаила, сказавшего мне, что сад этот — жилище пустынножителей. В саду этом я увидела сперва женщин, а идя дальше, мужчин. Все они были в белых одеждах, монашеских и немонашеских.

Выйдя из сада, я увидела вдали на хрустальных блестящих колоннах хрустальную крышу. Под этой крышей было много людей — мона-

хов и мирских, мужчин и женщин. Тут св. Архистратиг Михаил стал невидим.

Далее нам представился дом: был он без крыши, четыре же его стены были из чистого хрусталя. Его осенял воздвигнутый как бы на воздухе крест ослепительного блеска и красоты. В этом доме находилось множество монахинь и послушниц в белых одеждах. И здесь я между ними увидела некоторых из нашего монастыря еще живых.

Еще дальше стояли две хрустальные стены, как бы две стены начатого постройкой дома. Двух других стен и крыши не было. Внутри, вдоль стен, стояли скамьи; на них сидели мужчины и женщины в белых одеждах.

Затем мы вошли в другой сад. В этом саду стояло пять домиков. Св. мученица Феодосия сказала мне, что эти домики принадлежат двум монахиням и трем послушницам нашего монастыря. Она их назвала, но велела имена их хранить в тайне. Около домиков росли фруктовые деревца: у первого лимонное, а у второго — абрикосовое, у третьего — лимонное, абрикосовое и яблоня, у четвертого — лимонное и абрикосовое. Плоды у всех были спелые. У пятого деревьев не было, но места для посадки были уже выкопаны.

Когда мы вышли из этого сада, то нам пришлось спуститься вниз. Там мы увидели море; через него переправлялись люди: одни были в воде по шею, у других из воды были видны только одни руки; некоторые переезжали на лодках. Меня св. мученица перевела пешком.

Еще мы видели гору. На горе в белых одеждах стояли две сестры нашей обители. Выше их стояла Матерь Божия и, указывая мне на одну из них, сказала:

— Се, даю тебе сию в земные матери.

От ослепительного света, исходящего от Царицы Небесной, я закрыла глаза. Потом все стало невидимо.

После этого видения мы стали подниматься в гору. Вся эта гора была усеяна дивно пахнувшими цветами. Между цветами было множество дорожек, расходившихся в разных направлениях. Я радовалась, что так тут хорошо, и вместе с тем плакала, зная, что придется расстаться со всеми этими чудными местами, и с ангелами, и со св. мученицей.

Я спросила Ангела:

— Скажи мне, где мне придется жить?

И Ангел и св. мученица ответили:

— Мы всегда с тобою. А где бы ни пришлось жить, терпеть всюду надо.

Тут я опять увидела св. Архистратига Михаила. У сопровождавшего меня Ангела в руках оказалась Св. Чаша, и он причастил меня, сказав, что иначе "враги" воспрепятствовали бы моему возвращению. Я поклонилась своим святым путеводителям, и они стали невидимы, а я с великой скорбью вновь очутилась в этом мире".

Все это со слов Ольги мною было записано в Киеве 9 апреля 1917 года.

Далее повествование о видениях Ольги поведется уже со слов ее старицы, м. Анны.

“В первые дни своего сна, — так рассказывала мне м. Анна, — Ольга все искала во сне шейный крест. По движениям ее было видно, что она его кому-то показывала, кому-то им грозила, крестила им и сама крестилась. Когда первый раз проснулась, говорила сестрам:

— Этого враг боится. Я им грозила и крестила, и он уходил.

Тогда решили дать ей в руку крест. Она крепко зажала его в правой руке и не выпускала его 20 дней так, что силой нельзя было его у нее вынуть. При пробуждении она его выпускала из руки, а перед тем, как заснуть, снова брала его в руку, говоря, что он ей нужен, что с ним ей легко.

После 20-го дня она его уже не брала, объяснив, что ее перестали водить по опасным местам, где встречались “враги”, а стали водить по обителям райским, где некого было бояться.

Однажды, во время своего чудесного сна, Ольга, держа в одной руке крест, другою распустила свои волосы и покрыла их бывшей у нее на шее косынкой. Когда проснулась, то объяснила, что видела прекрасных юношей в венцах. Юноши эти ей подали тоже венец, который она надела себе на голову. В это-то время она, должно быть, и надевала косынку.

1 марта, в среду вечером, Ольга, проснувшись, сказала:

— Вы услышите, что будет в двенадцатый день.

Бывшие тут сестры подумали, что это число месяца и что в это число с Ольгой может

произойти какая-нибудь перемена. На эти мысли Ольга ответила:

— В субботу.

Оказалось, что то был 12-й день ее сна. В этот день у нас в обители узнали об отречении государя от престола. Первою узнала об этом по телефону из Киева я. Когда вечером Ольга проснулась, я в страшном волнении сказала ей:

— Оля! Оля! Что случилось-то: государь оставил престол!

Ольга спокойно на это ответила:

— Вы только сегодня об этом услышали, а у нас там давно об этом говорили. Царь уже там давно сидит с Небесным Царем.

Я спросила Ольгу:

— Какая же тому причина?

— Какая была причина Небесному Царю, что с Ним так поступили: изгнали, поносили и распяли? Такая же причина и этому царю. Он — мученик.

— Что же, — спрашиваю я, — будет?

Ольга вздохнула.

— Царя не будет, — отвечает, — теперь будет антихрист, а пока новое правление.

— А что это, к лучшему будет?

— Нет, — говорит, — новое правление справится со своими делами, тогда возьмется за монастыри. Готовьтесь, готовьтесь все в странствие.

— Какое странствие?

— Потом увидите.

— А что же брать с собою? — спрашиваю.

— Одни сумочки.

— А что в сумочках понесем?

Тут Ольга мне сказала одну старческую тайну и прибавила, что и все то же понесут.

— А что будет с монастырями? — продолжаю допытываться. — Что будут делать с кельями?

Ольга с живостью ответила:

— Вы спросите, что с церквами делать будут! Разве одни монастыри будут теснить? Будут гнать всех, кто будет стоять за имя Христово и кто будет противиться новому правлению и жидам. Будут не только теснить и гнать, но будут по суставам резать. Только не бойтесь: боли не будет, как бы сухое дерево резать будут, зная, за Кого страдают.

Я опять спросила Ольгу:

— Зачем же им разорять монастыри?

— Затем, что в монастырях люди живут ради Бога, а такие должны быть изгнаны.

— Но мы, — говорю, — и в монастыре одни других гоним.

— То, — отвечает, — не вменится, а вот это гонение вменится.

При этом разговоре сестры пожалели государя.

— Бедный, бедный, — говорили они, — несчастный страдалец! Какое он терпит поношение!

На это Ольга весело улыбнулась и сказала:

— Наоборот: из счастливых счастливейший. Он — мученик. Тут пострадает, а там вечно с Небесным Царем будет.

На 19-й день своего сна — в субботу 11 марта — Ольга, проснувшись, сказала мне:

— Услышите, что будет в 20-й день.

Я думала, что это — число месяца, а Ольга пояснила:

— В воскресенье.

В воскресенье 12 марта был 20-й день ее сна.

Затем Ольга весело сказала:

— Поедем, поедем к батюшке!

"Батюшка" — это старец Голосеевской пустыни, иеросхимонах Алексий, мой духовный отец и руководитель.

Затем весь разговор, по этом пробуждении, Ольга вела только об этом батюшке. В конце разговора Ольга и сказала:

— Поедем к батюшке в третий день Пасхи.

После этого она заснула... На следующий день, в воскресенье, она опять радостно начала разговор о батюшке. Я говорю ей:

— Оля, поедем же к батюшке!

Ольга вздохнула и сказала:

— Вы же написали батюшке два письма.

Так это и на самом деле было, хотя Ольга об этом знать не могла.

Потом она продолжала:

— Ожидайте, ожидайте: скоро будет ответ.

Опять, немного погодя, говорила:

— Матушка, матушка! К нам батюшка скоро приедет.

Это она в радостном настроении повторяла несколько раз. Бывшие тут сестры подумали, что это она про нашего монастырского свя-

щенника, отца Всеволода говорит, и слышу, они между собой говорят:

— А, должно быть, Ольге и в самом деле открыты такие тайны, которых другие не знают.

Тут потянуло меня взять крест моего старца о. Алексия. Села я поодаль от сестер, сложила руки на груди и как бы ушла в себя, отрешившись от всего окружающего. Настала полная тишина. Это было в 11 часов вечера. Через несколько минут я пришла в себя. Ольга не спала. Я ей говорю:

— Скоро отец Всеволод придет.

— Ну да, отец Всеволод!

Точно хотела мне сказать, что не в нем дело, и вслед уснула.

На другое утро я получила телеграмму, что накануне вечером о. Алексий скончался. Когда Ольга проснулась, то сказала, что накануне, около 11 часов вечера, она видела о. Алексия, как он вошел к нам в келию, благословил всех и молча удалился. На 24-й или 25-й день сна Ольги я, вернувшись от вечерни, застала Ольгу пробудившейся. Окружавшие ее постель сестры встретили меня словами:

— Анюта, ожидай гостей: Ольга говорит, что гости будут.

Ольга повторила то же и просила позвать регентшу. Спрашиваю Ольгу:

— Какие ж то будут гости?

— Увидите, какие.

Я не поняла, что это за гости, и подумала, что надо в келье место освободить для них. Го-

ворю, чтобы часть сестер вышла. Ольга улыбнулась и сказала:

— Будь хотя полна келья сестер, все равно они не помешают: гостям место будет.

Тут мы поняли, что будут к нам неземные гости, и стали спрашивать, увидим ли мы их. Ольга ответила:

— Не знаю. Когда придут, почувствуете.

Тут вид ее лица изменился, точно она увидела нечто таинственное — великое, молча обводила она келию глазами. В таком состоянии она находилась минут двадцать. Я почувствовала в это время как бы толчок в сердце: меня охватил какой-то еще никогда не испытанный, благоговейный страх, и я заплакала, чувствуя присутствие в келье кого-то не из здешнего мира. Сестры, бывшие в келье, шепотом творили молитву; некоторые плакали... Потом из слов их видно, что они в то же время испытывали то же, что и я, когда плакали, но никто, как и я, ничего не видел и не слышал.

Минут через двадцать лицо Ольги приняло обычное выражение и она залилась слезами. Успокоившись немного, на расспросы сестер ответила:

— Как же это? Ведь я думала, что вы видите и слышите пение. А гости-то какие были: сам святой Архистратиг с Небесным своим воинством!

— Что же пели они? — спрашиваем.

— Они пели "Тебе Бога хвалим", и как пели-то!.. С ними были и блаженные старцы, и святые молитвенники, к которым мы прибегали

с м. Анной и имена которых были у нас записаны на псалтирном чтении. Святой Архистратиг Михаил перекрестил всех присутствующих и окропил святой водой...

Пять минут спустя Ольга опять заснула.

В субботу на 1-й неделе Великого Поста Ольга причастилась, как и все сестры нашей обители. 21 февраля она уснула. На другой день ее соборовали, но она этого почти не помнит; помнит только приготовление к таинству священников, но самого соборования не помнит, говоря, что ее в то время здесь не было, что она уходила со своим путеводителем.

На 4-й день, в пятницу, в 11 часов вечера она проснулась. После краткой исповеди ее причастили. Перед причащением я была в страхе, боясь, чтобы она не заснула, когда придет священник, но она сказала:

— Не бойтесь: я дождусь!

Потом, по пробуждении, Ольга говорила, что только этот раз она видела батюшку.

Уходя ночью после причащения, батюшка сказал, что в воскресенье ее надо будет снова причастить, это исполнит другой очередной священник. Когда в этот день пришел священник, Ольга спала, зубы ее были стиснуты, и священник причастить ее не решался. Я взмолилась Господу, и Ольга открыла рот. Батюшка ее причастил. Когда потом Ольга проснулась и я об этом ей рассказала, то она мне сказала:

— Не бойтесь: я всегда буду открывать рот.

Я спросила ее:

— А слышала ли ты, как приходил и причащал тебя батюшка?

Она ответила, что его не видала и ничего не слышала, а видела Ангела, читавшего молитву пред причащением, и тот же Ангел причастил ее.

Когда об этом сообщили отцу Всеволоду, он решил причащать Ольгу и Преждеосвященными Дарами. Так и сделали и стали с тех пор причащать спящую по средам, пятницам, а также по субботам и воскресеньям весь Великий Пост, до полного ее пробуждения. И всякий раз, как читали молитву "Верую, Господи, и исповедую", Ольга постепенно открывала рот, и к концу молитвы открывала его вполне. Иногда и после причащения открывала его, чтобы из рук священника принять 2 — 3 лжицы воды.

В Великую Пятницу она проснулась на несколько минут и сказала:

— Завтра причастите меня в 6 часов утра. Я завтра в этот час должна прийти.

Я передала об этом отцу Всеволоду, и он согласился.

Проснувшись в Великую Субботу, чтобы идти к утрени, о. Всеволод внезапно увидел как бы молнию, блеснувшую и осветившую ему лицо, и услышал голос:

— Пойди приобщи спящую Ольгу.

И когда батюшка стал раздумывать, что бы это значило, он вновь услышал тот же голос, повторивший те же слова.

После утрени, еще раньше 6 часов, о. Всеволод причастил Ольгу. Она все еще спала.

Через час после того она проснулась, приподнялась на кровати, посидела на ней несколько минут в полузабытьи, потом сразу встала с постели и начала ходить по келье, хотя была слаба и, видимо, истощена. Во все время своего сна она, кроме Причастия и нескольких лжиц воды, ничего в рот не брала.

В Великую Субботу она целый день более уже не ложилась, а к половине двенадцатого ночи оделась и пошла к Светлой заутрени. Во все время пасхального богослужения она не садилась, хотя сестры и уговаривали ее присесть, и так простояла всю заутреню и обедню.

После того она долго была в большой задумчивости и тоске и плакала. На расспросы сестер отвечала:

— Как мне не плакать, когда я уже больше не вижу ничего из того, что я видела, а все здешнее, даже и то, что прежде было мне приятно, все мне теперь противно, а тут еще эти расспросы... Господи, скорее бы опять туда!"

Когда потом записывалось в Киеве бывшее с Ольгой, то она сказала:

— Пишите — не пишите: все одно не поверят. Не то теперь время настало. Разве только тогда поверят, когда начнет исполняться что из моих слов.

Таковы видения и чудесный сон Ольги.

Эту Ольгу и старицу ее я видел, с ними разговаривал. На вид Ольга самая обыкновенная крестьянская девочка-подросток, малограмотная, ничем по виду не выдающаяся. Глаза только у нее хороши были — лучистые, чистые, и не

было в них ни лжи, ни лести. Да как было и лгать и притворяться пред целым монастырем, да еще в такой обстановке, почти 40 дней без пищи и пития?!!.

Я поверил и верю:

“Аминь глаголю вам: иже аще не приимет царствия Божия яко отроча, не имать внити в не” (Лк. 18, 17).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

4 марта

Опять в Оптиной. Из скитских записок Льва Кавелина: 1) именины старца о. Макария; кончина Ф.Я.Тарасова; кончина монахини; слепец и безногий; присоединение к православию К.К.Зедергольма; самоубийство сребролюбца; комета; Св. Иоанн Дамаскин о кометах

От ужасов и страданий всемирной войны, грохочущей над миром пушками кровавого кайзера и его противников, от военных слухов, от глада, мора, от землетрясений по местам — от всего того "начала болезням", которое видится мне, да и одному ли мне в современных событиях, уйдем с тобою, читатель дорогой, туда, где все еще по-прежнему струит свои прозрачные воды тихая Жиздра, отражая в зеркале их и бездонно-голубое оптинское небо, и вечнозеленый свод соснового оптинского бора.

Передо мною пожелтевшая тетрадь скитских записок. Записки эти по послушанию вел послушник из образованных, именитых дворян —

Лев Александрович Кавелин[1]. Записки эти помечены 1853 годом и последующими. Выписываю из них только то, что может иметь общехристианский интерес и значение.

19 января 1853 года

День Ангела батюшки о. Макария[2]. Обедню совершал в скиту чередовой иеромонах, о. Гавриил. После обедни соборный молебен о здравии батюшки совершали скитские иеромонахи — о. Пафнутий, о. Амвросий, о. Гавриил, иеродиакон о. Игнатий; монастырские иеромонахи — о. Тихон (духовник батюшки), о. Евфимий и иеродиакон о. Сергий. После обедни все присутствовавшие в церкви — скитские и монастырские братия — были приглашены на чай. Каждый спешил принести свое поздравление любимому старцу, а занимающиеся рукоделием присоединили к сему что-либо от трудов своих. Гостиницы были наполнены гостями, преимущественно монахинями разных обителей, прибывшими и издалека (одна приехала из Великолуцкого монастыря — 600 верст от Оптиной) принести свое поздравление тому, кто отечески руководит ими на пути спасения, с само-

---

[1] В монашестве Леонид, впоследствии архимандрит и наместник Св.-Троицкой Сергиевой Лавры.

[2] Старец Оптиной пустыни, "в миру" Михаил Николаевич Иванов, из дворян Дмитровского уезда Орловской губернии, родился 20 ноября 1783 года, скончался 7 сентября 1860 года. Старчествовал в Оптиной пустыни совместно со старцем Леонидом (в схиме Львом) с 1836 года по октябрь 1841-го, когда скончался старец Леонид. По кончине старца Леонида и до самой своей смерти нес единолично великий и святой подвиг старчествования в обители.

забвением и дивным искусством оспаривая у врага каждый шаг на поле духовной битвы, как пастырь добрый, всегда готовый положить душу свою за ближния своя — за чад своих.

Обед был у о. игумена, в нем принимали участие семейства окрестных помещиков, приехавшие поздравить достоуважаемого старца. До 150 человек братии перебывало в течение дня в келиях батюшки. Все были угощены чаем.

Как благотворна христианская любовь и как нравится сердцу все, что на ней основано! Призвал бы я посмотреть на подобный сегодняшний праздник одного из тех, которые требуют от ближнего *должного* к себе уважения, и они бы собственными глазами убедились, какая бесконечная разница между тем, что делается по долгу и по любви.

14 марта

О. Каллист, возвратившись из Орла, привез известие, что говевший у нас в скиту Ф.Я. Тарасов в среду 11 марта скончался о Господе, удостоившись перед кончиною вторичного напутствия Христовых Таинств. Мир тебе, человек Божий! Все знающие покойного искренно пожалеют, что одним добрым человеком стало меньше на земле, и порадуются о мирной христианской кончине, свидетельствующей, яко благ и милостив Господь.

О кончине Ф.Я.Тарасова пишет старцу друг почившего, Василий Васильевич Сотников:

“М.С.О.н.Г.И.Х.С.Б.п.н.г.[1] Святейший батюшка! Разлука с Феодором так поразила меня, что тоска и скорбь моя с каждым днем делается сильнее, болезнь сердца ощутительнее. Кто заменит здесь лишение его? Кто вознаградит мою потерю? Великую часть моего сердца отделил Феодор и понес с собою в вечность... Но благословен Господь! Слава Ти, Господи, сотворившему сия вся промыслом Своим и по воле Своей!..

Болезнь Феодора была в высшей степени поучительна и назидательна для нас; его кончина мирна и блаженна; погребение светло, торжественно. Не смею проникать в тайну вечной жизни покойного, но что Господь удостоил его извещения о переходе в будущую жизнь, сие свидетельствую сими словами блаженного:

— Братец! О, как мерзка для меня здешняя жизнь, как отвратительны все блага земные, все земные отличия человека!.. Иду к Тебе, Господи, иду!

Так всю дорогу из Оптиной в Орел вопиял больной в самых лютейших пароксизмах своей болезни. В понедельник 9-го числа мы приехали в Орел в 10 часов утра. Явились три доктора. Больному сделалось лучше; пароксизмы унялись, но живот опух.

— Васенька! — говорит он мне. — Завтра, если буду жив, хочу особороваться маслом. Слышишь ли? Это моя воля. Иду ко Господу!

[1] Начальные буквы молитвословия: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных.

10 Зак. 494

10-го числа особоровался маслом и простился со всеми. Романа-кучера с семейством отпустил на волю. Тут мы, семейно, вчетвером, в присутствии Ивана Михайловича посоветовавшись, решились сделать еще консилиум и пригласить четырех докторов. Сделать о сем предложение больному предоставлено мне и Михаилу Феодоровичу. Лишь только помянули ему о докторах, откуда взялись силы — встал, сел и самым выразительным голосом произнес:

— Вася, брат! Отвергаю все... Ко Господу иду!

— Мы вас не держим, но просим, чтобы вы послушанием успокоили нас и, по отшествии вашем, не оставили тоски о том, что мы вам предложили дозволенные, возможные средства, а вы их отвергнули.

— Чтобы успокоить вас, слушаюсь. Делайте со мной что хотите, но завтра, если буду жив, еще хочу приобщиться Св. Таин... Можно ли это будет после лекарства?

— Можно.

Явились доктора. Пошла суетная работа... Наступило 11-е число — день отшествия праведника. С 5 часов утра перестали давать лекарство. В 9-м часу Феодор Яковлевич исповедался и приобщился Св. Таин. В 10-м часу выпил с нами две чашки чаю, походил по комнате, благодарил меня за участие и просил сегодня еще побывать у него. В конце 5-го часа пополудни, до кончины своей за 5 минут, из кабинета покойный прошел в столовую, потом в гостиную, спросил про меня, приехал ли я или нет. Потом сказал:

— Дурно мне!

Михаил Феодорович взял его под руку, провел в спальню, посадил на кровать. В ту же минуту больной потребовал крест с мощами. Ему подали. Перекрестился, поцеловал крест, взял его в руки, благословил всех и сказал:

— Простите меня. Отхожу ко Господу моему!

Устремив взор свой горе, крест приложил ко лбу и мирно, тихо отошел ко Господу. Через три минуты я приехал, но застал уже тело его мертво и бездыханно... Но батюшка родненький, в эти 3 минуты как описать вам мое утешение? Мысль — Феодор со Христом и у Христа теперь вечно царствует, блаженствует — исполнила душу, дух и все существо мое. Но что больше всего восхитило душу мою, это то, что 40-й день по исходе его придется на 19 апреля — на 1-й день Пасхи Христовой... На 3-й день было погребение. Тело было теплое; запаха ни малейшего. Предводители губернский, уездный, множество чиновников — все в мундирах. Певчие архиерейские — весь хор — словом, это было торжество благочестия Феодора, а не похороны.

Кто как живет,
тот так и умрет.

Феодор оставил нам великие уроки жизни, пользовал исходом своим в вечность, утешил и погребением.

Помолитесь, родимый батюшка, чтобы жизнь Феодора привилась к моей омертвелости, что-

бы его пламеневшая ко Господу душа возгрела оледенелую мою душу, окаянную и грешную".

Июнь

"...В письме от 25 мая монахиня Севского девичьего монастыря Афанасия Николаевна Глебова пишет:

"Нынче скончалась сестра Наталия (которая жила у матери Мелетии), Татьяна Феодоровна, блаженною кончиною. Была она долго больна и чахоткою покончила дни свои. За три часа до кончины забылась, потом, очнувшись, радостно засмеялась и рассказала при ней бывшим:

— Я видела Господа. Господь показал мне мой дом, такой прекрасный, что и выразить невозможно. И когда я у Господа спросила, за что мне такой хороший дом, то Господь сказал: "Ты принимала и успокаивала нищих и странных, и милостыня твоя помянулась и уготовила тебе сие жилище".

Еще говорила она своему мужу:

— Я видела и твой золотой дом, который приготовлен тебе за два золотых, которые ты, по просьбе моей, подал нуждающемуся.

И еще говорила, что она теперь совсем здорова, спешит домой, а сюда вернулась лишь для того, чтобы сказать, как ей там хорошо; что ей никого и ничего не жаль, что здесь все дурно и гадко, а хорошо лишь там. Просила одеть ее в хорошее платье, а то там, при Господе, в худой одежде нельзя быть. Говорила, что в конце обед-

ни надо будет ей идти. И точно: в конце ранней обедни тихо и спокойно отошла в вечность. Говорят, что лицо ее было так спокойно и весело, точно она улыбается.

Как утешительно и умилительно было слышать о таковом извещении перед кончиной! За отшедшую можно быть спокойным, и оставшуюся малолетнюю дочь, конечно, она скоро возьмет к себе, ибо, по видению, говорила, что за Людочку свою она не тревожится, ибо уже оставила душу ее в прекрасном доме вместе с другими детьми. Мужу своему она говорила:

— Пожалуйста, не оставайся здесь долго: дом этот гадкий; спеши туда, где так хорошо, где несравненно лучше здешнего. Я буду за вас молиться, чтобы вы поскорее туда пошли".

8 августа

Причащались в скиту замечательные убогие — безногий и слепец, слепец безногого носит на себе. Оба орловские. Живут в союзе любви не по одной нужде, а, как слышно, по Богу...

На днях прибыл в обитель некто г. Зедергольм[1], намеревающийся принять православное исповедание веры. Он сын бывшего немецкого пастора, который отставлен от должности (не могу иначе выразиться, ибо считаю лютеранского пастора не более как профессором теологии, читающим публичные лекции в кирке) за то, что открыто увещевал немцев не принимать православной веры. Молодой Зедергольм окончил

[1] Константин Карлович Зедергольм, впоследствии скитский иеромонах о. Климент. Известен по монографии К.Н.Леонтьева.

курс наук в Московском университете; особенно занимался греческим языком и, по принятии греко-российского исповедания веры, намеревается поехать в Грецию для филологических занятий.

На вопрос, что его отвратило от лютеранского исповедания, он очень просто и умно ответил вопрошавшему (о. Иоанну Половцеву)[1]:

— Меня ничто не отвратило, но ничто и не привлекало. Я всегда был недоволен сухостью и безжизненностью нашего вероисповедания, которое ничего не дает молодому сердцу, естественно жаждущему сочувствия, участия, оживления, указания прямой, верной цели будущего. Например, у нас в Москве два пастора: один — человек совершенно светский, в проповедании фразер, не более; другой начинает и кончает криком; сначала как бы пугает этим, а под конец надоедает. Да и какое место в церкви рассуждениям? Я могу наслушаться их вдоволь в университете. От религии желательно иное, лучшее, чем сухие бесплодные рассуждения.

Константина Карловича направил в нашу обитель Иван Васильевич Киреевский (рекомендовавший ему прежде обратиться к одному из московских священников для ознакомления с догматами православия, кажется к Терновскому). Отец-пастор долго уговаривал его сперва отложить это дело до его смерти, потом на два года, потом на год и, наконец, на полгода, но молодой Зедергольм на все это отвечал отказом, чувствуя настоятельную потребность немедлен-

[1] Впоследствии архиепископ Литовский и Виленский Ювеналий.

но удовлетворить требованиям своего духа. Немало также поразила его та холодность, которую он встретил в других своих единоверцах, когда объявил им о своем решении.

— Мне, — говорил он, — казалось весьма естественным, что они с горячностью будут отвлекать меня от сего, и, признаюсь, я даже втайне желал сего; но вышло напротив, и это еще более показало мне шаткость наших религиозных убеждений.

9 августа

Сего числа найден за скитом в лесу удавленник, козельский мещанин Глеб Николаев. Он был человек холостой, трезвый; лет ему было 35. Несколько лет он собирался вступить в монастырь, но смущался тем, что, раздав малый свой капитал в проценты, не мог собрать его. Главная же сумма была им отдана дяде-раскольнику, который грозил Глебу, что если он не откажется от мысли вступить в монастырь, то он не отдаст ему денег. Этим-то, как надо полагать, он и смущал сердце Глеба, который от страсти сребролюбия и пришел к отчаянию в своем спасении, ибо, как признавался родным за несколько дней до смерти, впал в страшную хулу... Впрочем, приступит человек — и сердце глубоко: нет сомнения, что милосердие Божие не прежде оставляет человека, как испытает все меры к его спасению, совместимые с Божественным правосудием.

Повесился Глеб на высоком пне, в нескольких саженях от скита, на северной стороне, в

порубежном овраге, тому назад три недели (последний раз был в монастыре 22 июля). Сегодня началось следствие по сему делу, которое, как все следствия земской полиции, никогда не имеют прямою целью ближайшим путем открыть истину. По следствию, Глеб оказался умершим от неизвестной причины и погребен в обители.

13 августа

Сего числа Константин Карлович Зедергольм присоединился к православию. Во избежание соблазна для новообращенного батюшка (о. Макарий) заплатил соборному причту десять рублей из своих средств за присоединение.

11 ноября

В первый раз усмотрели новую комету. Она величиною с утреннюю звезду, к концу имеет несколько ветвей; светит весьма ярко, попеременно из бледно-зеленого цвета переливаясь в бледно-огненный цвет. Видна по направлению к юго-востоку... Без всякого суеверия смотря на сие небесное знамение, нельзя не подумать, что оно, как и во все исторические эпохи, служит предзнаменованием грозных событий грядущих[1]...

Святой Иоанн Дамаскин кометы прямо называет вестниками событий..."

С. Нилус

---

[1] Начавшаяся в следующем году Севастопольская война вполне оправдала эту точку зрения летописца. *Прим. составителя.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕРГЕЙ НИЛУС

ДЛЯ ЧЕГО И КОМУ НУЖНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ?

В дни разгрома тысячелетнего здания православно-русского духа, в грозные дни, нами переживаемые, дух неверия, вольнодумства, нового язычества, дух антихриста, грядущего в мир, употребляет тысячи всевозможных средств для торжества своей пропаганды: печать во всех ее видах; различные общества и союзы и, наконец, забастовки всех видов и именований — все это непроницаемой тучей, вырвавшейся из преисподней, охватило самое дыхание русского православного человека, грозя задушить его насмерть.

Очевидно, что против такой силы недостаточно просто научных доказательств или обращения к смыслу пережитой нами тысячелетней истории, обнажающей всю гибельность того пути, на котором нас насильно и стремительно толкают в пропасть, из глубины которой нам нет и не может быть возврата. Если дух антихриста, которого теперь ожидает бессознательно и в редких случаях сознательно почти

все верующее человечество, выступает против нас крепко сплоченной и единодушной армией своих представителей, то и вера Христова должна на борьбу с ними выставить такую твердыню, которая могла бы противостоять всей совокупности адских сил, восставших вкупе на Господа и на Христа Его: она должна действовать тем же испытанным оружием, которым она действовала в жестокие и страшные дни языческого и иудейского гонения на Церковь Христову на утренней заре христианства.

Оружие это — нравственное превосходство святости и смиренной любви исповедников Христа перед современными нам служителями диавола и антихриста. Это оружие в чистых руках, как и самое имя Христово, как Крест Христов, одно может одолеть всю несметную рать сил адовых, ополчившихся на нашу Родину, тысячелетнюю носительницу духа истинной Христовой, апостольской веры.

Без этого оружия нет средств борьбы, без него поле великой битвы роковым образом останется за врагами.

Это хорошо известно преисподней, и стрелы ее, разжженные сатанинской ненавистью, всей силой своей направлены теперь на эту сторону христианского духа. Кому из скорбных наблюдений современности не очевиден поход, предпринятый против христианской нравственности? Стоит только взглянуть на объявления о мирских зрелищах, начиная с театров и кончая кинематографами, на рекламы издаваемых в голово-кружительном количестве развратных

книг, газет и брошюр, безнравственных видов и карточек, чтобы ясно видеть цель, которую строго систематически преследует дух известного противника истины.

"Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что времени ему остается уже немного..." (Апок. 12, 12).

И вот, развращая христианский мир, дух действующего в мире антихриста, одолев мирян, набросился яростно на последний оплот христианской нравственности и чистоты, хранителями которой призваны быть православные монастыри. История ближайших к нам по времени тайных и явных нападений на эти твердыни православия хорошо известна христианам, еще не отпавшим от веры отцов. Клевета и издевательство, щедро рассыпаемые в газетах и журналах на монашество самозваными радетелями человеческого благоденствия, еще свежи в нашей памяти, и нанесенные ими раны общечеловеческой совести не только не заживают, но ежечасно растравляются.

Тяжесть обороны усугубляется тем, что, по существу призвания и служения истинного монашества, оно поставлено в невозможность защищаться тем же оружием, которое против него поднимается: оно должно молчать, зная и веруя, что, чем больше над его смиренно-склоненной головой изливается бешенства, ругани и поношений, тем большая собирается мзда на небесах поносимых, тем более им веселия и радости.

“Аще, — говорит Спаситель, — от мира бысте были, мир убо свое любил бы; якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир”. Не было от века слыхано, чтобы люди, отказавшиеся от мира, были любимы всем миром, чтобы на них не клеветали и не злословили.

Отказываясь от этой ненависти, восставая на самозащиту, добиваясь любви от мира, служа и прислуживаясь ему мирским деланием — воспитанием и образованием детей мира, мирской благотворительностью и всем тем, чего от него лицемерно требует дух времени, — и таким образом забывая единое на потребу — очищение своего сердца, отдаваясь всецело внешнему деланию, монах изменяет своему существеннейшему призванию, не хочет быть последователем Христа, отказывается от несения креста, взятого им добровольно, отрекается от стяжания Царства Божия внутрь себя, меняя его на царство князя мира сего, века сего.

Пусть бранят его, пусть поносят в газетах и в собраниях, в домах и на уличных перекрестках, пусть обливают его помоями, изливающимися из сердца поносителей, — ему не стоит обращать внимания на грязь и пустоту этой бешеной болтовни; пусть ее читают и ею увлекаются те, кому ругань эта по сердцу: ведь разумный и трезвый человечек не остановится на улице перед пьяным оборванцем, который станет ругать его только за то, что он не так замаран грязно, как этот пропойца.

“Не отвещай безумному, — говорит Премудрый, — да не подобен ему будеши, но отвещай безумному по безумию его, да не явится мудр у себе” (Притч. 26, 4 — 5). Эта мысль Премудрого в отношении к поднятому вопросу удивительно верна, и единственно убедительным ответом безумию хулителей монашества может быть только, как мы и говорили выше, нравственное превосходство святости отрекшихся от мира перед теми, кто из мира возвышает голос клеветы, кощунственной хулы на это святейшее установление деятельного христианства.

Монашеское житие в принципе есть житие равноангельское, а ангелы живут в сфере, недоступной для клеветы и человеческого злоречия; и пока цвет монашества, который еще в наше скудное любовью и верою время благоухает святыней деятельной ангелоподобной любви, пока цвет этот еще не осыпался с древа Христовой Церкви и не лишился способности плодоносить для духовного окормления Святой Руси Серафимов Саровских, Леонидов, Макариев, Амвросиев, Иларионов Оптинских, — до тех пор не страшны монастырям нашим все хулы, вся ненависть, все нападения антихристова мира на эти твердыни Православия.

Когда на Христа Господа клеветали перед Пилатом, Он молчал, и Пилат предал Его на распятие; но Христос воскрес, и кто может сравниться с Ним в славе?

К монашеству нет иного пути, кроме крестного, нет и оружия защиты иного, кроме мол-

чания на все изветы и строгого исполнения каждым из монахов тех обетов, которые он возложил на себя свободным изволением.

Не словом, а делом должно защитить себя монашествующее братство, да видят люди добрые дела его и прославят Отца Небесного.

Нам возразят: а где добрые дела эти? Мы их не видим!

Ответим: прииди и виждь!..

Спроси у голоса своей божественной совести: не подскажет ли она тебе, в чем заключена тайна монашеского православного труда, тайна его влияния на жизнь верующего и даже уклоняющегося от веры человека; не объяснит ли она тебе поставленного мною вопроса: для чего и кому нужны монастыри? И если голос совести твоей скажет тебе вещее слово свое, то поймешь ты и то, для чего и кому нужно их уничтожение.

Тебе указывают, и ты сам видишь, отбросы монашества: по этому отребью, которое есть и — увы — всегда было, ты берешь на себя право суда над всем монашеством, которого не видишь и не знаешь. Но взгляни когда-нибудь на быстротекущую реку — что видишь ты на ней? По ней плывут, уплывают в далекое море всякие отбросы; но прозрачна и чиста глубина ее живительной струи. Не раскрывай перед нею насильнической рукой подземной бездны, чтобы из-за сбросов, которые должна поглотить она, не иссяк навеки источник животворный: чем утолишь тогда ты свою жажду, чем освежишь запекшиеся уста?..

— Ваше боголюбие, — говорил некогда одному боголюбцу Преподобный Серафим, — без праведников не стоять ни граду, ни веси. И если вы блазнитесь, что ныне плохо живут и монахи, и мирские, то знайте, что и между ними есть сокрытые от взоров ваших благоугождающие Господу. Скажу вам: если стоит кладбище, то состояние его терпит Господь из-за святых мощей сокрытых в нем угодников Божиих. Так и о градах, и о весях, и о монастырях, и о всей земле разумейте!"

Запомни же, покрепче запечатлей это в своей памяти, православный мой читатель!

Оптина пустынь.
Предрождественские дни 1908 года.
Сергей Нилус

СЕРГЕЙ НИЛУС

ОДИН ИЗ ТЕХ НЕМНОГИХ, КОГО ВЕСЬ МИР НЕДОСТОИН

Блаженный Христа ради юродивый священник, отец Феофилакт Авдеев

Вместо предисловия[1]

Христианство возродило и обновило древний мир, разлагавшийся от дряхлости и внутреннего растления. Небесный огонь любви, низведенный на землю Спасителем (Лук. XII, 49), воспламенил новую жизнь в сердцах людей, подавленных чувствительностью, оживотворил дух, почти омертвевший в узах греховности (Ефес. II, 5), и при содействии благодати ревность к благочестию во многих воспламенилась с такою силою, что сделалась главною стихиею духовной жизни, и вся деятельность духа сосредоточилась в непрерывном усилии распять плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. V, 24), стать выше своей чувственности, покорить выс-

[1] "Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви" — священника Иоанна Ковалевского (Москва, 1895 г.). См.: М.: Донской мон-рь, Изд. отд. Московского Патриархата, 1992.

шему духовному закону все порывы поврежденной грехом природы, чтобы по мере сил, постепенно возрастать духом, всецело жить в Боге и для Бога. Христианство, обновивши ветхого человека (Кол. III, 10), соделав его причастником Божественного естества (2 Петр. 1, 4), произвело многие виды подвижничества, которыми христианин нравственно возвышается до возможного для человека совершенства. И в великом сонме угодников Божиих, прославленных Св. Церковью, юродивые христиане являются дивными во святых по роду своего подвига и по той высокой степени самоотвержения, которому они следовали. Ради Христа и своих ближних они отрешились не только от мира и яже в мире (I Иоан. II, 15), но и от всего лучшего, что есть в природе человека, поскольку последнее необходимо для христианина, по слову Апостола: *аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни* (2 Кор. IV, 16). Поистине, в них внешний человек тлел по мере того, как внутренний духовно жил и нравственно возвышался.

Юродство о Христе — один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия, какие из любви к Богу и ближним принимали на себя особенные ревнители благочестия. "Юродство Христа ради составляет столь редкий, столь труднейший и вместе с тем столь высокий христианский подвиг, на который призываются Господом Богом только особенные избранники и избранницы, сильные телом и

духом".[1] Эти славные подвижники, одушевляемые горячею ревностию и пламенною любовию к Богу, добровольно отказывались не только от всех удобств и благ жизни земной, от всех выгод жизни общественной, от родства самого близкого и кровного, но даже отрекались при полном внутреннем самосознании от самого главного отличия человека в ряду земных существ — от обычного употребления разума, добровольно принимая на себя вид безумного, а иногда и нравственно падшего человека, не знающего ни приличия, ни чувства стыда, дозволяющего иногда себе соблазнительные действия... Лишенные по-видимому простого, здравого смысла человеческого, отрешившись от общепринятых обычаев мира и правил общественного благоприличия, они под личиною юродства нередко совершали такие гражданские подвиги, на которые не решались люди, "мнящиеся" быть "мудрыми", из страха ли то пред сильными мира сего, или из житейских расчетов и соображений; и при этом подвиги их были таковы, что их не могли совершать с таким успехом люди обыкновенные. Непрестанно возводя очи ума и сердца своего к Богу, постоянно горя духом пред Ним, подвижники эти, подобно древним пророкам, ревнителям славы Божией, не стеснялись говорить резкую правду в глаза сильных мира сего; они своими слова-

---

[1] Сказание о блаженной Серафимо-Дивеевского монастыря, Пелагии Ивановне Серебрянниковой. Тверь, 1891. С.1.

ми и необычайными поступками то грозно обличали и подобно молнии поражали людей могучих и сильных, но несправедливых и забывающих правду Божию, то подобно весеннему благотворному солнцу радовали и утешали людей благочестивых и богобоязненных. Юродивые нередко вращались среди самых порочных членов общества, среди людей, погибших в общественном мнении, с целью исправить их и спасти; и многих из таких отверженных возвращали на путь истины и добра. Имея дар предсказывать будущее, они молитвами своими нередко избавляли сограждан от грозивших им бедствий, не раз отвращали гнев Божий от своих современников, у которых были большею частью в поношении и презрении.

Совершенно свободные от всяких привязанностей к земному, отказываясь от всякой собственности, не имея, обыкновенно, определенного пристанища и потому подвергаясь всем случайностям безумной и бесприютной жизни — эти избранники Божии самым делом, с буквальной точностью осуществляли в своей жизни заповедь Спасителя: *не пецытеся душею вашею, что ясте или что пиете, ни телом вашим, во что облечетеся; не душа ли больши есть пищи и тело одежди?* (Матф. VI, 25). *Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам* (33). Эти "причастники небесного звания" (Евр. III, I), не имея не земле пребывающего града, но грядущего взыскуя, так как по слову Апостола преходит образ мира сего, (I Кор. VII, 31) — не сообразовались веку сему

(Рим. XIII, 2): вся их жизнь представляла собою как бы воплощенный протест против чрезмерного тяготения людей к земным, временным интересам, как бы живое, наглядное напоминание о высшей цели жизни — о едином на потребу (Лук. X, 41).

Взирая на образ жизни Христа ради юродивых, можно подумать, что это несчастные, осужденные влачить горькую участь безумия. Пренебрегая общепринятыми обычаями мира, не соображаясь с законами общества гражданского, юродивые, по-видимому, в некоторых случаях даже самыми постановлениями Церкви не приводились к обыкновенному порядку жизни[1]. Это были как бы пришельцы из другого мира, не считавшие для себя нужным знать и делать то, что по общему мнению составляет необходимую принадлежность жизни земной. Живя в теле, они считали себя как бы бесплотными или в чужом теле... Пища, одежда, жилище, казалось, не составляли для них существенной потребности и необходимой жизненной принадлежности. По несколько дней, иногда по

---

[1] О Симеоне юродивом в "Четнях Минеях" читаем: "На большее мнимаго своего юродства показание, отлагаше стыдение человеческое, и множицею обнажен по торжищу хождаше..." "во утрие дню недельну бывшу, вниде в церковь. Начинающейся Литургии, имеяше в недрех орехи, первее убо нача погашати свещи, и егда изгнати его хотяху, он востек на амвон, металше орехи на жен и едва со многим трудом возмогоша его изгнати из церкве"; или он же "некогда во святый Великий четверток из утра на торжищи седя ядяше, еже видяше мимоходящии глаголаху: виждь безумнаго сего, яко ни святаго четвертка не почитает, но рано яст". 21 Июля, стр. 146, 147 и на обор.

целым неделям не вкушали пищи, только ту вкушали пищу, которую подавали им люди благочестивые; от прочих они не принимали или принятую передавали другим. Одеждою для них служило ветхое, раздранное рубище, но нередко они отлагали и этот бедный покров наготы своей. Редко входили и часто не были впускаемы в жилища человеческие, проводили большую часть под открытым небом — на городских площадях и улицах близ церковной паперти или ограды, на кладбищах, иногда даже на куче сора, страдая от холода, голода, стужи и зноя и, вообще, подвергались всякого рода стихийным невзгодам и испытывали всевозможные лишения, неразлучные со скитальческой жизнью... С каждым подвигом Христианского самоотвержения связаны те или другие лишения; нелегко человеку, склонному к чувственным удовольствиям, отказываться от них, истощив свою плоть постом и воздержанием; нелегко также пристрастившемуся к богатству раздать свои сокровища и жить в евангельской нищете, человеку, жившему в славе и почестях, вступить в безвестную жизнь. Но отказаться от ума — этого лучшего украшения человеческой природы, как это мы видим в юродивых, конечно, для каждого должно показаться труднейшим подвигом, лишением, с которым не может сравниться никакое самолишение. В разуме Бог положил существенную черту в нас великого Своего образа (Ефес. IV, 22, 23), почему с отрешением от “этого благодатного дара неба”, с которым ничто не может сравниться в мире ви-

димом, человек теряет все, что составляет истинное его величие, истинное его достоинство. При здравом уме — так как юродивые о Христе были людьми истинно мудрыми, — принять на себя вид безумного — жертва великая. Не большею ли частью, чтобы не сказать всегда, бывает для человека чувствительнее укор в скудоумии, чем в каком-либо другом недостатке, даже чувственном?! Жизнь человека не свидетельствует ли с очевидностью, сколько во все времена, из удовлетворения уму, было добровольных мучеников науки... Отчего такая исключительная честь уму? Оттого, что в нашей душе эта сила осталась более доступною человеческим трудам в своем развитии и образовании, потому что она по преимуществу свидетельствует о достоинстве духовной природы человека. Отсюда понятно, как должно быть трудно и чувствительно для человека при полном здравом уме выдавать себя за лишенного простого смысла, действовать в течение всей своей жизни подобно умалишенным... Велик и свят подвиг предать тело свое в руки мучителей за исповедание имени Христова. Но менее ли требуется мужества, вращаясь в мирском обществе, постоянно, каждый день, каждый час умерщвлять свое тело, отсекать всякую нечистую мысль?!

При всей трудности этого подвига, для святого юродства какая требуется высокая мудрость, чтобы бесславие свое обращать во славу Божию и в назидание ближним, в смешном не допускать греховного, в кажущемся неблагопристойным ничего соблазнительного или обид-

ного для других!.. Путь юродства чрезвычайно опасный и трудный путь. Как подражать иногда безрассудству людей самых низких, сохранять дух всегда возвышенный, стремящийся к Богу, постоянно ругаясь миру, обнимать, однако, всех совершенною любовию?! Наконец, как удержать себя от духовной гордости тому, кто перенес столько оскорблений и лишений, сознает что все это терпит он невинно и что он совсем не таков, каким его считают многие? Это произвольное, постоянное мученичество, эта постоянная брань против себя, против мира и диавола, и притом борьба самая трудная и жестокая. Это крестоносцы, по преимуществу, так как по доброй воле, по собственному избранию, единственно из любви к Богу и ближним несли самый тяжелый и трудный крест...

I

В двадцатых годах прошлого столетия таким великим подвигом подвизался в пределах Рязанской губернии и в смежных с нею уездах Тульской — Христа ради юродивый священник, о. Феофилакт Авдеев.

Разбирая рукописи в архиве одного из великих по духу монастырей русских, я нашел в числе и тетрадку, в которой рукою неизвестной мне монахини записано об этом великом подвижнике и прозорливце следующее:

Начинаю с того, во славу Божию, с какого года я стала знать отца Феофилакта. Опишу все,

что известно мне или лично, или от достоверных свидетелей об этом истинном и великом рабе Божием.

В 1824 году я поступила в Михайловский Покровский монастырь. Родитель мой был Родион Феодорович Ураев; он служил, не помню в каком году, в городе Скопине уездным судьей. В то время там городничего не случилось, тоже не знаю почему, и отец мой правил его должность. В это время обокрали Скопинское казначейство; родитель же мой просрочил рапорт об этом и потому находился под судом. Из числа привлеченных к этому делу лиц, кроме отца моего, только казначей да стряпчий имели кое-какую собственность, и то самую незначительную, а потому казна обратила взыскание на городничего, т. е. на моего отца, правившего тогда эту должность. Хотя и наше имение было не велико, но оно все было описано и назначено для продажи с аукциону. Это горе случилось в 1824 году, в год, именно, моего вступления в монастырь, в котором старшая моя сестра уже была монахиней. Отец Феофилакт в то время уже юродствовал и был почитаем как истинный блаженный в нашем монастыре, куда и хаживал часто, и даже гостил.

Приехал к нам в монастырь со своею скорбью наш родитель, а тут как раз случился и отец Феофилакт. Мой батюшка ему и говорит:

— Вот, я скоро должен остаться без куска хлеба с шестью детьми: имение продадут — казна все возьмет!

— Нет, — отвечает о. Феофилакт, — барин прав! Вот, поедут через Москву в мантиях да в черных шляпах — и будет барин прав!

— Неужели же я буду опять владеть своим имением? — спросил батюшка.

— Непременно, — отвечает отец Феофилакт, — только его после все разложат по кабакам.

Ничего в то время из его слов понять было нельзя; но год спустя, в 1825 году, скончался в Таганроге Государь Император Александр Павлович, и повезли его тело через Москву, и, конечно, все были в трауре — "в мантиях и черных шляпах" — по выражению о. Феофилакта. Отец мой в то время уехал в Петербург, где и подал просьбу князю Волконскому о снятии с него казенного иска. Прошение был принято, и по случаю восшествия на престол Государя Николая Павловича ему простили казенный долг, "не в пример прочим", как было ему объявлено.

Так и сбылись слова о. Феофилакта: "барин прав".

В 1834 году скончался мой родитель. После него наследником остался мой брат, человек нетрезвой жизни: и вскоре все имение родительское он пропустил в пьянство — "разложил по кабакам", как предсказал блаженный.

Это был первый в моей жизни случай прозорливости о. Феофилакта.

II

Не помню, в каком году, над нашим монастырем был благочинный архимандрит Солот-

ченского монастыря, о. Иларий. Приехал он к нам по делам благочиния при игумении Евсевии. В то время в нашем монастыре гостил о. Феофилакт и проживал по разным кельям. Как человеку всеми признанной высокой духовной жизни, юродивому и к тому же старцу, отцу Феофилакту это нарушение монастырского устава дозволялось, вернее, на это смотрели сквозь пальцы, по слову — "праведнику закон не лежит".

Неуверенная, как отнесется к этому благочинный, игумения, боясь, чтобы о. Феофилакт не попался архимандриту где-нибудь в келье, предупредила его, сказав, что у нас гостит юродивый священник. Архимандрит пожелал его видеть. Меня дали ему в провожатые, так как я была приставлена к нему для услуг в начальнической келье. Когда меня о. архимандрит позвал его провожать, о. Феофилакт находился в келье у одной послушницы, крестьянки села Жаловля, Михайловского уезда. Никому и в голову не могло прийти, чтобы к этой послушнице пожелал зайти архимандрит, а между тем, пока мы собирались в келье игумении идти к ней, отец Феофилакт, лежавший в келье послушницы на полатях, вдруг стал слезать с них и говорить:

— Приберите все — гости будут!

Спустя немного времени, мы с отцом архимандритом вошли в келью. Встреча была мирная. Отец Феофилакт поцеловался с архимандритом по чину иерейскому; и тут между ними произошел такой разговор:

— Ты — праведник, но священник! — сказал ему архимандрит. — А я — грешный, но архимандрит. Скажи мне, причащаешься ли ты Святых Таин?

Отец Феофилакт отложил свое юродство и смиренно ответил:

— Причащаюсь!

— Где же?

— В селе Осанове, каждый Успенский пост. Там священник — мой духовник!

И действительно, как потом узнали, отец Феофилакт всегда этим постом уходил в село Осанино Михайловского уезда.

Много в тот раз они говорили между собою, но я частью не слыхала о чем, а частью и не упомню. Только, когда мы вышли из той кельи, архимандрит сказал:

— Великий человек сей юродивый!

Когда этот архимандрит приезжал к нам в монастырь, он любил, бывало, чтобы ему у матушки игумении в келье пели наши клиросные певчие, и он всегда давал им за это довольно много денег. В этот его приезд в числе клиросных была и я, приставленная, кроме того, к нему для поручений. Заметив это, оделяя других, он тайно ото всех, чтобы не было другим завидно, сунул мне в руку красную бумажку, которые тогда ходили за десять рублей ассигнациями. Об этом щедром даре я никому не сказала, кроме монахини, с которой жила в одной келье, и та мне подала совет никому об этом ничего не говорить, чтобы не ввести в зависть; и никто об этом ничего не знал.

Проводили мы архимандрита — его вскоре после того перевели в Задонск — и спустя несколько времени мы — послушницы да и некоторые монахини собрались большой компанией к о. Феофилакту в ту келью, где он на ту пору находился. Пришла и я туда же со своей монахиней, и все стали хвалить доброго архимандрита Илария. О. Феофилакт молчит — ни слова. Тут и я свое словечко вставила:

— Батюшка, — говорю, — а ведь хорош архимандрит? У нас такого не бывало!

А тот на мои слова:

— Что мне, сударыня, — говорит, — его хвалить? Если бы он мне дал красную ассигнацию, я бы его похвалил.

Конечно, другие никто ничего не поняли из слов блаженного старца, но мы-то, переглянувшись с моей монахиней, это хорошо поняли...

Когда нашего благочинного, архимандрита Илария, перевели в Задонск, случилось и мне там быть на богомолье. Когда я собралась ехать обратно в свой монастырь, архимандрит Иларий дал мне отвезти от его имени о. Феофилакту книжку творений Святителя Тихона и сказал:

— Попроси его, чтобы он мне что-нибудь написал!

Когда я вернулась в обитель, отца Феофилакта у нас в монастыре не было, и потому я не могла ему скоро передать книги. В это время к одной из наших монахинь, Феофании, приехали из Скопина родные. Приехали они не столько к ней, сколько к о. Феофилакту, кото-

рого легче всего было найти в нашем монастыре; но так как он находился на этот раз не у нас, а в одной деревне, то и Феофания, и ее родные собрались ехать к нему туда. Я была рада оказии переслать ему книгу и отправляя ее с м. Феофанией, дала с ней и лист белой бумаги, чтобы он написал что-нибудь архимандриту.

Вернулась м. Феофания и привезла письмо от о. Феофилакта. И что же за письмо написал этот старец Божий! Только вера в святость его как Божьего угодника заставляла отнестись к этому письму как к чему-то серьезному, несмотря на всю видимую нелепость его содержания. Написано оно было на целом листе, а начиналось так: “Ваше Высокопреосвещенство и Ваше Высокопреподобие! Когда наши российские поклонники пойдут к Соловецким чудотворцам, то Вы их примите, учредите” и т. д. — все в том же роде и все о Соловецком монастыре. В конце же этого письма было написано так: “а Надежду Родионовну (так меня прежде звали) сделайте игуменией”, — но монастыри назначил не те, в которых мне уже после смерти архимандрита Илария Бог привел быть игуменией. Для меня, малодушной и маловерной, в то время это предсказание казалось даже и смешным, потому что я и в рясофоре тогда еще не была. Отца же Илария тем же годом перевели в Соловецкий монастырь, и он по чину Соловецкой обители служил там с осенением, т. е. почти, как архиерей. Через шесть лет он возвратился обратно в Задонск и письмо о. Феофилакта берег как сокровище.

III

Бывая часто в нашем монастыре, о. Феофилакт у всех сестер обители был желанным гостем. Только в одном при приеме его в качестве гостя выходило маленькое, говоря по-монастырски, "искушение": когда зазовут его к себе сестры чай пить, то он почему-то иногда чай пил просто, как все пьют, а то с одной, с двумя чашками чаю возьмет да всю сахарницу сахару и скушает; а сахар-то в то время был еще почти что диковиной, да притом и очень дорогой; вот некоторые, глядя на это, и опасались иной раз приглашать его к чаю.

Был он однажды у монахини Аркадии. Она и подумала про себя: чаю бы ты, сколько хочешь, пил, да вот сахару-то больно много кушаешь!.. Был у нее этот помысл до обедни. Пришла она от обедни в свою келью; подали самовар, а отец Феофилакт вдруг встал из-за стола и куда-то скрылся. Потом через несколько минут, глядь, возвращается и приносит целую тарелку комочков, наделанных из снегу; поставил тарелку на стол и стал с этими комочками пить чай. Мать Аркадия прямо не знала, куда деться от такого обличения.

Было и со мною нечто подобное: тоже захотелось мне как-то раз позвать его к себе, но боролась так же, как и мать Аркадия, с помыслом насчет сахару, но только вовремя опомнилась и мысленно сказала себе: да что жалеть-то? Если он и на синюю ассигнацию съест сахару, мне не жалко!.. Пошла я за о. Феофилактом

звать его к себе. Он, по первому зову пошел в ту же минуту, и как же я была этому рада! Забыла даже и свои помыслы и с великим радушием угощала старца Божия.

Пришел он ко мне на другой день обедать. Сели за стол. Смотрю: мой о. Феофилакт сидит какой-то скучный и кушает мало. Я говорю:

— Батюшка! Что вы такие скучные?

— Да, — говорит, — правда! И Сын Человеческий не имел места, где главы подклонити.

Я на это ему возразила:

— Батюшка! Мы все вам рады.

— Как же, — говорит, — сударыня, не рады? Только, вот, иному, глядишь, в один раз и стану в синюю ассигнацию.

Тут я вспомнила, о чем накануне думала.

— Простите, батюшка! — сказала я ему. — Куда ж уйдешь от помыслов?

В этот раз он долго у меня прогостил.

Как-то в это свое посещение, живя у меня, он одну ночь еще с вечера стал скорбеть и петь панихиду, выпевая из нее разные заупокойные стихи. Я встревожилась и говорю ему:

— Батюшка! Иль у меня кто умрет из родных?

— Нет, сударыня! — ответил о. Феофилакт.

Но так как он всю эту ночь и на другой день утром все продолжал петь и читать за упокой, то я несколько раз приставала к нему с тем же вопросом: не умрет ли кто из моих родных? Наконец, он мне ответил:

— А помните, ко мне Матрена Ивановна приставала: "Батюшка, помолись, чтобы моя

душа безбедно прошла воздушные мытарства". Вот я об ней-то и молюсь.

Матрена Ивановна была нашей клиросной, претерпела много скорбей и болезней и была очень хорошей жизни. В тот день, когда у нас шел разговор с о. Феофилактом, Матрена Ивановна уже скончалась, и ей шел как раз сороковой день.

Утром на сороковой, стало быть, день по кончине Матрены Ивановны я была у обедни. Прихожу от обедни домой и застаю о. Феофилакта в полной радости. Я спросила:

— А где-то теперь, батюшка, наша Матрена Ивановна?

— Слава Богу, слава Богу, сударыня! — весело ответил блаженный старец. — Сидит на престоле и веселится.

И по сияющему лицу о. Феофилакта был видно, что загробная участь Матрены Ивановны была ему открыта, оттого-то и радостен так был этот земной ангел.

IV

В монастыре нашем была игуменией матушка Евсевия, а казначеей — Елпидифора. В это время в городе Касимове сменили игумению, а на ее место взяли нашу казначею. У нас многие сестры очень жалели об ее уходе.

Сидит как-то раз о. Феофилакт в келье послушницы Павлины, она и говорит ему:

— Жаль нам, батюшка, казначею, что взяли от нас в игумении: она до нас хороша была.

— Что ее жалеть! — возразил о. Феофилакт. — Пусть как уточка, поплавает там, поест рыбки хорошей годочка три!

Так оно и вышло: через три года наша матушка Евсевия подала на покой, а Елпидифору перевели к нам в игумении. А в Касимове — Ока, на Оке же и подворье Касимовского монастыря, и рыбы хорошей много.

Рассказывают наши монастырские старушки: еще не было в Михайлове монастыря (наш монастырь был тогда в 12 верстах от Рязани, а переведен в Михайлов в 1819 г.), на месте же, где теперь стоит монастырь, была меленькая кладбищенская церковь, которая еще и поныне цела; а на полугоре стояла богадельня, в которой жило несколько бедных девиц и старушек. Отец Феофилакт часто гостил в этой богадельне. Бывало, попросит он клубок шерсти или ниток и начнет мерить место, где быть монастырю и ограде; а на том месте, где теперь собор и самый алтарь, тут он из камешков сделал подобие престола и говорит:

— На этом месте Лавра будет. О, как хорошо!.. И мощи будут.

При этом он поминал имя Прокопия. Рассказывали это те, которые жили еще в богадельне, а в настоящее время живут у нас в монастыре; слышали это они сами из уст о. Феофилакта.

Не запомню, в каком году, когда уже перевели наш монастырь в г. Михайлов, и я была уже в монастыре, тут же жила одна женщина-солдатка с дочерью, молоденькой девочкой. Эта солдатка была бесноватая. Я ее знала лично и

очень хорошо помню, и многие из монастырских ее тоже знают и помнят. Она так была мучима бесом, что на нее было страшно смотреть, особенно, когда она желала причаститься Святых Христовых Таин: ее подводило к Св. Чаше несколько человек, потому что ее иначе невозможно было причастить — она вся синела и делалась как бы в исступлении, и в таком страшном виде ее и после Причастия выводили из церкви.

Эту солдатку как-то раз взял о. Феофилакт и вывел за ограду. Там на одной могилке он читал над ней молитвы, и в это время с ней сделался сильнейший припадок беснования. Отец Феофилакт продолжал читать молитвы, и ей стало лучше, а под конец чтения она совсем успокоилась.

— Ты теперь здорова, — сказал ей батюшка, — но не я тебя исцелил, а исцелил тебя Угодник Божий Прокопий, которого тут мощи.

Исцеление это совершилось на глазах многих монастырских. После этого женщина та стала совсем здорова и, когда говела, то спокойно, как и все, подходила к Св. Таинам. До самой своей смерти, хотя после своего исцеления она и долго жила, солдатка эта не подвергалась более припадкам беснования.

Нередко говаривал о. Феофилакт:

— Повезут мощи Николая Чудотворца мимо вашей обители, а вы не примете — скажете: не надобно нам, не надобно нам!

Незадолго до своей кончины — за год или даже и того менее — он, проживая в то время за

30 верст от нас и уже болея, несколько раз присылал проситься пожить у нас в монастыре, потому-де, что он скоро умрет. Посылал он с этой просьбой к монахине Павле, и та несколько раз ходила к игумении просить о том, чтобы она исполнила желание о. Феофилакта; но наше духовенство было против этого, и потому игумения никак не соглашалась принять блаженного старца.

— Не надобно нам его, не надобно! — говорила игумения.

Поэтому мы теперь и думаем, что под словами “Николай Чудотворец” о. Феофилакт подразумевать давал благодать Божию, на нем почивавшую, тем более, что, когда он скончался, матушка игумения посылала казначею и монахиню Веру просить его тело, но его не дали.

О. Феофилакт был болен несколько месяцев и жил в селе Земино, Михайловского уезда, у одной благочестивой дворянки. Эта дворянка очень боялась, чтобы он не умер без напутствования. Сколько раз упрашивала она причаститься и особороваться, но он отвечал на ее просьбу:

— Не вашей я, сударыня, веры!

Но, зная его много лет, она все продолжала ему об этом напоминать. Когда же наступил день его кончины — 30 августа 1841 года — он сказал хозяйке дома, где жил:

— Ну, теперь, Арина Павловна, посылайте за священником!

Поисповедался старец Божий, причастился, особоровался и в тот же день скончался без вся-

ких предсмертных страданий, заставив до последнего своего вздоха пришедшую к нему дьячиху кропить его святой водой.

В селе, где скончался о. Феофилакт, было два помещика: один — Николай Николаевич Желтухин, другой — Хлуденев. Желтухин прежде не любил почему-то о. Феофилакта, а Хлуденев, напротив, очень его любил и верил в его святость. После его смерти они оба пошли поклониться его телу, и тот, и другой выразили желание похоронить его на свой счет. Вышло так, что Хлуденев, несмотря на свою любовь и веру к старцу, уступил Желтухину, и Желтухин справил на свой счет все похороны: сделал обед священникам и накормил многих бедных. До могилы гроб несли на свои руках оба помещика. Торжественны были похороны!..

Когда же, спустя некоторое время, стали разбирать кое-какие бумаги, оставшиеся после покойника, то в них нашли что-то вроде духовного завещания, в котором он просил именно Желтухина его похоронить и помянуть.

Похоронен о. Феофилакт в селе Земине Михайловского уезда Рязанской губернии, близ церкви, против алтаря, и над могилой его поставлен памятник-камень с надписью. Многие до сего дня приходят на его могилу, служат панихиды, берут с могилы землю и по вере своей получают исцеление.

Я хорошо помню жизнь этого Божьего угодника: она почти вся проходила на глазах нашего монастыря. Подолгу гащивая у нас, он, конечно, не мог совершенно утаить от нас, мо-

настырских, подвига своей богоугодной жизни. Молитва его была непрестанная: днем и ночью, лежа и сидя, он пел псалмы духовные, часто певал на голос из Евангелия притчу о блудном сыне: а голос у него был очень хороший. Глубокой ночью он всегда, бывало, становился на молитву и так всю ночь и простоит на молитве; а днем опять юродствует. Пища его была самая умеренная, нестяжательность безмерная. Приходили к нему многие мирские, нанесут ему и денег, и пищи всякой, и платочков, и полотенец — чего только ни нанесут; но он ничего из принесенного себе не возьмет, а все оставит в той келье, в которой его застанут подарки. У меня доселе хранятся его полотенце и трость — едва ли не единственное его достояние.

Бывая иногда на городском базаре, случалось, он и побьет кого-нибудь их встреченных им на пути. За это его несколько раз сажали в острог, и он сидит, бывало, там с видимым удовольствием и поет священные стихи, которых он знал великое множество. Подержат, подержат его в остроге и выпустят. В последние же годы жизни его уже в острог не сажали, и он пользовался большим уважением.

Наружности о. Феофилакт был весьма благообразной: росту высокого, лицо белое, правильные черты лица, лоб большой, открытый...

Иногда к своей небольшой косе он привязывал свернутый пучком лошадиный хвост, и мы спрашивали его:

— Для чего это вы, батюшка, привязываете такое безобразие?

А он на это, бывало, скажет:

— Да будто пригожее, сударыня, так!

Разговор его о духовном был горячий; слово пламенное, назидательное; и любимой его беседой было о том, что Царство Божие достается только трудом. О духовном он любил говорить наедине, с глазу на глаз с собеседником, и тогда не юродствовал, а говорил с великой убедительностью и силой. Каждому, кто хотел его слушать, он толковал Св. Писание и — всегда правильно. Любимым же его занятием было чтение книг духовных.

Таков был этот Божий угодник, таким я его застала и помню.

V

Были у нас в монастыре тульские две сестры, по фамилии — Духонины. Одна сестра была у нас казначеей и теперь скончалась, а другая — монахиня Рафаила, и теперь жива[1]. Вот, что рассказывала мне об о. Феофилакте монахиня Рафаила:

"Однажды он пришел к нам в келью и говорит:

— А я был в Туле!

Мать казначея, сестра Рафаила, и спрашивает его:

---

[1] Какие годы разуметь надо под словом "теперь", рукопись, разобранная нами, ответа не дает. Надо думать, судя по ветхости тетрадки и по тому, что автор воспонинаний описывает жизнь о. Феофилакта уже после его смерти, последовавшей в 1841 году, слово "теперь" должно обозначать или конец сороковых, или пятидесятые годы прошлого столетия.

— Что же вы к нашему батюшке не зашли?

— Куда тут, сударыня, к ним? — ответил о. Феофилакт. — Его и самого-то в дом не пускают — там стоят солдаты с рочагами, с баграми!

— Что вы такое, батюшка, говорите? — возразила казначея. — Какие солдаты?

— Да, сударыня, — продолжал говорить свое о. Феофилакт, — а дом-то их каменный, взглянешь — так шапка свалится!"

"Мы с сестрой, — сказывала мать Рафаила, — ровно ничего не поняли из этих странных слов батюшки, тем более, что у родителя нашего в Туле дом был деревянный, а не каменный. Что же вышло? Ровно через год после этого наш Тульский дом сгорел до основания, а после этого пожара родители наши действительно выстроили себе дом большой, каменный".

О. Феофилакта очень любили мужички и выстроили ему келью в селе Новопанском Михайловского уезда. Да и в других местах по крестьянам у него были поделаны такие же кельи усердием его простых сердцем почитателей. Из этих келий он после своей смерти две завещал в наш монастырь, которому они и отданы. Когда он живал в своих кельях, то налагал на себя большие труды: постился по целым дням, ничего не вкушая; часто с самого утра уходил в болото и до поздней ночи собирал в воде тростник; а в келью свою возвращался холодный, голодный, весь мокрый... Великий был труженик!..

В нашем монастыре, в церкви, на левой стороне, находится его чудотворная икона Божией Матери "Взыскание погибших". Она была написана одним живописцем по его желанию и указанию. Написана она так: в верху иконы — образ Богоматери, поддерживаемый двумя Ангелами, а внизу ее — лики многих Святых. Когда икона была написана, о. Феофилакт зашил ее в холстину, а сверху обшил двумя набойками и еще холстиной. Во всей этой тройной обшивке он прорезал отверстия для ликов и так и поставил ее в своей келье. Его все и спрашивают:

— На что же это вы, батюшка, зашили икону-то холстиной?

— Да, это, сударыни, на ней три ризы! — ответил старец Божий.

Так и стояла она у него в Новопанской келье зашитой.

Еще при жизни о. Феофилакта наш Михайловский купец Иван Иванович Ложников был как-то в Лебедяни на ярмарке и там разговорился о батюшке с Тульским купцом Киселевым. В разговоре этом он и скажи Киселеву, что о. Феофилакт многих исцеляет своими молитвами, а у Киселева жена больна была семь лет кровотечением. Запало это слово Киселеву в сердце и, возвратясь домой, он послал свою жену, Агрипину Егоровну, к о. Феофилакту. На ту пору он имел пребывание в своей келье в селе Новопанском. Как только Киселева пошла к нему в келью, о. Феофилакт поднялся к ней навстречу и только сказал:

— Помолитесь, сударыня, Царице Небесной и исцелеете!

Сказал эти слова, вышел вон из кельи и куда-то скрылся.

Очень оскорбилась таким приемом Киселева, особенно же тем, что он в келью свою не вернулся, но потом одумалась, стала молиться пред иконой и тут же почувствовала себя исцелевшей. В благодарность Божией Матери за исцеление, Киселева сделала на икону киот и очень хорошую ризу накладного серебра. Только самому о. Феофилакту не пришлось этой ризы видеть: ее привезли уже после его кончины.

В наш монастырь икону эту взяли по сонному видению одной благочестивой девицы, в котором сам о. Феофилакт, явившись ей, приказал это сделать, сказав, что от этой иконы будут совершаться исцеления. И точно: чудотворений от нее исчислить невозможно, у меня много писем из дальних и ближних мест от разных лиц, свидетельствующих о чудесах, дарованных через эту икону Богоматерью.

После дара Киселевой на чудотворную икону была сделана вторая риза, серебряная, вызолоченная; а недавно на изображение Самой Заступницы рода христианского пожертвовали ризу жемчужную. Тогда вспомнили три холстины о. Феофилакта и слова его о трех ризах, которые будут украшать святую икону. Еще их и не было, а святой прозорливец уже видел их сияющими богатством и красотою сквозь убогое рубище домотканой холстины. Дивный старец!..

VI

В нашем Покровском монастыре живет одна девица, дочь священника. Эта девица мне об о. Феофилакте передавала следующее.

Тульской губернии, Епифанского уезда, села Хитровщины, священник Феофилакт Авдеев внезапно оставил свое священническое место, жену и маленькую дочь и сделался странником. Приняв на себя такой подвиг не иначе как по особому Божьему изволению, он не имел, где главы подклонити, преследуемый всюду злоречием и насмешками мира, пониманию которого никогда не был доступен этот род христианского православного подвижничества. К одному только священнику Тульской епархии, села Соколовки, Алексею Ивановичу Преображенскому отец Феофилакт имел невозбранный вход и даже, за его отлучкой из прихода, исправлял за него требы: исповедывал, причащал больных, крестил младенцев, отпевал покойников, служил молебны; и все эти требы он совершал всегда без всякого упущения, не дозволяя себе пропускать ни одного слова.

Когда о. Преображенский еще был учеником 3-го класса духовного училища в Коломне, Феофилакт Авдеев был там учителем. С тех пор они не виделись друг с другом до того времени, когда, уже будучи священником в с. Соколовке, о. Преображенский увидел, что мимо его дома ведут на господский двор какого-то связанного человека. Заинтересовавшись этим человеком, о. Преображенский подошел к нему поближе и сразу узнал в нем своего бывшего

учителя. Сейчас же он приказал развязать его и повел к себе в дом. Все это видела из окна жена о. Преображенского и подумала про себя: вот, ведут к ним какого-то безумного — он только детей перепугает... Когда о. Феофилакт вошел в дом, то первое его слово было к жене о. Преображенского:

— Матушка! — сказал он ей смеясь. — Запритесь с детками в спальню, а я их не перепугаю!

С этих слов о. Феофилакта матушка почувствовала, что в его лице она встретила гостя не из обыкновенных, и стала относиться к нему с величайшим уважением.

Как-то раз, когда о. Феофилакт находился в гостях у Преображенских, зашла сильная гроза. Он в это время лежал на полатях. Его просили встать и помолиться, но он не встал, а сказал:

— Какая благодать! Эта благодать свет Божий освящает!

В другой же раз было не так. Был о. Феофилакт на огороде и что-то там копался в грядках. Вдруг, бежит он с огорода скоро-скоро и кричит:

— Ух, страх какой! Идет туча!

И стал молиться. Все вышли посмотреть, но тучи никакой не было. Прошло несколько времени, зашла туча страшная, и хотя скоро прошла, но успела разразиться тремя страшными ударами; в трех ближайших деревнях от этих ударов был пожар. Отец Феофилакт все время молился, пока не прошла туча.

Был у о. Преображенского сын лет двенадцати, он учился в школе, а жил у своей тетки Евдокии Филипповны. На масленице во вторник послали за ним лошадь, пришла и середа, а сына все нет. Вот и спрашивают о. Феофилакта:

— Батюшка! что же это наш сын долго замешкался?

— До четверга, — отвечает он, — лошадку и кучера ваша сестрица, Евдокия Филипповна, покормит, а племянник ваш с семейством пробирается к своему брату; да куда ехать в такую погоду-то? Здесь масленицу попразднует... А сынка вашего, Ивана Алексеевича, укусила черная собака очень больно..."

При этом слове отец Феофилакт вздохнул.

— Батюшка, — говорят ему, — что вы такое говорите? Какая собака?

— Да, Иван Алексеевич женится, — отвечает он, — а Дарья Ивановна смотрит, как печка топится... Ух! Как жарко!

Что же вышло? В этот же день вечером к о. Преображенскому приехал племянник с семейством: по дороге к своему брату заехал известить дядю; ночь заночевал, а наутро поднялась метель: "Куда было ехать в такую погоду!" — и они остались на всю масленицу. Сын, за которым была послана лошадь, приехал в четверг благополучно: его задержала тетка, Евдокия Филипповна. Слова же о. Феофилакта — о черной собаке, о Дарье Ивановне и о печке сбылись в свое время дивным образом: сын о. Преображенского, Иван Алексеевич, которого тогда

ждали на масленице, достигши 17-летнего возраста, внезапно сделался болен чем-то вроде умопомешательства; потом это болезненное состояние у него прошло, и его определили на службу в Тульское губернское казначейство. Когда же Ивана Алексеевича родные собрались женить, то на свадьбу приехала и родственница Преображенских, Дарья Ивановна. Все это происходило в Туле. Собрались уже все ехать в церковь к венцу, а пришлось вместо венца спешно бежать из Тулы, которая внезапно загорелась. Пожар разгорелся с невероятной быстротой; пламя бушевало, как море; разрушались церкви Божии, каменные здания; на реке мосты горели: так сбылось предсказание о. Феофилакта. В ужасном положении вместе с прочими очутилась тут и Дарья Ивановна, едва перенесшая зрелище этого страшного пожара.

Дочери Преображенских о. Феофилакт предсказал, что она останется в девицах и что ее нужно отдать в монастырь "на Черную Гору", т. е. в Михайлов. Родители не соглашались ее отдать в этот монастырь и говорили:

— Если уж хочет идти в монастырь, то пусть идет в ближайший Тульский.

А о. Феофилакт на это, бывало, скажет:

— Тульский монастырь на паутинке висит: там с голоду все поколели; а в Михайловском монастыре наша барышня будет своими пяльчиками довольна.

По времени дочь Преображенских поступила в Тульский монастырь, жила там 8 лет и ска-

зывала с ней жившим, что не сбылось на ней предсказание о. Феофилакта. Но, после его смерти, ей все-таки пришлось переселиться в Михайловский монастырь и жить своими трудами.

К отцу Преображенскому хаживал еще один юродивый, известный под именем "босого Миронушки". Сидели как-то за обедом — семья Преображенских, о. Феофилакт и Миронушка. К ним за трапезу вошел неожиданно неизвестный немой и стал всех благословлять иерейским благословением. Отец Феофилакт очень обрадовался этому немому, встал из-за стола, поцеловался с ним за руку и сказал:

— Христос посреде нас!

И еще сказал ему тихо, но так, что можно было расслышать:

— Не всем же быть в одном доме!

После этих слов, как ни оставляли Преображенские немого обедать, он не остался и ушел. По уходе его спросили о. Феофилакта:

— Кто такой немой этот?

И о. Феофилакт, и Миронушка в один голос ответили:

— Священник, отец Афанасий.

Немым он стал, по словам о. Феофилакта, оттого, что ему язык отрезали разбойники.

К этому же о. Преображенскому о. Феофилакт пришел на престольный праздник. У хозяина были гости, и между ними был и о. благочинный, священник села Люторец. Вскоре пришел и дьячок из села Собакина Рязанской губернии, подошел он к о. благочинному и к

хозяину под благословение, а затем и к о. Феофилакту. Этот благословлять его не стал и сказал ему:

— Ты тридцать дымящих духов с собой привел!

Дьячок на это ответил грубо:

— Иной учился, учился, да и заучился!

О. Феофилакт схватил его за волосы и потащил вон, приговаривая:

— Не ходи с этим, солдат, в благословенный дом!

И точно: вскоре этот дьячок за порочное поведение был отдан в солдаты.

Поехал раз о. Преображенский в Тулу за св. миром. В его отсутствие приехали за священником звать к больному за 7 верст. Матушка о. Преображенского и просит о. Феофилакта съездить причастить больного.

— Они там не помрут, — ответил батюшка, — сам отец Алексей (Преображенский) от Шилова поспешает на своих золотых крылышках. Взял миро, а храмозданную привезет мастер.

И часу не прошло, приехал о. Преображенский и привез св. миро. Оказалось, что он ночевал в деревне Шилове, откуда и торопился приехать домой, боясь за требы. Передали ему слова о. Феофилакта; он удивился и сказал:

— Я действительно подал владыке прошение разрешить перекрыть церковь и расписать ее внутри заново.

А за о. Преображенским в тот же день приехал живописец, взял подряд на работы в хра-

ме и вызвался сам привезти и указ на ремонт храма.

В приходе о. Преображенского у помещичьего приказчика сын служил чем-то у полкового генерала и нажил деньги. Как-то раз сидит у Преображенского о. Феофилакт и вдруг как засмеется, да и говорит:

— Вот ведь, как распестрились! Все судьбы Божии за один пирожок хотят узнать!

Сказал и лег на полати. Через час приехала женщина в ярко-пестром ситцевом капоте, привезла пирожок от приказчицы и подает его с почтением о. Феофилакту. Он не взял и сказал со вздохом:

— Не такие столбы и те падают: то катаются на тройках, то ползком ползают!

Впоследствии сын приказчика приехал к родным на побывку и отморозил себе ноги; одно время ползал на четвереньках, а потом стал кое-как ходить на костылях и так и остался навек калекой.

Одно время стали вызывать священников ехать по желанию служить на Кавказ. Вот и говорит раз матушка Преображенская своим детям:

— Поговорить надо отцу: требуются священники на Кавказ; там, говорят, очень хорошо, и прогоны дадут казенные.

Приходит отец Феофилакт, рассерженный, не в духе; ничего не пропел, как всегда, по своему обычаю, певал при входе; ни многолетия не возгласил, что тоже делывал обыкновенно. На нем ряска в то время была ватная, подряс-

ник овчинный, ситцевая рубашка на подкладке, и к подолу рубашки была еще пришита толстая холстина; сапоги старые. Хозяева не знали, чем ему и угодить, спрашивают:

— Не угодно ли вам, батюшка, покушать?

— Куда тут кушать! — отвечает он с сердцем. — Жара какая! Бежал, бежал: сказали близко, а верст двадцать будет от Новопанска (село Новопанское Михайловского уезда от Преображенских в 45 верстах).

— Батюшка! Что же вы так спешили?

— Как же? На Кавказ идут!

Хозяева спрашивают:

— Кто же это идет, батюшка?

— Да, Аграфена Филипповна (жена о. Преображенского). Вас там наставят, дураков, да в пушки и ударят!

— Кто ж вам, батюшка, сказывал?

— Кто? Петербургский купец приезжал в Михайлов пачпорт брать — он и сказывал!

Конечно, ни с каким Петербургским купцом и речи об этом не было, как не было и самого купца.

— Да мы, батюшка, и не пойдем!

Он засмеялся и сказал:

— Пожалуйста, матушка, покушать; ведь вы обещались!

Разулся. Ноги все в кровь стерты, переменил рубашку и отдал хозяйке.

— Вот тебе, родимая сестрица, Феодосья Авдеевна!

Он ее так часто называл.

— Береги, чтобы рубашка лежала в покое!

Рубашка эта и до сего дня лежит в сундуке и оставлена в наследство меньшей дочери священника о. Алексея Преображенского.

Так, бывало, поживет о. Феофилакт у этого священника сколько угодно — иногда недели три, а так и уйдет, не сказавшись.

В последний раз он приехал к Преображенским на лошади с Новопанским мужичком. Было это Великим Постом. Ночевал одну ночь; утром, напившись чаю, позавтракал и приказал заложить лошадь. Напомнил про рубашку и опять наказал, чтобы была в покое. Упрашивал его, чтобы он еще остался ночевать, но он не остался. Благословил дом, благословил семейство Преображенских и, прощаясь, сказал:

— Мир дому сему!

С тех пор его уже в этом доме не видали: тем же годом он и скончался...

Сказывал еще протоиерей г. Епифани, о. Иоанн Гумилевский, родственник о. Преображенского:

— Пришел однажды ко мне о. Феофилакт и запел: со святыми упокой! — Я, признаться, на себя подумал, что это он мне смерть пророчит. А он, пропевши, в ответ на мои мысли сказал:

— И чего тебе только в голову не придет? Ведь ты не маленький!

После этого у протоиерея скончался сын, ребенок лет восьми.

Тот же протоиерей рассказывал:

— Приходил о. Феофилакт просить на свою жену, чтобы не позволять ей отдать его дочь за солдата, а сам заплакал. Я вызвал жену его,

но запретить не мог: она выдала дочь в село Петровское замуж за господского человека. У нее уже было пятеро детей; господин прогневался за что-то на ее мужа и отдал в солдаты, а она умерла с горя.

"...Сам заплакал"! Проникаешь ли ты, дорогой мой читатель, чутким твоим сердцем в тайный смысл, в глубину значения этих слез великого праведника? Разумеешь ли ты все величие отречения от семейных уз, от любви родительской этого великого сердца, добровольно отказавшегося от всей их сладости, чтобы одиноким, грешным, осуждаемым идти во след своему Господу?.. Прошли года, за лютые скорби, за смирение чистого сердца, за веру, неведавшую сомнения, благодатию Христовой отверзлись духовные очи праведника, сообщились одинокому сердцу дары благодатных утешений, перед которыми, как свидетельствуют люди духовного опыта, вся красная мира не что иное, как смрад и тление, — а ветхий человек все еще был жив, и жгучая слеза родительской любви и страха за участь любимого ребенка, как растопленное олово, жгло огнем палящим сердечной муки... Какова сила самоотречения! Каков подвиг! Какова любовь к Богу!..

"Праведницы во веки живут, и в Господе мзда их".

Таково сказание, которое мною было найдено в старых рукописях Скита Оптиной Пустыни. Писано оно, видимо, женской рукою.

В той же рукописи записан был еще один глубоко замечательный случай прозорливости блаженного старца. Хотя он касался по-видимому

только одного частного лица, но, по моему мнению, значение его гораздо обширнее, и таинственный смысл его имеет характер не только прозорливости, но даже пророчества... Чтобы он глубже запечатлелся в памяти моего боголюбивого читателя, помещаю его особо в конце моей статьи о великом прозорливце.

Как-то раз, в один из приходов в дом Преображенских матушка-попадья спросила у него:

— Батюшка! В городе говорят, что в 1836 году будет свету конец — правда ли это?

— И, сударыня, — ответил он, — не верьте — все врут! А вот в 55-м году начнется эпоха, а в 56-м будет и свету кончина!

По слову старца так и совершилось: матушка Преображенская заболела в 1855 году опухолью ног, а в 1856 году от жизни временной перешла в жизнь вечную. Но в этом предсказании, как я думаю, заключен и другой смысл: им предвозвещалось иное, неизмеримо важнейшее событие...

17 октября 1908 года

СЕРГЕЙ НИЛУС

ЗВЕЗДЫ ПУСТЫНИ

Житие святого преподобного отца нашего Онуфрия Великого и с ним некоторых иных святых пустынножителей (память 12-го июня)

Повесть, записанная Преподобным Пафнутием, египетским пустынником

От переводчика

Пустыня!

. . . .
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего? Жалею ли о чем?..[1]

Ты помнишь ли, читатель дорогой, этот чудный аккорд таинственных голосов пустыни, залетевших издалека легким,замирающим

[1] М. Ю. Лермонтов

ветерком в многошумный и многоболезненный мир и благоуханным дыханием своим задевший многострунную лиру поэта?.. Зазвенели чуткие струны, задрожали гармонические звуки, заговорила струна со струною, но болью печали и трудом безысходной тоски отозвалось сердце поэта на голоса пустыни; оно не угадало, не поняло призыва Божественной любви: пустыня человеческого сердца не вняла Тому, Кто есть любовь совершеннейшая; звезда разума не вместила слова неба.

"Забыться!" "Заснуть!"

> Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея,
> Про любовь мне голос сладкий пел...

Любовь земли! Но может ли она петь сладко, когда звук ее голоса едва родится, уже ноет тоской утраты?.. Тоска, тоска!.. Ни от жизни ожиданий, ни к прошлому сожалений!.. И больно, и трудно!.. "Заснуть!.."

А между тем:

> В час полночный близ потока
> Ты взгляни на небеса:
> Совершаются далеко
> В горнем мире чудеса.
> Ночи вечные лампады,
> Невидимы в блеске дня,
> Стройно ходят там громады
> Негасимого огня.
> Но впивайся в них очами -
> И увидишь, что вдали,
> За ближайшими звездами
> Тьмами звезды в ночь ушли.

Вновь вглядись — и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.
В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков, -
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь — звезды мыслей водят
Тайный хор вокруг земли;
Вновь вглядись — другие всходят;
Вновь вглядись: и там вдали
Звезды мыслей тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа...
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла[1].

Дремлет мгла нашего сердца, усыпленная обманчивым призраком мечтательных сновидений. Давай же, зажжем ее огнями небесных звезд: пойдем с тобою в пустыню, где "звезда с звездою говорит", прислушаемся к их таинственной немолчной беседе в безмолвии пустынной ночи! Века прошли, а пустыня все внемлет Богу: внемлем же Ему с тобою и мы!

"Житие и слава святых святым светом своим подобны звездам небесным. Как звезды, хотя и утверждены они на небе, но просвещают всю

[1] А. С. Хомяков. Стих. "Звезды".

вселенную, озаряют землю, светят и морю, и кораблями плавающих управляют, видимые и жителями Индии и от Скифов не скрытые. И хотя не знаем мы всех имен их из-за бесчисленного их множества, но дивимся красоте их светлой. Подобен им и свет святых: хотя и скрыты в гробах их мощи, но силы их в гробах их поднебесной не ограничиваются земными пределами. Удивляемся их житию, изумляемся и славе, которою прославляет Бог, угодивших Ему"[1]

"Перенесемся же мыслию в пустыню: там увидите вы дивное и славное видение. Очистим сердца свои, сделаем голубиные крылья и полетим, посмотрим на жилища тех людей, которые оставили шумные города и им предпочли горы и пустыни. Пойдем, посмотрим, как живут они подобно мертвецам в гробах своих. Пойдем, посмотрим на их тела, одетые власами. Пойдем, посмотрим на их питие, растворенное умиленными слезами. Пойдем, посмотрим на пищу их, состоящую всегда из диких растений. Пойдите, посмотрите на те камни, которые они кладут под головы свои. Живут они в пещерах и пропастях земных, как в крепостях. Окрестные горы и холмы для них высокие стены... Им нет покоя в этом мире, потому что они ожидают себе покоя в том. Они блуждают со зверями, как птицы летают по горам. Но, блуждая по горам, они сияют, как светильники, и просвещают светом своим всех, с усердием приходящим к ним... Царям скучно бывает в чертогах, а им весело в их подземельях. Носят власяницу блаженные отцы, но радуют-

[1] Св. Симеон Метафраст. Житие Преп. Ксении (24 января).

ся больше, чем носящие порфиру... Когда изнемогут, скитаясь по горам, ложатся на земле, как на мягком ложе. Немного заснут и спешат встать, дабы петь хвалы возлюбленному их Христу... Когда молятся они, стоя на коленях, из глаз их текут источники... Где застигнет их вечер, так и остаются; о могилах они не заботятся, ибо они уже мертвы, распявши себя миру из любви ко Христу. Где кончил пост свой, там для него и могила. Многие из них молились повергшись на землю, и тихо почили пред Господом. Другие, стоя на камнях, отдали души своему Владыке... Теперь ожидают они гласа, который разбудит их, и тогда процветут они, как цветы благовонные... Блаженны вы, всецело сохранившие в сердцах своих любовь ко Христу: пойдите теперь в тихое пристанище, насладитесь Христом, Которого возлюбили!"[1]...

Инок одного из Египетских пустынножительных монастырей, Преподобный Пафнутий, оставил по себе сказание, которое сам же и изложил письменно: в нем он описал, как обрели они в пустыне Преподобного Онуфрия Великого и иных пустынников. Повествование начинается так:

I

"Когда я пребывал на безмолвии в монастыре моем, вошло мне однажды в сердце желание выйти из монастыря моего во внутреннюю пустыню, чтобы видеть, — есть ли там какой-

[1] Преп. Ефрема Сирина "Похвальное слово подвижникам".

нибудь инок, который бы более моего работал Господу? И вот, взял я на дорогу немного хлеба и воды и пошел в самую глубь пустыни. Четыре дня шел я, не вкушая ни хлеба, ни воды, и дошел до какой-то пещеры. Было в той пещере одно только малое оконце, а вход был закрыт. Простоял я час под оконцем, постукивая в него время от времени, в надежде, что, по обычаю иноческому, вот-вот выйдет кто-нибудь на слух из пещеры и даст мне о Христе целование. И когда убедился я, что нет мне ответа и нет отверзающего, то сам открыл дверь, и вошел в пещеру со словом:

— Благослови!

И увидел я старца сидящего и как бы спящего. И опять промолвил я:

— Благослови!

И прикоснулся к плечу спящего, чтобы возбудить его; но к праху было прикосновение мое: осязав тело старца, нашел я, что уже много лет протекло над смертью его. Увидел я тут и одежду его, висящую на стене, и когда коснулся ее, то стала она в руке моей как пыль при дороге. Снял я с себя мантию мою, покрыл ею тело усопшего, руками ископал яму в земле песчаной и предал погребению мощи его с обычным песнопением, с молитвою и со слезами. И вкусил я немного взятого хлеба, отпил воды подкрепил силы и заночевал у могилы того старца. Утром же, сотворив молитву, двинулся я опять в дальний путь в самую глубь отдаленнейшей пустыни. И шел я так несколько дней, и обрел другую пещеру, и пред пещерой той я увидел следы

ног человеческих, указавшие мне, что кто-то живет в той пещере. Я постучался, но не получил ответа; вошел внутрь, но никого не нашел и внутри пещеры. И вышел я вон, размышляя в себе: видно, живет здесь какой-то раб Божий! И с мыслью этой отошел я на некоторое расстояние в пустыню, решив ожидать на месте том раба Божия, которого возжелал я видеть и приветствовать о Господе. Весь день тот пробыл я в ожидании и в непрестанном пении псалмов Давидовых. И как же прекрасно было то место! Стояла посреди него финиковая пальма, отягченная плодами, и тихо журчал источник живой воды ключевой. И дивился я красоте того места, желая жить в нем, если бы только было возможно... Когда же день стал клониться к вечеру, увидел я стадо идущих буйволов и посреди стада — раба Божия. (Был же тот Божий раб — Тимофей-пустынник). И когда приблизились они ко мне, тогда я увидел, что на муже том нет никакой одежды, и волосы покрывают наготу тела его. Когда же он подошел близко к тому месту, на котором я стоял, и когда меня заметил, то стал тут же на молитву, недоумевая не дух ли я, или привидение, ибо много раз, как сам он мне потом сказывал, — искушали его на том месте привидениями духи нечистые. Я же сказал ему:

— Чего страшишься ты, раб Иисуса Христа Бога нашего? Смотри: вот, следы от ног моих! Знай же, что я такой же человек, как и ты, осяжи: я — плоть и кровь, а не призрак или мечтание!"

Но он все еще смотрел на меня и только, когда уверился, что я — человек, успокоился, возблагодарил Господа и сказал:

— Аминь!

И подошел ко мне, и дал мне целование. И ввел он меня в пещеру свою, и предложил мне в пищу финики, а в питие из источника чистую воду; и сам вкусил со мною, меня ради. И спросил он меня:

— Зачем пришел ты сюда, брат мой?

И я ему ответил, объясняя мысль мою и намерение:

— Рабов хотел я видеть Христовых, живущих здесь, и вышел из монастыря моего, и пришел сюда: и Бог помог желанию моему, и сподобил видеть твою святыню.

И я вопросил его:

— Скажи теперь и ты, отец: как ты пришел сюда, и сколько лет живешь ты в этой пустыне, и чем питаешься, и почему ты наг, не одеваясь никакой одеждой?

И он в ответ повел так речь свою:

— В одной пустыни Фиваидской вначале пребывал я, проводя житие иноческое и усердно работая Богу; рукоделием же моим было ткачество. И вошел мне в сердце помысл: выйди из киновии, живи один, занимайся своим рукоделием — и тем большую получишь ты награду от Бога: от трудов рук своих не только сам питаться можешь, но и нищих питать и странных упокаивать. — Любовно преклонил я слух свой к тому помыслу: вышел из братства и близ города устроил себе отдельную келью и стал в ней

упражняться в рукоделии своем. И всего, что собирал я от трудов рук моих, было мне довольно для жизни моей. Многие приходили ко мне за моим рукоделием и за него платили мне всем, в чем я имел нужду: и покоил я странников, а избытки раздавал нищим и нуждающимся. Враг же диавол, который непрестанно против всех воюет, позавидовал жизни моей и постарался в ничто обратить все труды мои. И внушил он одной женщине придти ко мне и дать заказ, по рукоделью моему, — выткать ей полотно. Когда же я выткал его и отдал ей, тогда она заказала мне другое; и стали мы с той поры вести друг с другом беседы уже без всякого стеснения: и так, зачавши грех, родили мы беззаконие, пребыв в грехе около шести месяцев. И помыслил я в себе: не сегодня, так завтра, а не миновать мне смерти, — и придется мне тогда пойти в муку вечную. И сказал я себе: горе тебе, душа моя! беги лучше отсюда, чтобы избежать греха, а с ним и — вечной муки!.. Оставил я тогда все и бежал тайно, и пришел в эту пустыню, где нашел эту пещеру, источник и пальму эту, и на пальме — двенадцать ветвей, рождающих мне всякий месяц каждая столько фиников, сколько нужно их на тридцать дней моего пропитания. Как кончится месяц, и сойдут плоды с одной ветви, созревает другая: и так благодатью Божиею и питаюсь я, не имея запасов в пещере моей. И обветшав от времени, спали с меня одежды мои, а после лет многих (я тридцать лет уже пребываю в этой пустыне) выросли на мне те волосы, которые ты

видишь: вместо одежды мне служат они и покрывают наготу мою.

И слышав речь праведного (так пишет Пафнутий), спросил я его:

— Поведай мне, отец, о чем спрошу тебя: была ли тебе скорбь какая в начале твоего прихода сюда, или нет?

И ответил мне праведник:

— Безчисленные претерпел я нападения бесовские. Много раз брались они бороться со мною, но не одолели при помощи Божией, ибо противился я им знамением крестным и молитвою. Но скорбь мне была не от одних нападений вражиих, была мне она и от телесной болезни: я так мучился от страданий желудка, что от этой болезни падал на землю и не мог, стоя на ногах, творить обычной молитвы; валяясь на земле в пещере моей, совершал я пение мое в таком тяжком страдании, что даже и наружу не мог выйти. Молился же я тогда Богу милосердному, да подаст Он мне прощение грехов ради моей лютой болезни. И сидел я однажды на земле, тяжко утробою своей страдая, и увидел внезапно пред собою почтенного мужа. И он спросил меня:

“Чем болеешь?”

Я же едва мог ответить ему:

“Утробою болею, господин мой”.

И сказал он мне:

“Покажи, где болит!”

И я ему показал. Он же простер руку свою, возложил ее на больное место, и я тотчас же исцелился. И сказал мне тот муж:

“Ты здоров теперь. Смотри же, не согрешай, чтобы горшего тебе чего не было, но работай Господу отныне и до века!”

И с того времени я всем здоров, благодаря Бога и прославляя милосердие Его.

В такой-то беседе, — пишет Пафнутий, — провели мы почти всю ночь, а к утру восстали на обычную молитву. Когда же настал день, начал я просить того преподобного отца, чтобы благословил он мне жить при нем, а если нельзя при нем, то где-нибудь в ближайшем от него месте. Но он на просьбу мою ответил:

— Не можешь, брат, ты здесь терпеть бесовских искушений.

И не позволил мне пребывать при нем. И молил я его:

— Скажи мне хоть имя свое!

— Имя мое, — сказал он мне, — Тимофей. Поминай меня, брат мой возлюбленный, и моли обо мне Христа Бога, чтобы Он до конца моего не лишил Своего милосердия, которого я от Него удостаиваюсь.

Я же, Пафнутий, припал к ногам его, прося и его молитв за меня. И сказал он мне на это:

— Да благословит тебя Владыка наш Иисус Христос и да покроет Он тебя от всякой сети диавольской, и да подаст Он ходить в путях правых и перейти непреткновенно ко святым Его!

И, благословив так, отпустил меня преподобный Тимофей с миром. Из рук его принял я на путь плодов финиковых, почерпнул в сосуд свой воды из источника, поклонился старцу

святому и отошел от него, славя и благодаря Бога, что сподобил Он меня видеть такого Своего угодника, попользоваться от слов его и принять его благословение.

II

Пустившись в обратный путь от места подвига преподобного Тимофея, я через несколько дней пришел в один пустынный монастырь и остановился в нем, чтобы отдохнуть до времени. И стал я скорбеть и сокрушаться, размышляя и говоря себе: что же это за жизнь моя? что за подвиги. Нет в них и тени жития и подвигов того угодника Божия, которого я видел. И немало дней провел я в таком размышлении, желая подражать в богоугождении тому мужу. И возбудило меня милосердие Божие к тому, чтобы попекся я о душе моей и не поленился вновь идти во внутреннюю пустыню путем незнаемым в ту страну, где обитает народ варварский, имя которому "Мазик", или "Мазики". Одного только и желал я усердно, чтобы увидать мне, есть ли еще в пустыне и другой какой пустынник, работающий Богу, найти его и от него получить пользу для души моей.

И, вот, отправился я, — пишет Пафнутий, — в намеченный мною путь пустынный, взяв с собою хлеба и воды столько, чтобы хватило мне на малое время. Когда вышел у меня весь хлеб и не стало у меня воды, стал я скорбеть о лишении пищи, но я крепился и так шел четыре дня и четыре ночи без пищи и без пития, пока не изнемог телом до того, что упал на землю, ожи-

дая смерти. И увидел я святолепного мужа прекрасного и пресветлого. Подошел он ко мне, возложил мне руку свою на уста и стал невидим: и тотчас я ощутил в себе силы, и уже не испытывал ни голода, ни жажды. Когда же поднялся я с земли, то пошел опять в глубь той пустыни и опять четыре дня и четыре ночи шел без пищи и без пития, — и вновь стал я изнемогать от голода и жажды. Тогда воздел я руки к небу, помолился Господу и вновь увидел того же мужа. Коснулся он уст моих и стал невидим. И от прикосновения того я вновь почувствовал в себе новую, еще большую силу и вновь отправился в путь. И когда настал семнадцатый день путешествия моего, я дошел до некоей высокой горы и сел у подножия ее отдохнуть, ибо очень утрудился. И увидел я вдали от меня идущего мужа, образом страшного как зверь, всего обросшего волосами и белого как снег; был же он сед от старости. Волосы же его головы и бороды были так длинны, что достигали земли и, как одеждой, покрывали его тело; чресла же его были перепоясаны листьями пустынных растений. И когда увидел я, что приближается он ко мне, то напал на меня страх, и я убежал на скалу, что была наверху горы. Муж же тот, дойдя до подножия горы, сел отдохнуть в ее тени: а был он утомлен от палящего зноя и от немощи своей старческой. Взглянув же на гору и увидев меня, воскликнул он громким голосом:

— Человек Божий, сойди ко мне! Я такой же, как и ты, человек, Бога ради живущий в этой пустыне.

И когда я услышал зов его, — пишет Пафнутий, — то поспешно притек к нему и пал пред его ногами. Но он мне сказал:

— Встань, сын мой! Ты тоже раб Божий и друг святым Его. Пафнутий — имя тебе.

И я встал, а он повел меня сесть. И сел я пред ним с радостью. И прилежно просил я его, чтобы поведал он мне имя свое и житие, и пребывание свое в пустыне, и сколько времени проводит он в подвиге. Видя же прилежное моление мое, начал он мне сказывать повесть свою такими словами:

— Имя мое — Онуфрий. Шестьдесят уже лет как я в этой пустыне, скитаясь в горах и не видя ни единого человека. Тебя первого я вижу ныне. Было же мое пребывание прежде в честном монастыре, именуемом Эрити что близ города Ермополя, в стране Фиваидской. Жило в том монастыре сто братий единодушных, живущих в согласии и великой о Господе нашем Иисусе Христе любви между собою. Все общее у них было — и пища, и одежда, — и проводили они постническую жизнь свою в безмолвии и мире, славя милость Господню. Я же, наставляясь там в новоначалии с детства моего, поучался у святых отцов вере и любви к Богу и уставам жития иноческого. И слышал я тогда беседы их о святом пророке Илии, как он, укрепляемый Богом, в пост имел пребывание в пустыне. И о святом Иоанне Предтече слышал я в те далекие свои годы, о том пророке великом, подобного которому не было никогда между человеками. Внимая же беседам о том, каково было житие его в

пустыне до самого дня явления его Израилю, вопросил я отцов:

"Больше ли вас пред Богом те, что живут в пустыне?"

Они же мне отвечали:

"Истинно, чадо, те больше нас пред Богом: мы всякий день видим друг друга и пение соборное совершаем с радостью; есть ли захотим, — готовый хлеб обретаем; возжаждем ли — и вода нам готова; заболеет ли кто из нас, — от братий утешение получает, ибо все мы живем общей жизнью, друг другу помогаем и ради любви Божией служим. У живущих же в пустыне нет ничего того. Прилучится ли кому из пустынножителей какая печаль, — кто его утешит? кто в недуге ему поможет и послужит? Наведется ли сатаною брань, — где отыщет он человека, который мог бы изменить течение его мыслей словами убеждения? Во всем и везде он одинок. Пищи ли у него не станет, — откуда он ее возьмет? Возжаждет — и воды нет ему поблизости... О, дитя! в пустыне там предстоит спасающемуся труд несравненно больший, чем нам, живущим в общежитии, и тот, кто вступает в подвиг жития пустынного, того труд выше перед Господом: больше пост, великодушнее терпение в голоде и жажде, в зное полуденном, и в холоде ночи. Крепко противится тот браням, невидимым врагом наносимым, все силы свои напрягая на его одоление. Вот, какова высота стремления их, пройти весь тесный и скорби исполненный путь, ведущий в Царство Небесное! И, вот, тех великих трудов ради,

посылаемы к ним Богом бывают святые Ангелы: они им и пищу приносят, и воду из камня изводят, и укрепляют их так, что сбываются на них слова Исаии пророка: "Изменится крепость терпящих Господа ради, — окрыляются они, как орлы, в путь пойдут, и не утрудятся".

Кто же из них не сподобляется очевидного ангельского видения, тот все же не лишается невидимого их присутствия, соблюдающего пустынника во всех путях его, защищающего его от наветов вражеских, помогают ему Ангели Господни в делании его и молитвы его Богу приносят. А случится кому из пустынников вражья напасть, — возденет он руки свои к Богу; и в тот же час посылается ему свыше помощь, ради чистоты его сердечной, расточаются все его напасти...

Ты слышал ли, чадо, что сказано в Писании: "Не оставляет Бог ищущих Его, и не будет забвен нищий, и терпение убогих не погибнет до конца"? И еще: "Воззвали ко Господу в скорби своей, и от бед их избавил Господь"?

Воздаст Господь каждому по труду его, подъятому Господа ради, и блажен творящий на земле волю Господню и усердно работающий Ему: и Ангелы, хотя бы невидимо, ему служат и радостью духовною его исполняют, и укрепляют его на всякий час, пока живет он во плоти.

Слушал я все это от святых отцов в монастыре моем и услаждался я, смиренный Онуфрий, в сердце моем и душе слаще, чем от меда, и мнил я себя как бы в ином мире.

И возбудилось во мне желание неизреченное удалиться в пустыню.

И, вот, встал я ночью и, взяв не больше как дня на четыре хлеба, вышел я из монастыря и пошел, возложив упование на Бога, дорогою, ведущею в горы, а оттуда в пустыню. И только стал я вступать в пределы пустыни, увидел я пред собою луч сияющего света. И остановился я в сильном испуге, помышляя уже возвратиться обратно в мой монастырь. Луч же тот светлый приблизился ко мне и из него услышал я голос, говорящий мне:

“Не бойся! Я — Ангел, сопутствующий тебе от дня твоего рождения: я приставлен к тебе Богом, чтобы охранять тебя в путях твоих. И ныне повелел мне Бог вести тебя в эту пустыню. Будь совершен и смирен сердцем пред Господом, работай Ему с радостью, и я не отступлю от тебя, пока не повелит Создатель взять душу твою”.

Сказал то из световидного луча незримый Ангел и пошел предо мною; я же последовал за ним с великой радостью.

Так шли мы шесть, или семь миллиарий[1]; и увидел я довольно большую пещеру, и стал мне невидим луч ангельского света. Когда же приблизился я к пещере, то пожелал узнать, нет ли в ней человека и, по обычаю иноческому, подойдя ко входу, сказал громко:

[1] Мера длины, равна 1481.75 метра, или около 1.5 версты.

“Благослови!”

И увидел я честного старца, образом священнолепного, являющего лицом и взором пребывание в нем великой благодати Божией и радости духовной. Увидев его, я кинулся к ногам его и поклонился ему в землю. Он же рукою поднял меня и, дав целование, сказал:

“Так это ты, брат Онуфрий, сотрудник мой о Господе? Войди, чадо, в обиталище мое! Бог в помощь тебе в призвании твоем творить добрые дела в страхе Божием!”

И вошел я в пещеру его, и пробыл с ним некоторое время, чтобы научиться от него доброму его деланию. И научил он меня образу жития пустынного. Когда же увидел старец, что просветился дух мой к упражнению в делах, угодных Господу нашему Иисусу Христу, и к небоязненному противостоянию тайным браням противника-диавола и страшилищам, таящимся в пустыни, то сказал он мне:

“Идем теперь, чадо мое: я поведу тебя в иную пещеру — она во внутренней пустыни: живи в ней один и трудись с помощью Божией в делании духовном, ибо на то смотрением Своим и послал тебя Господь, чтобы быть насельником внутренней пустыни”.

Преподав мне такое наставление, взял и повел он меня в самую глубь пустыни. И шли мы четыре дня и четыре ночи, а на пятый день обрели мы на пути нашем малую пещеру. И сказал мне святой тот муж:

“Вот место то, которое для жительства твоего уготовал тебе Бог”!

И пробыл тут со мною старец тридцать дней, наставляя меня в добром делании. И когда исполнилось тридцать дней, отошел он на место своего пребывания, поручая меня Богу. И от того дня приходил он ко мне раз в год, ежегодно посещая меня до самого преставления своего к Богу. Когда же преставился мой старец, я много плакал и предал его погребению близ моего жилища.

И вопросил я его, смиренный Пафнутий:

— Отец святой! много ли принял ты на себя трудов в начале пришествия твоего на эту пустыню?

Отвечал мне блаженный старец:

— Поверь мне, брат возлюбленный, так тягостно мне было, что много раз я отчаивался даже в жизни моей и мнил быть при смерти: изнемогал я от голода, и от жажды, не имея сначала ровно ничего, что есть мне, или что пить, кроме некоего разве зелья пустынного, что было мне пищей; а жажде моей только от небесной росы бывала прохлада. И днем жгло меня солнце полуденным зноем, а ночью промерзал я от холода ночного; и сырело тело мое от росы небесной: чего только не принял в непроходимой этой пустыне? Нет возможности и высказать даже всего, что претерпел я и какие понес я труды, да не подобает открывать того, что человеку должно наедине творить ради любви Божией. Благий же Бог. видя, что я предал всего себя на постнические подвиги и душу свою положил на алкание и жажду, повелел Ангелу Своему иметь обо мне попечение и приносить мне на

каждый день немного хлеба и немного воды для укрепления моего тела: так и питаем я был Ангелом тридцать лет. Когда же протекли те годы, тогда даровал мне Бог в утешение пищу более обильную: близ пещеры чудесно выросла финиковая пальма, и на ней — двенадцать ветвей, и каждая ветвь каждый месяц стала приносить плоды свои. Пройдет месяц, — сойдут и плоды с одной ветви; тогда начинает плодоносить следующая: и так на все двенадцать месяцев распределено было между ветвями той пальмы мое пропитание. Господним же повелением истек для меня из камня и малый источник ключевой воды. И, вот, с тех пор прошло еще тридцать лет и во все эти годы всего было у меня в изобилии: или хлебом Ангельским питаюсь, или финиками с зельем пустынным, которое для меня как мед, услаждается повелением Господним; пью же я чистую воду ключевую, воздавая за все благодарение Богу. Паче же всего питаюсь и упоеваюсь от слов Божиих, как писано о том: "Не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих"... О, брат мой, Пафнутий! Стоит только тебе приложить усердие к исполнению воли Господа Бога, как все тебе потребное будет Им послано, ибо сказано в святом Евангелии: "Не заботьтесь, говоря, что вам есть и что пить, и во что одеться, ибо всего этого и язычники ищут: Отец ваш небесный знает, что все это вам необходимо. Ищите же прежде всего Царствия Божьего и правды его, и это все приложится вам".

Так говорил мне Онуфрий преподобный, и я, Пафнутий, дивился чудному житию его. И вопросил я его вновь:

— Отец! Как же причащаешься ты в субботу и день воскресный Пречистых Христовых Таин?

И он мне ответил:

— Приносит мне Пречистые Христовы Таины и причащает меня Ангел Господень. И не ко мне одному приходит он с Божественным причащением, но и к прочим, живущим Бога ради в пустыне и не видящим лица человеческого. И от того причащения исполняемся мы неизреченного веселия. Когда же кому из пустынников пожелается видеть лицо человеческое, то берет его Ангел и возносит на небо, чтобы видеть ему там святых, возвеселиться и просветиться там душе его, как свету полуденному, возрадоваться духом, при виде благ небесных, уготованных Богом для любящих Его. И забывает тогда сердце пустынника все труды, подъятые им в пустыне, и еще усерднее тогда, вернувшись на землю, работает Богу пустынник, уповая навеки получить на небесах то, что восхищением был удостоен видеть.

У подножия горы той, где была наша первая встреча, говорил мне все это преподобный Онуфрий. И от такой беседы преподобного исполнился я радости великой, и забыл я всю тяготу, и голод и жажду путешествия моего. Когда же пришел я в себя от восторга духовного, то сказал преподобному:

— О, как же блажен я, что удостоился видеть тебя, отец святой, и слышать сладкие и прекрасные твои речи!

Он же сказал мне:

— Встанем же теперь, брат, и пойдем к жилищу моему! — и мы встали, и пошли.

Я же не переставал удивляться благодати, почивающей на преподобном старце. Так прошли мы два или три миллиария и пришли к честному жилищу святого. Росла там, близ него, большая финиковая пальма и протекал малый источник проточной ключевой воды. И, остановившись у пещеры, помолился преподобный. Когда же окончил молитву и сказал "аминь", то сел сам и мне велел сесть рядом с собою: и так продолжали мы беседу, возвещая друг другу милости Господни. Когда же стало солнце склоняться к западу и гаснуть день, тогда увидел я лежащий между нами хлеб чистый и приготовленную для питья воду; и сказал мне блаженный тот старец:

— Вкуси, брат, положенного пред тобою хлеба и подкрепи силы: вижу я, что изнемог ты от голода и жажды, и от труда дорожного.

Я же ответил ему:

— Жив Господь мой! Он — Свидетель мне, что не стану я есть и пить один, если ты сам не будешь есть со мною!

Но он не соглашался. И долго я просил его о том, и едва мог умолить его. Тогда взяли мы хлеб в руки, переломили, ели и насытились, и еще остались остатки хлеба. И испили мы воды, и благодарили Бога, и всю ночь ту пробыли на молитве.

Когда же воссиял день, то заметил я на утреннем пении, что изменился в лице преподобный, и устрашался я перемене этой. Он же, провидя страх мой, сказал мне:

— Не бойся, брат мой Пафнутий! Милосердный ко всем Бог послал тебя ко мне, чтобы ты предал погребению тело мое, ибо в нынешний день окончится временное житие мое, и перейду в жизнь бесконечную ко Христу моему в покой вечный.

Был же день тот двенадцатый месяца июня. И дал мне, Пафнутию, завет свой преподобный Онуфрий:

— Когда возвратишься ты, брат мой возлюбленный, в Египет, поминай меня тогда пред лицом братии и всех христиан!

Я же сказал ему:

— Отец святой! Я желаю по исходе твоем из тела, пребыть здесь на твоем месте.

Отвечал мне преподобный:

— Не для того, дитя мое, послан ты Богом в эту пустыню, чтобы иметь в ней пребывание, но для того, чтобы видеть рабов Его, возвратиться затем домой и поведать добродетельное житие их братьям, на пользу слышащим и во славу Христа Бога нашего. Иди же, дитя мое, в Египет в монастырь свой и в иные и поведай, что видел уже и слышал ты в пустыне, а также и то, что еще увидишь и услышишь. Сам же пребудь в делах добрых, работая Христу Богу.

И пал я после слов этих пред честными его ногами, и сказал я:

— Благослови меня, отец честнейший, и помолися обо мне: да удостоит меня Бог Своей милости, и да сподобит меня Спаситель мой видеть святыню твою в жизни будущего века, как удостоил того и в этой жизни привременной.

И поднял меня преподобный Онуфрий с земли и сказал мне:

— Пафнутий, дитя мое! оправдает веру твою Бог и исполнит прошение твое. Благословит Он тебя, утвердит в любви твоей и просветит очи твои к Боговидению, избавит тебя от всякого падения и сетей противника — диавола и усовершит в тебе начинания твои добрые; сохранят тебя Ангелы Его во всех путях твоих и соблюдут тебя от врагов невидимых, да не обретут они в чем обвинить тебя пред Богом в честь испытания грозного!

И затем дал мне преподобный отец последнее о Господе целование и начал молиться Богу со слезами обильными и многим воздыханием. Преклонив колени и помоляся довольно, возлег он на землю и изрек последнее свое слово:

— В руки Твои, Боже мой, предаю дух мой!

И при словах этих, осиял его с небес свет дивный, и в осиянии того света, с веселием радости на лике своем, испустил он дух свой. И во мгновение то услышал я в воздухе глас пения Ангелов Божиих, поющих и благословляющих Бога: то возносилась к Господу душа преподобного, принятая с радостью на руки Ангельские. И рыдал я, и плакал я над честным его телом, ибо не успел я приобрести отца, как

тут же его и лишился. И сорвал я с себя одежду мою, отодрал подшивку ее и ею прикрыл тело святого, а верхом одежды моей вновь одел тело мое, чтобы не нагим возвратиться мне к братии моей монастырской. И нашел я камень великий, в котором не руками человеческими, но Божиим смотрением, устроено было углубление наподобие гроба: и положил я в том камне с подобающими песнопениями святое тело угодника Божьего. И, собрав множество камня мелкого, покрыл я тем камнем честное тело преподобного.

Когда же я стал молиться Богу, чтобы даровал Он мне жить на том месте и только хотел, было, пойти в ту пещеру, как в то же мгновенье, на глазах моих, разрушившись, пала пещера и пала с корнем пальма, питавшая святого, и иссяк источник воды ключевой. Когда же увидел я совершившееся, то познал я, что нет благоволения Божьего на то, чтобы жить мне на том месте. И собрался я уходить оттуда; съел я куски хлеба, оставшиеся от вчерашнего дня, выпил и остатки воды в сосуде и, воздев руки к небу и возведя очи, помолился. И увидел я того же мужа, которого видел и прежде, направлясь в пустыню; и тот, укрепив силы мои, пошел вперед предо мною. Исходя же оттуда, скорбел я о кончине святого Онуфрия и о том, что не удостоился дольше видеть его в живых, но скорбь свою растворял я радостью души моей, что сподобился насладиться святою его беседою и благословение от уст его принял. И так двинулся я в путь, благодаря и прославляя Бога.

III

Четыре дня шел я и дошел до некоей кельи, находящейся вместе с пещерою на высоком плоскогории. Вошел я в нее и, не найдя в ней ничего, посидел немного, размышляя в себе: есть ли в келии этой, куда привел меня Бог, кто-либо из числа живых? И пока помышлял я об этом, вошел некий святой муж, сединами украшенный; вид же его был чуден и благолепен, и был он одет в одежду, сплетенную из пальмовых ветвей. И как только увидел он меня, тотчас же сказал мне:

— Не ты ли брат Пафнутий, предавший погребению тело преподобного Онуфрия?

И уразумел я, что то было ему откровение от Бога; и припал я к ногам его. Он же приветливо сказал мне:

— Встань, брат! Бог сподобил тебя быть другом святых, ибо от Промысла Его увидал я, что ты придешь ко мне. Открою тебе, брат мой возлюбленный, что шестьдесят уже лет протекло над пребыванием моим в этой пустыне, и не видел я иного ко мне приходящего, кроме братий со мной обитающих.

Пока же говорили мы между собой, вошли трое других, святым подобных, старцев и, как вошли сказали:

— Благослови брат! Ты брат Пафнутий, наш сотрудник о Господе, и ты погребал тело святого Онуфрия. Радуйся же, брат наш: великую ты сподобился видеть благодать Божию! О тебе же возвестил нам Господь, что сегодня ты должен прийти к нам, и что повелел Он тебе

один день пробыть с нами. Вот, уже шестьдесят лет прошло, как мы пребываем в этой пустыне, живя отдельно друг от друга и собираясь вместе в субботу ко дню воскресному. И не видели мы за все время человека: тебя только первого ныне видим.

Когда же беседовали мы между собою о преподобном отце Онуфрии и об иных святых, и когда два часа протекли в этой беседе, сказали они мне:

— Вкуси, брат, немного хлеба и укрепи сердце твое, ибо издалека пришел ты, и следует нам поэтому попраздновать с тобою.

И вставши, сотворили мы единодушно молитву к Богу, и увидели пред собою пять хлебов чистых, прекрасных, мягких и теплых, как бы только сейчас испеченных. Принесли же отцы те и еще кое-что из плодов земных и съели, и ели вместе. И сказали они мне:

— Как уже и говорили мы тебе, — шестьдесят лет пребываем мы в этой пустыне, — и всегда только четыре хлеба приносились неведомо нам повелением Божиим; а пришел ты, — и пятый хлеб был нам послан. Откуда же приносятся они нам, то нам неведомо; но всякий день каждый из нас, входя в свою хижину, находит в ней по одному хлебу. Когда же, ко дню воскресному, соберемся мы сюда вместе, то четыре здесь находим хлеба, по одному на каждого из нас.

И вкусили мы от трапезы той, и благодарили Бога. День уже склонялся к вечеру, и наставала ночь. Стали мы с вечера субботнего на молитву и провели всю ночь без сна, молились

до света дня воскресного. Когда же настало утро, стал я молить тех святых отцов, чтобы повелели они мне остаться с ними до самой моей смерти. Они же на мольбы мои ответили мне:

— Нет изволенья Божьего на пребывание твое с нами в этой пустыне, ибо надлежит тебе идти в Египет и христолюбивой братии открыть все, что ты видел: да будет же то в память нашу, а слышащим на пользу.

Когда же дали они мне такой ответ, тогда стал я молить их, чтобы сказали они мне имена свои; но они не пожелали мне их поведать. И долго, усердно молил я их о том, но не было мне успеха; только одно сказали мне они:

— Всеведущ Бог, Тот и имена наши знает. Поминай же нас, брат, и молись о нас, да сподобимся видеть друг друга в небесных обителях Божиих. Бегай, возлюбленный, мирских искушений, чтобы не быть тебе от них посрамленным, ибо обольстили они уже многих.

И слышав слова этих преподобных, припал я к ногам их и, получив от них благословение, отошел с миром Божиим в путь мой.

И предсказали мне нечто отцы те, что и сбылось с течением времени.

IV

Уйдя оттуда, шел я глубочайшею пустынею день один и, дойдя до некоей пещеры, при которой был источник ключевой воды, присел я там отдохнуть. И залюбовался я красотою места того: так было прекрасно то место. Там, по

берегам источника, росло множество садовых деревьев, и все они были отягчены разнообразнейшими чудными плодами. Отдохнул я немного, встал и пошел пройтись под тенью тех деревьев, дивясь чрезвычайному обилию плодов их. И размышлял я в себе: кто это был, кто насадил здесь все это?.. Каких, каких только плодов там не было! И плоды финиковых пальм, и — лимонных деревьев, и чудные, крупные яблоки, и смоквы, и винные ягоды; и рделись там виноградные лозы, обремененные крупными гроздьями; и были там иные плодовые деревья, плоды которых на вкус слаще меда были. И от всех плодов тех исходило благоухание великое: и все наслаждения те дивные поились струями воды ключевой протекавшего между ними источника. И мнил я, что рай это Божий. И когда любовался я на красоту ту прекрасную, издалека показались мне идущие ко мне из пустыни четыре красоты неописанной юноши, опоясанные по чреслам своим овечьими шкурами. И, приблизившись ко мне, они мне сказали:

— Здравствуй, брат наш Пафнутий!

И пал я ниц на землю, и поклонился им. И, подняв меня, сели они со мною, и повели мы между собою беседу. И такою благодатью Божиею сияли их лица, что, казалось, не человеков вижу в них, а Господних Ангелов, с неба сошедших. И радовались они приходу моему и, срывая плоды с деревьев, предлагали мне их в пищу: и от любви их преисполнилось сердце мое веселия. Семь дней пробыл я у них, питаясь плодами с тех деревьев.

И вопросил я их:

— Как пришли вы сюда, и откуда вы родом?

Отвечали же они мне:

— Так как послан ты к нам Богом, то мы откроем тебе житие наше. Мы из города, называемого Оксиринх; родители наши были старейшинами того города. Желая отдать нас в обучение книжное, отдали они нас в одно училище, и мы скоро научились там грамоте. Когда же начали мы обучаться высшим наукам, то положили себе начать учиться и Божией духовной премудрости. И помог нам в этом Господь: каждый день сходились мы между собою и возбуждали друг друга к служению Богу. С таким-то добрым намерением в сердце, задумали мы поискать где-нибудь уединенное место и пребыть на нем несколько дней в молитве, чтобы уведать нам Божью о нас волю. И взяли мы на каждого понемногу хлеба и воды, и чтобы только хватило не более как дней на семь, и с этим вышли из города. Когда же чрез несколько дней пути достигли мы пустыни и вступили в нее, тогда внезапно открылись нам духовные наши очи, и узрели мы пред собою некоего светлого мужа, сияющего небесной славой: взял он нас за руки, повел и привел на то место, которое ты видишь, поручив нас некоему престарелому мужу, работавшему здесь Богу. И вот, пошел уже шестой год, как здесь мы пребываем. Со старцем же тем пробыли вместе год один, и, когда год тот исполнился, ко Господу преставился отец наш, и с того времени мы одни...

Вот и открыли мы тебе, брат наш возлюбленный, откуда мы родом, и как сюда прибыли. Во все шесть лет нашего здесь пребывания не вкусили мы ни хлеба, ни иного чего, только от этих садовых плодов и питались. Пребывает же каждый из нас отдельно на своем безмолвии. Когда же приходит суббота, то сходимся мы все на это место, чтобы видеть друг друга и вместе утешаться о Господе. И так пробудем мы вместе два дня, субботу и воскресенье, и опять расходимся каждый на свое пребывание.

— Где же причащаетесь вы в субботу и воскресенье Божественный Таин Пречистого Тела и Крови Христа Спасителя нашего? — вопросил их я, смиренный Пафнутий.

И ответили мне они:

— Из-за того-то и собираемся мы здесь всякую субботу и воскресенье, ибо Ангел святой и пресветлый, посылаемый Богом, приходит к нам и преподает нам святое Причащение.

И весьма возрадовался я, слыша это, и решил дождаться у них субботы, чтобы и мне сподобиться видеть святого Ангела и из рук его принять Божественное причащение. И пробыл я у них до субботы. И они, ради меня, пробыли со мною на том месте, не расходясь на свое безмолвие. И провели мы дни те в славословии Бога и в молитвах, вкушая от плодов садовых и утоляя жажду водою источника.

Когда же наступила суббота, сказали мне те рабы Христовы:

— Готовься, брат любимый, ибо сегодня явится Ангел Божий и принесет нам Божествен-

ное Причащение. Кто от рук его удостоится приобщиться, тому оставляются все его согрешения, страшен тот становится бесам, и не может к нему приблизиться искушение сатанинское.

И пока говорили они мне это, ощутил я благоухание великое, как бы от дивного фимиама и драгоценных благовоний. И дивился я, ибо никогда и нигде, не ощущал я такого запаха сладкого. И вопросил я:

— Откуда исходит благоухание такое неизреченное?

Они же ответили мне:

— То приближается Ангел Господень с Пречистыми Таинами Христа и Бога нашего.

И тотчас же стали мы на молитву, и начали петь и славословить Христа Царя Бога нашего. И осиял нас внезапно с небес свет предивный, и увиден был сходящий с неба Ангел Господень. И был блеск его, как блеск молнии. И пал я ниц на землю от страха. Они же подняли меня и не велели бояться. И узрел я представлего нам Ангела Божия в образе юноши прекрасного; красоты же его мне описать никак невозможно. И держал он в руке потир святой с Причащением Божественным. И к тем Таинам Святым по одному приступали те рабы Божии, а по ним приступил и я, грешный и недостойный, с великим трепетом и ужасом, но и с неизреченной радостью: и так сподобился я причаститься Пречистых Таин Христовых от рук Ангельских. Когда же причащались мы, то слышали глас Ангела, говорящего:

— Тело и Кровь Господа Иисуса Христа Бога нашего да будет в вас пищей нетленной, непрестающим веселием и жизнью вечною!

И мы отвечали:

— Аминь!

По святом же том Причащении, приняли мы благословение от преславного того Ангела, и он на глазах наших восшел на небеса; мы же пали на землю и поклонились Богу, благодаря за такую великую благодать Его. И как же велика была радость в сердцах наших! Не на земле мнилось мне быть, а на небе. И от той радости великой духовной был я в исступлении, как бы вне себя от восторга.

И принесли затем те святые рабы Божии плоды садовые, и сели мы, и вкусили. Когда же прошел день субботний, и настала ночь, то провели мы ту ночь без сна в псалмопении и славословии Божием. В день же воскресный удостоились мы той же благодати Божией, что и в субботу: тот же Ангел Божий, в том же виде и образом тем же сошел к нам и причастил нас и превеликой исполнил радости сердца наши. Осмелел я тогда, принял на себя дерзновение и стал молить Ангела, чтобы повелел он мне пребывать до конца моей жизни на месте том со святыми рабами Божиими. Но сказал мне на это Ангел:

— Не угодно Богу, чтобы ты жил здесь; повелевает Он тебе, не медля, идти в Египет и рассказать братиям, что ты видел и слышал в пустыне, чтобы и они приложили усердие проводить жизнь добрую и угодить Владыке Христу. Поведай же особливо житие и кончину

блаженную преподобного Онуфрия, тело которого ты в камне предал погребению, и возвести братии все, что услышал ты из уст его. Блажен и ты, что удостоился видеть и слышать чудесное то и дивное величие Божие, которое совершалось на святых Его в этой пустыне. Пребудь же в уповании на Господа, что и тебя в жизни будущей причтет Он к тем же святым, которых ты видел и с кем имел ты беседы. Иди же сегодня в путь твой, и да будет мир Божий с тобою!

Сказал это Ангел и восшел на небеса. И от тех слов Ангельских исполнился я такого страха и радости, что не стало силы во мне, и как бы вне себя, пал я на землю. Святые же рабы Божии помогли мне подняться и, утешая меня, предложили свою трапезу. И вкусили мы, и благодарили Бога. Дав затем целование святым, пошел я в путь свой; они же дали мне на дорогу плодов садовых и проводили меня около пяти миллиарий. И просил я их сказать мне имена свои. И они мне сказали: первый — Иоанн, второй — Андрей, третий — Иракламвон, четвертый — Феофил. И повелели они мне сказать братии имена их для поминовения, а я молил их поминать и меня в молитвах их святых. И, вновь дав друг другу целование о Господе, разошлись мы: они — в свое место, а я своим путем — в Египет.

V

И когда шел я пустыней, был печален и радостен вместе: печалился о том я, что лишился лицезрения и сладкой беседы таких Божиих угодников, которых и мир весь недостоин; а

радовался я тому, что удостоился их благословения, видения Ангельского и из рук Ангельских Причащения Божественного. По трех же днях пути дошел я до одного скита и нашел в нем двух братьев-отшельников; и отдыхал я у них десять дней, и рассказывал им все виденное и слышанное мною в пустыне. И слушали они меня с великим умилением и радостию; и сказали мне они:

— Воистину, отец Пафнутий, великой ты сподобился благодати Божией, даровавшей тебе видеть таких рабов Божиих.

Были же и эти два брата добродетельны и любили они Бога от всего сердца. И записали они все, что из уст моих слушали. Простившись с ними, я отошел в монастырь свой, а они запись сказания моего понесли ко всем скитским отцам и братиям, и получали от нее пользу великую все, ее читавшие и слышавшие, и благословляли Бога, дивно являющего милость Свою на рабах Своих. И положили они книгу записи той в церкви, чтобы желающие могли читать ее, ибо исполнена она назидания духовного и богомыслия. Я же, нижайший из рабов, Пафнутий, не по достоинству сподобившийся такой милости Божией, возвещаю всем и устами моими, и писанием то, что повелено было мне возвестить во славу Божию и в память святых Его, и на пользу ищущим душе своей спасения. Благодать же и мир Господа нашего Иисуса Христа, молитвами угодивших Ему святых и преподобных отцов наших да пребудет с вами ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

* * *

Так вот о чем, читатель дорогой, поведали нам “звезды пустыни”.

В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков...

Истинно, вера наша Христова заключена вся не в словах премудрости земной, а в явлениях силы и духа.

Молитвами преподобных пустыни Египетской да простит и сохранит нас Господь и в этом веке, и в будущем!

Оптина пустынь.
27 февраля 1909 г.

АЛЕКСАНДР СТРИЖЕВ

ГРОЗОВОЕ НЕБО СЕРГЕЯ НИЛУСА

Сергей Александрович Нилус (1862 — 1929) — выдающийся духовный писатель XX века, оставивший нам в наследие шесть томов произведений, не считая статей, разбросанных в периодике.

Мы мало знаем о его жизни. Единственная о нем книга, князя Н.Д.Жевахова, недоступна читателю (издана в одном из эмигрантских издательств, в Югославии, в г. Нови Сад, в 1936 г.). Из отрывочных сведений, которые сообщал о себе собеседникам и корреспондентам сам Сергей Александрович, мы знаем, что он окончил юридический факультет Московского университета, в совершенстве владел французским, английским и немецким языками, прекрасно знал иностранную и русскую литературу. После службы судебным следователем в Закавказье выходит в отставку, поселяется в своем имении (он был помещик Орловской губернии), пытается вести хозяйство.

Потом в его жизнь входит любовь. Человек яркий и увлекающийся, Нилус мчится с люби-

мой женщиной в Париж, живет в Ницце, Биаррице... Разоряется... Опомнившись и оглядевшись, возвращается в Россию.

И тут... В духовном отношении Нилус, как и большинство тогдашних "просвещенных" дворян, был равнодушен к вере и Церкви. Теперь наступает перелом. Проведя молодые годы, как в старину говорили, "по стихиям мира", он в зрелом возрасте вернулся к Православию. В стенах величайших русских обителей совершилось его обращение, как сам он писал, — "обращение православного (т.е. православного лишь по крещению) в православную веру": сперва у раки Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, затем в Саровской обители, у мощей Преподобного Серафима. Огромное влияние оказал на него также святой Иоанн Кронштадтский. Все это проникновенно описано самим Нилусом в его книге "Великое в малом", выдержавшей пять изданий (первое было в 1903 году).

В первые годы нового века Нилус активно сотрудничает в газете "Московские ведомости". В последующие годы главное место в его жизни занимала Оптина пустынь.

В первый раз он посетил Оптину проездом из своего орловского имения Золотарево по пути в Троицкую Лавру летом 1901 года. В тот приезд Сергей Александрович познакомился с известным постриженником Оптиной отцом Даниилом Болотовым, глубоким мистиком и выдающимся церковным живописцем. Уже тогда беседы затрагивали главный для Нилуса воп-

рос — о противоречии светской культуры и христианства, о путях преодоления губительного противостояния интеллигенции и Церкви.

Осенью того же года Нилус снова в монастыре. Он приехал тогда собрать материалы для жизнеописания старца Амвросия. И хотя задуманной книги не написал, благоговейное отношение к памяти оптинского подвижника сохранилось у него до конца дней.

Третья поездка к старцам состоялась в октябре 1904 года, и прожил он здесь две недели. Из мятущегося интеллигента формируется постепенно христианин, взыскатель Града Небесного, сумевший победить в себе ветхого человека. Новую жизненную основу он находит в Евангелии — в благовестии о спасении. Об этом, о тайнах Божия домостроительства, обновлении мира и вечной жизни, говорит он теперь при новой встрече с отцом Даниилом.

...Из пасхального письма матушке Юлии, монахине Шамординской обители (апрель 1905 г.):

“Нет, для меня Петербург — чужое болото, и общего у меня с ним — одно небо да те сокровенные рабы Божии, которыми еще стоит и на которых держится этот русский Вавилон, блудница великая.

А тут еще думы одна другой тяжелее о Родине, о царе, о народе, о той разверзшейся под их ногами бездне, в которую неудержимо катится наше горемычное Отечество, от которого за наши грехи и беззакония въяве отступает благодать Божия.

И ведь вот еще горе: я не только предугадываю погибель, но я ее знаю, откуда она идет, от кого происходит, что в близком будущем ждет всех нас, если только не преклонится к нам милость Господня, и... помочь ничем не могу: голосу правды никто не внемлет. И оком видят, и слухом слышат — и не разумеют.

Сердце мое скорбит и чует грозу неминучую. Вам, моим радостям монастырским, готовятся венцы великие от отступнического мира, который точит на вас ножи булатные, разжигает костры кипучие. Пока творится все это под маской лицемерного благочестия, но недалеко уже то время, когда восстанет на вас открытое гонение".

Глубокой осенью 1905 года, в трудное, мятежное для России время, Сергей Нилус снова в Оптиной. Он работает над подготовкой нового издания книги "Великое в малом", которое выйдет в декабре 1905 г. в Царском Селе. Выходу второго издания содействовала фрейлина императрицы Елена Александровна Озерова (1855 — 1938), вскоре ставшая женой писателя (венчание состоится в Петербурге 3 февраля 1906 г.).

Травля, поднятая в печати с появлением дерзновенной книги (в нее впервые были включены печально знаменитые впоследствии "Протоколы сионских мудрецов"), заставила Нилуса навсегда покинуть сановный Петербург.

...Еще в 1901 г. Нилусу, по его воспоминаниям, была передана рукопись на французском

языке, протоколы — не то тайной масонской ложи, не то съезда сионистов (Нилус сам не знал точно). Но смысл документа был предельно ясным и зловещим: речь шла о способах достижения мирового господства еврейской финансовой верхушкой. Программа была продумана до мелочей — от организации мировых войн, банков и транснациональных монополий до прикормки "левой" печати и конкурсов красоты.

Нилус бросился в "инстанции": как всегда, глухо. Тогда он решил опубликовать документ в своей книге — в Царском Селе, чтобы наверняка прочитал государь...

Нет, он не был первым, кто издал "Протоколы сионских мудрецов" (так их стали называть). Это сделали уже Паволакий Крушеван (в 1903-м) и, кажется, Георгий Бутми (в 1905-м). Но издания Нилуса оказались наиболее влиятельными и впечатляющими. Они были основательнее и органичнее для русской религиозной традиции: ставили сионистские замыслы в прямую связь с "деющейся тайной беззакония" — с библейскими и церковными пророчествами о конце мира и истории, о наступающем царстве антихриста.

В апреле 1906 года мы встречаем Нилусов в Николо-Бабаевском монастыре, невдалеке от Костромы, где жил и нашел вечное упокоение Святитель Игнатий Брянчанинов, выдающийся церковный писатель прошлого века. Затем Валдай с его Иверским монастырем, воздвигнутым патриархом Никоном...

Успенским постом 1907 года Нилус пишет письмо в Оптину пустынь с просьбой разрешить погостить в обители. Вскоре получен ответ от старца Варсонофия Плеханкова — с приглашением прибыть “под покров оптинской благодати на богомолье и на отдых душевный, сколько полюбится и сколько поживется”.

Впоследствии Нилус вспоминал: “На жену Оптина пустынь произвела огромное впечатление. Про меня говорить нечего: я не мог вдосталь надышаться ее воздухом, благоуханием ее святыни, налюбоваться на красоту ее соснового бора, наслушаться ласкающего шепота тихоструйных, омутистых вод застенчивой красавицы Жиздры, отражающих своей глубиной бездонную глубину оптинского неба...

О, красота моя оптинская!

О, мир, о, тишина, о, безмятежие твоего монашеского духа, установленного и утвержденного молитвенными воздыханиями твоих великих основателей!..

О, благословенная моя Оптина!”

Старцы предложили писателю заняться изданием “Оптинских листков”, вроде “Троицких”, выпускавшихся Троице-Сергиевой Лаврой и бывших в предреволюционные годы любимым чтением православных паломников. Душеспасительные беседы печатались также в Александро-Невской и Почаевской лаврах. Монастырская периодика разносилась народом по всей России.

Нилус обрадовался предложению старцев.

"За чем же, — говорю, — дело стало? Мы, слава Богу, люди свободные, никакими мирскими обязанностями не связанные: найдется для нас в Оптиной помещение — вот мы и ваши".

С октября 1907 года Нилусы поселились в обители, заняв так называемую "Консульскую усадьбу". Здесь когда-то жил Константин Леонтьев. Он был в свое время русским консулом на Востоке, поэтому за домом осталось название "Консульская усадьба".

"Оптинские листки" так и не вышли. То ли не благословил настоятель архимандрит Ксенофонт, то ли возобладало смиренномудрие самих старцев, не желавших печатно раскрывать свои заветные взгляды на мир и миропорядок. Послушание писателю определили по-другому: изучать оптинский архив. Этот архив представлял собою богатейшее собрание сокровенных записок живших в обители иноков, известных церковных деятелей, странников и прозорливцев, а также благочестивых рассказов богомольцев — и писем, в том числе многих писателей-классиков (с Оптиной Введенской пустынью и ее Иоанно-Предтеченским скитом были связаны в разные годы Гоголь, Достоевский, братья Киреевские, упомянутый К.Н.Леонтьев). А сколько бесценных рукописных патериков, повествующих о духовных подвигах христолюбцев, сберегалось в древлехранилище! И, само собою, оптинское собрание книг было замечательным: 30 тысяч томов, преимущественно богословских и богослужебных. Помеща-

лись библиотека и архив в одной из угловых башен монастыря.

Духовником и руководителем С.Нилуса стал великий старец Варсонофий Плеханков. Постоянное общение с ним направляло писателя ко все более глубокому нравственному совершенствованию и богопознанию.

На материалах архива Нилус быстро пишет новую, первую свою оптинскую книгу. Ее название — "Сила Божия и немощь человеческая" (часть 1-2. Сергиев Посад, 1908) — навеяно словами из апостольского послания: "Сила Божия в немощи совершается".

Книга содержит жизнеописание игумена Феодосия (Попова), скончавшегося под сенью Оптинского Скита в 1903 году. Ознакомившись с записками Феодосия, Нилус живо заинтересовался ими. "Богу угодно было раскрыть мне душу этого молитвенника и дать мне в руки такое сокровище, которому равного я еще не встречал в грешном своем общении со святыми подвижниками, работающими Господу в тиши современных нам монастырей", — признание самого писателя. Вторая часть книги также построена в основном на материалах оптинского архива.

Следующая книга Нилуса, "Святыня под спудом", печаталась первоначально в журнале "Троицкое слово", основанном епископом Никоном Вологодским, а затем вышла отдельным оттиском (Сергиев Посад, 1911).

В основу книги (она носила подзаголовок "Тайны православного монашеского духа")

были положены записки отца Евфимия Трунова, замечательного оптинского подвижника, уче ника старца Льва Наголкина (ум. 1841). События разворачиваются в середине прошлого столетия. “Дневник отца иеромонаха Евфимия, — писал в предисловии С.Нилус, — послужит мне канвою, с намеченным его рукою узором, но самый узор, как драгоценный жемчуг дивного шитья, составлен и собран из многоцветных раковин, извлеченных из сокровенных глубин безбрежного и бездонного моря великого оптинского духа, питавшего православную русскую мысль в таких ее представителях, как братья Киреевские, Гоголь, Достоевский и те “молодшие” богатыри, имена которых — как звезды на тверди православного русского неба”.

С января 1909 года Нилус сам берется за регулярные дневниковые записи. В свои тетради он заносит вроде бы самые обыкновенные монастырские впечатления: беседы со старцами, прежде всего со своим духовником о. Варсонофием, а также с о. Анатолием-младшим (иеромонах Анатолий Потапов, ум. 1922), о. Иосифом Литовкиным (1837 — 1911) и с будущим великим старцем о. Нектарием Тихоновым (1858 — 1928). Вместе с тем писатель откликается на современные события в духовном мире. Так, смерть Иоанна Кронштадтского представляется ему “знамением сокровенного и грозного значения: от земли живых отъят всероссийский молитвенник и утешитель, мало того — чудотворец, да еще в такое время, когда на горизонте

русской жизни все темнее и гуще собираются тучи".

Отец Иоанн Кронштадтский имел большое значение в судьбе и личности Нилуса. У ног пастыря произошло окончательное обращение писателя, прошедшего мучительный путь от неверия до теплого молитвенного устроения. Кронштадтский пастырь благословил писания Сергея Александровича, именно ему посвящена первая, стержневая книга Нилуса — "Великое в малом". И в пору отторжения от общества один только Иоанн Кронштадтский сердечно поддержал чету Нилусов.

Почти пять лет, пока Нилус жил в Оптиной, он неотступно регистрировал все события, совершавшиеся в обители. Вот 18 марта 1909 года отошел в селения праведных один из столпов оптинского духа, игумен Марк, и списатель (так себя называл Сергей Александрович) создает подробное жизнеописание пустынника, этого "гранитного человека". Он пишет: "...я полюбил крепость его, силу его несокрушимого духа; самого его полюбил я, чтил и робел перед ним, как робкий школьник перед строгим, но уважаемым наставником".

На страницах дневниковых записей рассыпаны изумительные по краткости, но полные прикровенного смысла суждения старца Нектария. Каких бы тем ни касалась беседа, будь то знамения, предвещающие "развязку мира", или предвидения и пророчества на ближайшие события, — этот полузатворник, склонный к

блаженному юродству, давал ответы исчерпывающие.

Так в общении с оптинскими духоносцами протекали дни и годы Нилуса. Он при старце Варсонофии играл такую же роль, какая была у Ивана Киреевского при о. Макарии и у К.Леонтьева — при о. Амвросии. Нилус представлял себя здесь рыбарем, забрасывающим мрежи в благодатные струи Божьей реки, изливающей оптинский дух. (Очередная книга его, она выйдет в 1916 г., так и будет называться: "На берегу Божьей реки".) Его улов — богопознание, преображение души и жизни.

А он и вправду преобразился неузнаваемо. На всем облике писателя запечатлелось достоинство несуетное, благообразие и молитвенная доброта. Вот каким увидел Сергея Нилуса иезуит Александр дю Шайла, перешедший в православие и живший в Оптиной несколько месяцев в 1909 году: "После обеда, в покоях настоятеля, я познакомился с С.А.Нилусом. То был человек 45 лет, типичный русич, высокий, коренастый, с седою бородою и голубыми глазами, слегка прикрытыми поволокой; он был в сапогах, и на нем была русская косоворотка, подпоясанная тесемкою с вышитою молитвою".

А гроза собиралась. Предчувствие ее давно ощущалось в воздухе. Гроза над Россией... над Оптиной... над самим Нилусом...

Проповедь "конца мира" и "пришествия антихриста" не всем нравилась, тем более когда она впрямую связывалась с наступившей, по Нилусу, эпохой "великого отступления от

христианства", с пророчеством о восстановлении государства Израиль и грядущим усилением сионизма. Церковные власти боялись слова об антихристе хуже самого антихриста. Было потребовано от о. Варсонофия публично осудить своего духовного сына Сергея Нилуса. Нашлись и среди братии скита несколько монахов, затеявших распрю против скитоначальника. Старец Варсонофий отверг предъявленные наветы, и церковное начальство распорядилось удалить его из Оптиной в Старо-Голутвин монастырь, где он вскоре и умер (1 апреля 1913 года).

До конца мира, русского государственного и церковного мира, оставалось менее четырех лет...

Свое расставание с Оптиной, а оно произошло 14 мая 1912 года, Нилус поведал трогательными словами: "Кто не видел Оптиной в весеннем уборе окружающих ее безмолвие фруктовых садов, могучего ее леса, вековых ее сосен, обрамленных веселой, молодой зеленью клена, осины, липы, рябины, орешника и молодого дубняка, — всей роскоши зеленого шума и звона торжественно-радостного шествия ликующей теплом и светом весны, тому не понять великой скорби нашего сердца, обливавшей слезами заветные могилки великих оптинских старцев на прощании с ними, со всей духовной красотой оптинских преданий и с красотой окружающей их природы.

Тако изволися Богу. Слава Богу за все.

И думалось мне тогда, следя задумчиво-печальным взором за убегающей из-под колес на-

шего экипажа святой землей оптинской, что прощаюсь я и с тою бездонною глубиною хрустально-чистых вод ее и моей Божьей реки, из чьей серебристо-струйной лазури так часто невод мой извлекал сокровенные сокровища духа, что уж не петь Богу моему хвалы, не бряцать перстам моим более на десятиструнной моей псалтыри, ибо с последним прощальным поклоном Оптиной иссякнет для меня чистейший источник вдохновений и захлестнет ладью мою и меня зловещая волна житейской мути".

Но жизнь не была кончена. Грозовое небо над Нилусом продолжало являть свои трагедийные знамения. И он по-прежнему собирает и читает земные и небесные знаки, делится ими с читателями.

В предпоследнем году выходит его предпоследняя книга "На берегу Божьей реки", в последнем, 1917-м, — последняя прижизненная: "Близ есть, при дверях" (Сергиев Посад, январь 1917). Она вышла с выразительным подзаголовком: "О том, чему не желают верить и что так близко". В книге сгущаются основные темы творчества Нилуса — грозный духовный смысл надвигающихся политических событий, русский "апокалипсис сегодня". Сгущается само время: вчерашние видения оборачиваются кровавой действительностью.

Свою проповедь — устную, письменную и печатную — Нилус считал "долгом совести перед Богом" и важнейшее значение придавал тому, есть ли на нее благословение от иерархов Русской Церкви. В письме к одному из коррес-

пондентов, помеченном днем Преображения Господня, 6 августа 1917 г., он пишет: "Как Вам известно, вся полнота благодати Святого Духа находится в обладании епископов Православной Церкви или передается тем, кого они признают достойным. С тех пор, как я передал себя и дар свой на служение Богу и Его Христовой Церкви, я ни одной строки, особливо об антихристе, не передавал печати без благословения епископского в лице архиепископа Никона (имеется в виду архиепископ Вологодский и Рождественский, ум. 1917). Когда вышла из печати книга моя "На берегу Божьей реки", то великий праведник и подвижник епископ Феофан Полтавский (имеется в виду Феофан Быстров. — *Ред.*) писал по поводу ее следующее: "Я с великим интересом читаю все Ваши книги и вполне разделяю Ваши взгляды на события последнего времени. Люди века сего живут верою в прогресс и убаюкивают себя несбыточными мечтами, упорно и с каким-то ожесточением гонят они от себя самое мысль о кончине мира и о пришествии антихриста. Их очи духовно ослеплены. Они видя не видят и слыша не разумеют. Но от истинных чад Божиих смысл настоящих событий не скрыт".

По выходе в свет моей книги "Близ есть, при дверях" тот же богомудрый и богопросвещенный владыка писал мне: "Достоуважаемый Сергей Александрович, да не будет у Вас никакого сомнения, что антихрист действительно уже существует и ожидает только времени для явления миру. Он находится недалеко от пределов

России. Больше ничего не могу сказать, равно и того, как я знаю это". Письмо это было 20 февраля сего 1917 года".

В 1912 — 1916 г.г. Нилусы жили на Валдае. Революция застанет С.А. на Украине: он "по милости Божией переселился в пределы епархии владыки Феофана Полтавского". Перед этим недели две он провел в Киеве, видел старицу Ржищева монастыря (ниже Киева по Днепру) и при ней послушницу — 14-летнюю девочку Ольгу Бойко. Эта малограмотная деревенская девочка 21 февраля 1917 года, во вторник второй недели Великого Поста, впала в состояние летаргического сна, продолжавшегося с небольшими перерывами до самой Великой субботы, ровно сорок дней. Во время своего сна Ольга имела видение жизни загробной и сказывала, сонная и когда просыпалась, что видела, а за ней записывали. В Киеве с ее слов и слов ее старицы это сбывшееся вскоре пророческое видение и записал Нилус.

"И увидела я, — сказала Ольга, — за большим рвом много людей, скованных цепями. Я спросила, что это за люди. "Это те люди, — был мне ответ, — которые примут печать антихриста". Затем дошла до темного места и остановилась. Тут я увидела замечательно красивого молодого человека, лет 28, в красном одеянии. Он быстро побежал мимо нас, и когда я взглянула ему вслед, то он показался мне уже не человеком, а диаволом. Я спросила Ангела: "Кто это?" И Ангел ответил, что это и есть тот самый антихрист, который будет мучить последовате-

лей Христовых за святую веру, за Церковь, за имя Божие.

Затем я увидела необыкновенный свет, и в свете том стоял большой хрустальный стол, но стола этого не было видно из-за множества лежащих на нем фруктов. За столом сидели в разноцветных блестящих одеждах апостолы, пророки, мученики и все святые, а в стороне над ними, в небесной высоте, в ослепительном свете, на неописуемо дивном престоле сидел Спаситель, а возле Него по правую руку — наш государь, окруженный ангелами. Государь был в полном царском одеянии, светлой белой порфире, короне, со скипетром в руке...

И я слышала, как беседовали между собой мученики, радуясь, что наступает последнее время, и что число их умножится, и что церкви и монастыри скоро будут уничтожены, а живущие в монастырях будут изгнаны, что мучить будут не только духовенство и монашество, но и всех, кто не захочет принять печати и будет стоять за имя Христово, за веру, за Церковь.

Слышала я, как они говорили, что царя уже не будет и земное время приближается к концу, слышала я, но не очень ясно, что если Господь не прибавит сроку, то конец всему земному будет в 22-м году".

Когда в Ржищеве, по телефону из Киева, узнали об отречении государя от престола, Ольга сказала: "Вы только теперь узнали, а у нас там давно об этом говорили, давно слышно. Царь там давно сидит с Небесным Царем".

Старица спросила: “Какая же тому причина?” Ольга ответила: “То же, что было и Небесному Царю, когда его изгнали, поносили и распяли. Наш царь, — сказала она, — мученик”.

“Из многих других источников чисто духовного происхождения, — добавляет Нилус, — год 1918-й был указан как год роковой для государя и мира”. (Напомним, что видение Ольги было весной, а письмо С.А. датировано августом 1917 г., т.е. почти за год до убийства в Екатеринбурге.)

Или вот еще один вещий сон. Нилус сообщает о нем в письме из Валдая архимандриту Кириллу Зленко 17 ноября 1916 г. “В то время, когда уже печатается моя книга “Близ есть, при дверях”, одна раба Божия, никакого касательства к моим исследованиям не имеющая, о судьбах мира никогда не задумывавшаяся, но сердцем благоговейно и просто верующая, в ночь с 14-го на 25 октября, под утро, увидела такой сон (пишу ее словами). “Дорогая мама, — так пишет она своей матери, — с понедельника на вторник (24-го и 25 октября) видела странный и страшный сон. Находилась я в незнакомой местности, и около меня были люди, но точно на улице прохожие, незнакомые. И вот смотрю я на небо: будто не ночь, но и не очень светло; и вижу в чистом небе большую луну. И пока я гляжу, эта луна начинает превращаться, и из нее делаются огромные часы — циферблат черный, а цифры белые. Стрелки показывают 3 часа 17 минут. Я чувствую, что это конец мира

начинается, и охватывает меня тревога. А кругом меня точно никому и дела нет. Затем стали будто набегать тучки, и на одну из тучек, под часами, вдруг прилетела и села большая ворона. Все это показалось так страшно, что я проснулась и отчетливо помню, как на часах было 3 часа 17 минут"...

Интересно, что, сообщая этот вещий сон православной русской женщины, Нилус сам... не сумел дать его правильного истолкования.

Между тем указания совершенно четкие. Сон — в ночь на 25 октября. На циферблате — 3 часа 17 минут, или 917 минут. Итак, 25 октября 1917 года...

Революционные годы подвергли Нилуса, как и всех, жесточайшим испытаниям. Гонения, преследования, обыски — все было, и что ни год, то строже. Его сажали в 1924-м и 1927 годах. За чтение и хранение его книг расстреливали, а он, автор, укрепляясь молитвою, продолжал писать о чудотворениях как проявлении воли Божией, о спасительной силе покаяния при тяжких несвободах, в каких оказался народ, о Церкви как водительнице совести.

Эти описания впоследствии составили вторую часть книги "На берегу Божьей реки". Писал он до самой кончины, и, возможно, отыщись рукописи, читатель получил бы третью часть этой книги.

Последовала кончина Сергея Александровича Нилуса на 68-м году жизни, 14 января 1929 года. Он похоронен в селе Крутец, в четырех верстах от Александровской Слободы. Жена

его, Елена Александровна, согласно некоторым свидетельствам, была арестована в 1937-м и умерла на Колыме. (По другим данным, в пос. Кола Мурманской области.)

..."Святыня под спудом" — так называлась одна из книг писателя. Долгие годы его духовное наследие было под спудом. Но приходит время, когда в славной плеяде русских духовных мыслителей по праву будет названо снова и имя Сергея Нилуса, мужественно поднявшего в годы хаоса и развала свой голос за веру, за совесть, против демонической "тайны беззакония".



ОГЛАВЛЕНИЕ

I

II

III

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нилус
Сергей Александрович

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
ТОМ 3

Редактор О. Казаков
Художественный редактор О. Мороз
Технический редактор М. Шафрова
Компьютерная верстка В. Воронин
Оригинал-макет "Диоптра"

ЛР № 030806 от 13.02.98.
ЛР № 030721 от 03.02.97.
Подписано в печать 03.08.99.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Таймс».
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Печ. л. 12,5. Уч.-изд. л. 12,98.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 494.

СЗЦПЛ «Диоптра». 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 28.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга»
Комитета Российской Федерации по печати
198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.



Православное братство во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

предлагает книги, которые действительно покупают, а значит читают

- **от 300 до 400 наименований книг и брошюр по самым умеренным ценам.**
- **Широкий выбор дешевых молитвословов.**
- **Иконы.**
- **Ремни с 90-м псалмом.**
- **Уголь. Ладан.**

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ГРЕЦИИ

- **Безплатная контейнерная доставка в дальние регионы.**
- **Автомобильная доставка в радиусе 2000 км от Москвы.**
- **Система скидок.**

2-й Неопалимовский пер., 11
с 10.00 до 18.00 ежедневно,
кроме субботы, Воскресения
и праздничных дней

тел./fax для Москвы: 8-2-909-76-63
для М. О.: 9-096-909-76-63
для м/г.: 8-096-909-76-63

Частным лицам и коммерческим организациям отпуск книг не благословляется.

Только оптовые поставки храмам, монастырям, епархиальным управлениям